В. [illegible]АСТЕРЕНКО

ТРИ ГОДА

[illegible]

В. МАСТЕРЕНКО

ТРИ ГОДА

Повесть

6851

НОВОСИБИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1954

Эта книга тематически продолжает выпущенную в 1950 году Новосибирским книжным издательством повесть «Пути-дороги».



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Жизнь и планы

Он был такой необычный и такой большой этот год — тысяча девятьсот сорок пятый.

Большой потому, что каждый день нёс столько нового, сколько раньше с лихвой хватило бы даже на месяц. События мчались, теснили друг друга, жизнь была наполнена ими до отказа. Хотя их ждали давно — эти великие события, — казалось, что трудно быстро привыкнуть к ним. И неожиданно очень скоро привыкали,— сразу же, следом надвигалось новое, ещё более значительное.

Январь...

Февраль...

Март...

Апрель...

Весна!

В любое время года — зимой, летом, осенью — могли прийти дни победы. Они пришли весной, и это было самым закономерным, и непрерывным праздником осталась в памяти эта весна, вернее, две весны, слившиеся в одну — бурную, стремительную, дружную.

Май...

Давно ли так необычно было, что наши уже там, в Восточной Пруссии, в Германии, а теперь привычно звучали в приказах и сводках названия немецких городов.

И вот ещё одно название — «Берлин»!..

Не минуло и недели с того тёплого майского вечера, когда мир узнал о падении германской столицы, как неведомыми путями распространился слух: война окончена! Толпы собирались возле репродукторов на площади в восемь вечера, в одиннадцать — в те часы, когда из Москвы передавали последние известия. И — расходились, так и не услышав самого желанного.

Долгожданную весть радио принесло утром девятого мая. И начался этот день — немного суматошный, беспорядочный и какой-то семейный, да, семейный, потому что неожиданно все оказались знакомыми, с которыми можно было поговорить, пошутить, посмеяться, и никто этому не удивлялся. Рассказывали о мальчике, который родился утром и которого назвали Иосифом в честь товарища Сталина, успев даже зарегистрировать в загсе, хотя был нерабочий день, — специально открыли загс по такому случаю. Говорили о каком-то военном, собравшем незнакомых людей и закатившем им пир горою. Много передавали таких историй, неизвестно, что тут было правдой, что — выдумкой, но верить хотелось всему, так всё это было хорошо.

Виктор с самого утра отправился на улицу. Он шёл без всякой цели, да и не надо было цели — неудержимо хотелось просто так выйти, затеряться в толпе, быть среди всех, когда все — Виктор был уверен — чувствуют одно и то же.

Улица встретила его шумом, движением, песнями, смехом. Из открытых окон разноголосо кричало радио. По тротуарам, запруженным народом, трудно было пройти, и Виктор сошёл на мостовую. Впрочем, и здесь людей было не меньше. Машины, пробираясь среди прохожих, часто гудели, но милиционеры не замечали нарушения правил...

Виктор ловил обрывки разговоров в толпе. Он любил это: будто ворвёшься на мгновение в чужой мир и сразу же уйдёшь из него. Ни начала, ни конца, — один лишь эпизод, и ты сам придумываешь десяток своих начал и концов, грустных и весёлых, серьёзных и смешных,— по настроению. Но сегодня не надо было особенно раздумы-

вать над этим: в разных вариантах всюду витала одна и та же тема.

Пожилую женщину, оберегая от толчков, поддерживает под руку другая, молодая, и быстро-быстро говорит:

— Вернётся Петя домой, вас, Мария Николаевна, оставим по хозяйству, а сами...

И было ясно начало: четыре года войны, две женщины — молодая и пожилая, работающие где-нибудь на заводе, напряжённые дни, тревожные ночи, — обычная история двух женщин, муж и сын которых ушёл на фронт. И так же был ясен конец: скоро, очень скоро вернётся их Петя, несколько дней назад, может быть, штурмовавший рейхстаг, и всё будет так, как они решили...

Компания — юноши и девушки в тёмных гимнастёрках — наверное, студенты-транспортники.

— Мне бы только сопромат сдать — и море по колено...

— К нам поедем, во Львов? Теперь-то будет можно..

— Конечно, война, оккупация, то, сё,— гудел высокий сутуловатый мужчина, чуть склонившись к низенькому собеседнику. Он окал и, как нарочно, все слова были с «о». — Но... — мужчина поднял палец и приостановился.— Экономика окрепла. Погоди-ка, пройдёт год, другой — понаворотим такого...

Да, в разных вариантах одна и та же тема. Каждый по-своему и о своём, но об одном и том же. О том, что будет в эти самые мирные дни — близкие и неясные.

Виктор помнил довоенное время, но как? Хлеб без очередей и без карточек, чистые освещённые подъезды в доме, а не такие, как были эти четыре зимы — тёмные, с обледеневшими ступеньками; газета, которую можно купить в любом киоске «Союзпечати», и многое другое. мелочи, каждая по своему важная, но всё-таки мелочи, в общем ещё не составляющие жизни. Он раньше просто не знал её.

Жизнь пришлось узнать позднее — в маленькой старой школе, где занимались в три смены ученики четырёх школ, где писали на тетрадках из грубой бумаги, непокрашенными, плохо оструганными ручками — того и гляди занозишь палец, — откуда учеников младших классов водили в центр города в детскую столовую — там им по специальным талонам давали дополнительное бескарточное питание. Так было в войну в школе, — и всё-таки

занимались и, Виктору казалось, даже лучше, чем до войны, потому что научились ценить многое, чего не ценили до этого.

Потом была жизнь на заводе — синее туманное утро, почти ночь, когда надо было итти на работу, и такой же туманный морозный вечер, почти ночь, когда работа кончалась. А между ними — день, заполненный гулом станков, лязгом металла, острым запахом масла, которым пропахла одежда, руки — всё. Позднее к этому прибавились ещё занятия в вечерней школе. Мел скрипел по доске, буквы начинали вдруг двоиться, расплываться, и нужно было большое усилие воли, чтобы очнуться, стряхнуть сонное оцепенение и воспалёнными глазами следить за рукою преподавателя.

Это была суровая военная жизнь. Она казалась подчас невыносимой, но теперь, когда она осталась в прошлом, Виктор замечал, что в воспоминаниях эта жизнь представляется уже иной. Исчезало то, что раньше выглядело самым главным: до раздражения знакомый голос диктора, который день за днём ровно в шесть утра заставлял отрывать тяжёлую голову от подушки; липнущие к рукам от мороза шершавые металлические болванки и всё тот же сладковатый запах масла. А в памяти возникало нечто большое и цельное — постоянное напряжение, которое теперь уже не тяготило, а наполняло душу гордостью за то, что именно он, Виктор, смог это выдержать, и за то, что на какую-то, пусть самую незначительную, долю и он приблизил чудесную весну, раскинувшуюся сейчас над городом, над страною, над всем миром.

И вот ушла суровая военная жизнь. Песни неслись над улицей, радостно шумела толпа, и все говорили о будущем, у каждого были свои планы жизни в мирные дни.

А Виктору ещё ничего не было ясно. Его планы и сейчас оставались такими же расплывчатыми, как раньше. Хотя раньше это само собой разумелось, потому что была война, и всё, естественно, откладывалось до того времени, когда она кончится. Но теперь Виктор понимал, что дело не только в войне, но и в нём самом, что ему ещё не хватает чего-то, чтобы скорее сбылись эти планы

Чего? Он и сам не знал чего, и у него появлялась зависть к тем, с кем он вместе заканчивал вечернюю

школу. У них, у каждого, всё было просто и определённо. Один поступает в политехнический институт, другой — в высшее мореходное училище, третий решил стать строителем, им не в чем было сомневаться, — будет так, как они хотят.

Будет ли так, как хотел Виктор? Он неопределённо махал рукой и старался перевести разговор на другую тему, когда его спрашивали, что он думает делать дальше.

Конечно, был простой, на первый взгляд, путь. Есть в Москве литературный институт Союза советских писателей. Есть в нём отделения прозы, поэзии, драматургии и критики. Никто не мог помешать Виктору подать туда заявление. Но с чем он придёт в институт? Кто он — критик, прозаик, поэт? И может ли он писать вообще?

А писать очень хотелось, особенно, когда попадала в руки хорошая книга. Прочитав её, Виктор снова перелистывал страницу за страницей. Герои жили, страдали, радовались, боролись, побеждали. Они вставали перед Виктором почти живые, и Виктор мог теперь сам писать о них. Но это были чужие герои. А свои... своих не было.

Обиднее всего, что книга рассказывала о таких же людях, как Виктор и те, кого он знал. Вот тут и скрывалось непонятное «что-то», чем владел автор книги и чего никак не мог отыскать Виктор.

Виктор не хотел сдаваться. Ведь и тот, писатель, создавший такую интересную книгу, сразу ничего не умел. Возможно, и он так же, как Виктор, мучился сначала, пока не открыл, наконец, секрета, как ясно и увлекательно рассказывать о самом простом. Надо было искать и учиться.

С этим желанием Виктор хватал перо. Он искал. Он решал писать стихи, — может быть, он поэт? Строки возникали сами собой, одна за другой. Он читал их вполголоса, они звучали напевно, это были настоящие стихи. Он, как ему казалось, холодно и беспристрастно, разбирал то, что написал. Содержание? — стихи говорили о войне, о победе, о том, что волновало всех. Форма? — стихи были написаны классическим хореем, рифмы были точные, но ни в коем случае не глагольные, которых — Виктор не раз читал об этом — надо по возможности избегать.

Как радостно становилось в этот момент! Каким казалось лёгким — творить, писать стихи. Но стоило Виктору чуть позднее, хотя бы назавтра, снова перечитать стихи, они вдруг блёкли, морщились, теряли всю красоту и прозрачность, как теряют её похожие на граммофонные трубы голубые цветы вьюна под горячим солнцем. Лёгкие строки набухали, громоздились одна на другую, они не волновали уже, а нудно кричали, как серые строки плохого плаката. И точные рифмы, и классический хорей терялись в навязчивом крике, от которого Виктору становилось мучительно стыдно перед самим собой.

Вновь приходило сознание собственного бессилия, пока Виктор опять не убеждал себя в том, что не он первый, что не всё приходит сразу. И вообще,— может быть, не поэзия его стихия? Он брал лист бумаги и аккуратно выводил:

«Батальон вступил в деревню, только что оставленную фашистами. Болью сжалось сердце капитана Синцова, когда он увидел разрушенные дома и закопчённые трубы. В этой деревне он родился и вырос...»

И всё. Перо деревянело и само выпадало из рук. Совершенно непонятно было, что же дальше должен был делать загадочный капитан, который в представлении Виктора имел только два отличительных признака — погоны с четырьмя звёздочками на каждом и откуда-то подвернувшуюся фамилию «Синцов». А ведь у других герои, и такие же капитаны в том числе, были живыми, полнокровными людьми, которых, казалось, узнаешь, появись они даже сейчас здесь, в этой толпе, запрудившей улицу.

Нет, и проза, не требовавшая соблюдения размера и поисков рифм, таила в себе неразгаданные секреты...

Виктор никому не рассказывал ни о своих надеждах, ни о своих разочарованиях. К чему, если это зависело лишь от него самого? Но именно потому разочаровываться было гораздо тяжелее.

Так хотелось избавиться от этих мыслей в праздничный майский вечер, но все вокруг, будто сговорившись, своими возгласами возвращали их:

— Знаете, родная, я всё уже продумала и решила..

— ...А что ты думаешь,— обязательно поступлю. Теперь другое дело — войне конец!..

Виктор аккуратно свернул аттестат в трубку, — чтобы не помять,— и вышел на улицу. Не сделал он и десяти шагов, когда его окликнули. Он оглянулся: это был Сергей Иванов, токарь, который тоже занимался в вечерней школе.

— Идём вместе, нам ведь в одну сторону, — сказал Сергей, нагнав Виктора.

Некоторое время молчали.

— Знаешь, о чём я думаю? — заговорил Сергей. - «Аттестат зрелости» — как это здорово сказано. Будто ты долго сидел перед дверью и всё ждал, и вот её перед тобою открыли: шагай вперёд, смелее, ты уже вырос... Но я ещё не о том. Наши, — он потряс свёрнутым в трубку, как у Виктора, аттестатом,— они особенные, такие мало у кого есть. Мы экзамен вдвойне держали — и здесь, и там, на заводе...

Хотя это было похоже на то, о чём думал Виктор, он не хотел откровенничать с Сергеем. Он знал его давно, наверное, года два, но никогда не был с ним близок. Бывает так: как будто бы человек хороший, ничего против него не имеешь, а сойтись с ним не можешь, говоришь и всё время испытываешь неловкость, тянешь из себя слова, чувствуешь себя перед ним чем-то обязанным. Так же было у Виктора и с друзьями Сергея — вспыльчивым, отчаянным Генкой Никитиным и полной его противоположностью — сдержанным, серьёзным Александром Бахаревым, который с недавнего времени стал работать в райкоме комсомола.

Эти трое были из знаменитой комсомольско-молодёжной бригады «ильинцев», названной так в честь дважды Героя Советского Союза лётчика гвардии полковника Ильина. Бахарев — бригадир, остальные — члены бригады.

Разные по характеру, они и думали, и поступали одинаково. Виктор и не представлял, как бы вдруг он стал говорить с ними по душам,— настолько противоположны были его сомнения и колебания твёрдой уверенности этой тройки, которая, похоже, никогда ни в чём не сомневалась...

Сергей продолжал:

— И вот тут, понимаешь, чувствуешь ответственность

Ну, придём в институт я или ты, и придёт парень или девушка, которые кончили школу нормально, не как мы. Аттестаты у нас одинаковые, а требовать от нас можно гораздо больше, потому что ведь и пережили мы больше, лучше знаем жизнь. И поэтому...

— Серёжа! — раздался возглас с противоположной стороны улицы.

Сергей быстро обернулся и, придержав Виктора за рукав, сказал:

— Ты извини, я сейчас...

Виктор поглядел ему вслед. Сергей перебежал улицу навстречу светловолосой девушке. Они оживлённо заговорили, Сергей развернул аттестат, на что-то показывая пальцем. Заметив, что оба они на него не смотрят, Виктор свернул в сквер и торопливо зашагал по аллее.

И здесь у «ильинца» Сергея всё было определённо. Виктор догадался, что девушка и есть та самая Валя, о которой он слышал не раз. Она на год раньше Сергея окончила десятилетку и теперь училась в медицинском институте. Ни для кого не было секретом, что они любят друг друга. Так об этом и говорили. Как хотелось бы Виктору, чтобы так же говорили о нём и... ещё о ком-то, с кем бы он мог, как сейчас Сергей, горячо делиться тем, что его волнует.

Но так не получалось, как ни желал этого Виктор. Среди знакомых ему были девушки, которые раздражали его своим легкомыслием, пустопорожностью, вечным щебетанием о модах, причёсках, о том, кто как танцует. Их Виктор нарочно резко обрывал, старался уязвить в самое больное место, хотя иные из них на первых порах с подчёркнутой симпатией относились к нему. Были другие, совсем не похожие на первых, которые нравились Виктору. Но и с этими он обращался так же, как с первыми, правда, совсем по другой причине — как-то не мог он сказать девушке, что хотел бы дружить с нею. А в итоге и первые, и вторые сходились во мнениях и укрепляли за Виктором славу «много о себе думающего» у одних и «героя не нашего времени» у других. Были, наконец, третьи девушки — безразличные Виктору, — и с ними как раз он мог держаться без всякой натяжки, но.. они были безразличны ему...

Виктор прошёл через сквер и сел на скамейку. Он достал из кармана сложенный вчетверо небольшой ли-

сток бумаги, развернул его и снова перечитал, хотя перечитывать, собственно, было нечего — всё, там написанное, он помнил наизусть, от слова до слова. В листке с большими красными буквами сверху было всего четыре строки, напечатанных на машинке:

«Уважаемый товарищ Тихонов!

Просим Вас зайти в редакцию, в комнату № 57 для беседы относительно Вашей рецензии.

С приветом...»

Подписан листок был неразборчивым угловатым почерком, похожим на готический.

Письмо пришло утром, и с тех пор Виктор несколько раз перечитывал его. Это было третье в жизни Виктора письмо, полученное им из редакции. Первое было совсем давно, кажется, ещё в четвёртом классе,— Виктору писали тогда из «Пионерской правды», что гиперболоида инженера Гарина, о котором рассказано в романе Алексея Толстого, пока не существует и что поэтому нельзя, как советует Виктор, использовать его для прокладки железнодорожных путей в горах. Другое, тоже из «Пионерской правды», Виктор получил года два спустя. Ему отвечали, почему нельзя послать наши войска в помощь республиканской Испании, и сообщали, что в одном из ближайших номеров будет напечатана об этом подробная статья. Верно, такая статья появилась, и в самом начале её было сказано, что статья печатается по просьбе ряда школьников, в числе которых назывался и Виктор.

Было странно и радостно, когда в почтовом ящике оказывались конверты из плотной бумаги, украшенные эмблемой «Пионерской правды», — совсем такой, как в газете. Но что они — по сравнению с маленьким листком, который Виктор держал в руках сейчас? Это, третье, письмо решало его судьбу...

Можно было итти в редакцию хоть сию минуту, но что-то заставляло Виктора медлить. Он решил, что встанет со скамейки, когда мимо пройдёт десять автомашин. Насчитал семь или восемь и сбился со счёта. Тогда решил дождаться двадцати пяти...

Ещё переписывая рецензию начисто и потом опуская заклеенный конверт в почтовый ящик, Виктор как-то не воспринимал всего этого всерьёз. Рецензия была о новом фильме, который он смотрел несколько дней назад, сдав последний экзамен. Виктор вышел из кино со светлым

и немного грустным чувством, появлявшимся у него всегда после хорошей картины, — будто только что расстался с близкими, дорогими людьми. Хотелось с кем-нибудь поделиться этим чувством, и Виктор взялся за перо, впервые не размышляя о том, что пишет — стихи или прозу — и для чего он пишет. Он рассказывал о девушке, отдавшей жизнь за своё правое дело, милой, чудесной девушке, которой жить бы и жить и которая без колебаний пошла на смерть... Он не заметил, как исписал пять страниц, и, только перечитав написанное, подумал, что получилась рецензия, такая же, какие часто появлялись в газете. Тогда Виктор посмотрел картину ещё раз, чтобы проверить, не перепутал ли он чего-нибудь, и отправил рецензию в редакцию.

Что скажут ему в таинственной комнате номер пятьдесят семь, представлявшейся Виктору огромной, прокуренной, где десятки людей за десятками столов кричат в телефонные трубки, бешено выстукивают на пишущих машинках, вбегают и выбегают, ежеминутно хлопая дверями? То Виктор окончательно решал: ему раздражённо ответят, что нечего бессвязной писаниной отнимать время у занятых людей, и рецензия ему самому начинала казаться детским лепетом; то он рассуждал: приглашать его в редакцию лишь для этого не к чему, что, наоборот, рецензия понравилась, и ему хотят предложить написать ещё одну...

Виктор спохватился, что давно уже не обращает внимания на машины, начал было считать их снова, но вдруг решительно встал. Хватит, — что бы ни сказали, ждать он больше не может.

Редакция помещалась в трёхэтажном здании, растянувшемся на целый квартал. Комната номер пятьдесят семь оказалась на самом верху. И пока Виктор поднимался по лестнице, он машинально повторял в такт шагам: «Пять-десят семь, пять-десят семь...» Каждая цифра в сознании Виктора была окрашена в свой цвет — единица — в чёрный, двойка — в жёлтый и так далее, и эти две цифры — красная пятёрка и синяя семёрка — горели перед глазами.

Длинный коридор на третьем этаже был пуст и тих, лишь откуда-то доносился приглушённый стук машинки. По обе стороны коридора тянулись одинаковые двери, белые, со стёклами наверху, различавшиеся лишь стек-

лянными табличками: «Заведующий промышленным отделом», «Литературные сотрудники отдела культуры и быта»... На дверях же пятьдесят седьмой комнаты висела табличка с одной только фамилией: «А. М. Кузнецов» Виктор никогда не встречал её в газете и подумал: «Новый, недавно здесь работает». Он осторожно стукнул согнутым пальцем в дверь.

— Войдите,— разрешил густой голос.

Маленькую комнату почти целиком занимали клеёнчатый диван и повёрнутый углом письменный стол с двумя телефонами и кипой бумаг на нём. Из-за стола навстречу Виктору поднялся высокий, чуть сутуловатый человек в очках. Поздоровавшись, Виктор протянул ему письмо.

— Тихонов? Помню,— приподняв очки на лоб и далеко от глаз вытянув руку с листком, сказал мужчина, напирая на «о». Он кивнул на диван: — Располагайтесь.

Опять надвинув очки на глаза, мужчина, надо полагать Кузнецов, стал рыться в кипе на столе. Заметив уголок знакомой бумаги, Виктор привстал:

— Это...

— Посмотрим,— проговорил Кузнецов и углубился в чтение.

Виктор разглядывал его. Он был немолодой, с морщинистым лицом. Кажется в записных книжках у Марка Твэна, Виктор читал шутливую запись о том, что морщины должны быть следами прежних улыбок. У Кузнецова, резкие и глубокие, они придавали лицу насупленное выражение. Очки в прозрачной оправе из плексигласа казались непомерно большими и делали глаза его похожими на глаза глубоководной морской рыбы. Читая, Кузнецов закусил нижнюю губу и несколько раз громко вздохнул.

— Понятно, — сказал он, заглянув зачем-то на чистую сторону последнего листа. И начал сворачивать из газеты большую цыгарку.

Виктор выхватил из кармана пачку папирос:

— Пожалуйста!

— Благодарю,— отказался Кузнецов. — Я — только махорку...

Он задумчиво мял цыгарку в руках.

— Это вот, — задел пальцем Кузнецов рецензию Виктора,— ни в одни ворота... Не годится, — пояснил он.

У Виктора зазвенело в ушах. Кузнецов, чиркнув спичку, глубоко затянулся.

— Простое переложение содержания — больше ничего. Грамотно, но никому не нужно. В кино можно сходить и без этого...

Виктор почти не слышал его. Он с удивлением заметил, что совершенно безразлично относится к спокойным словам, в пух и прах разбивающим его надежды. Только стало непонятно, зачем он сидит в незнакомой комнате и слушает незнакомого человека. Должно быть что-то заметив, Кузнецов вдруг осекся и, встав из-за стола, пересел на диван рядом с Виктором.

— Но ничего... Огорчаться не нужно, — и у хозяйки бывает блин комом. Ты откуда? Чем занят? — неожиданно сменил Кузнецов тему, перейдя на «ты».

Виктор сбивчиво рассказал о себе. На вопрос о планах ответил, что пока не решил.

— Понятно,— протянул Кузнецов.— Вот какое дело... Попробуй-ка с малого. Возьмись-ка за информацию...

И, видя, что Виктор не понимает его, ткнул пальцем в газетный лист:

— Информация это вот — обо всём понемногу. Да не смотри, что крохотные, дело большое... Нам, кстати, завтра во как,— он провёл рукою по шее, — нужна информация из облзо. О совещании председателей колхозов, — оно на днях открывается, надо бы предварительную заметку. Сможешь отправиться с утра?

Ошеломлённый этим натиском, Виктор молча кивнул.

— Отлично,— поднялся Кузнецов.— К половине первого, не позже, жду. Зайдешь там к начальнику, расспросишь, что за совещание, кто там соберётся, зачем. Удостоверения у тебя нет, я позвоню, чтобы приняли Получится — дадим удостоверение...

Открылась дверь, и в комнату заглянул узколицый человек в тщательно выутюженном сером костюме:

— Михалыч! Вас к редактору — срочно...

— Иду! — откликнулся Кузнецов. Пожимая Виктору руку, он повторил:

— Не позже половины первого...

И улыбнулся, отчего сердитые морщины побежали в стороны и сразу сделали лицо добродушно-приветливым:

— Пробуй! Я думаю, сможешь...

Кузнецов быстро пошёл по коридору, слегка переваливаясь с ноги на ногу. А Виктор ещё некоторое время смотрел ему в спину.

«Михалыч»! Эта несколько странная подпись, не то фамилия, не то отчество, появлялась под хлёсткими, злыми фельетонами, о которых говорил весь город. Так вот каким был Михалыч...

«Пробуй», — звучал в ушах Виктора окающий голос Кузнецова. Сейчас этот голос казался ему до странности знакомым. Виктор напряг память, и ему вспомнились запруженные народом улицы в день девятого мая, два собеседника — высокий и низкий, как нарочно, повторяющееся во всех словах «о».

— Погоди-ка, пройдёт год-другой, понаворотим такого...

Гора с горой не сходятся, а человек...

Дома

Тётя Даша выслушала просьбу Виктора разбудить его завтра пораньше и спросила:

— Обедать будешь?

— Буду.

— Ну, садись здесь, Николай ещё не скоро придёт, — сказала тётя Даша и вздохнула: — Ох, когда же вас мир возьмёт, людей, Витенька, стыдно...

Фраза эта была произнесена почти механически, потому что она повторялась каждый день вот уже три года подряд — столько, сколько прошло с тех пор, когда Виктор и Николай Касьянович — муж тёти Даши — перестали замечать друг друга. Как только Николай Касьянович появлялся в доме, Виктор уходил с книгой на кухню и оставался там, пока тот не ложился спать.

Жизнь Виктора была резко разграничена на две половины — до Николая Касьяновича или «Николая Крысьяновича», как Виктор окрестил его про себя, и после. Первая половина в свою очередь тоже делилась на две части — с отцом и без отца.

От жизни с отцом сохранились в воспоминаниях лишь отдельные эпизоды, словно выхваченные из темноты яркими зарницами... Берег реки, горячий песок под ногами, они все трое вместе, отец и мать шумят, бегают друг

за другом, как маленькие, и Виктор бегает с ними, хватает их за руки, кричит, — ему очень весело... Он на балконе большого дома, отец хватает Виктора сильными руками, приподнимает: «Смотри!», внизу шапками теснятся крыши домов, тянутся улицы, по которым точками ползут пешеходы, Виктору жутко и радостно в то же время... Тихие вечера, лампа, прикрытая бумажным абажуром, освещает только круг на полу, Виктор спит и не спит, он слышит ровные приглушённые голоса отца и матери, но это ничуть ему не мешает... И — один из таких вечеров, когда голоса вдруг зазвучали по-иному, заставив Виктора проснуться. Как на фотографии, запечатлелась спина отца, в пальто, с чемоданом в руке, и лицо матери с остановившимся взглядом. Виктору стало очень обидно, он хотел вскочить, крикнуть что-то, заплакать, но сон помешал этому. И до сих пор у него сохранилось чувство, что если бы он тогда встал, всё было бы по-другому...

Бесконечный путь по железной дороге,— так началась вторая половина первой части жизни — без отца. Узкое, с качающимся полом, купе, к которому в конце концов Виктор привык, как к дому, лысый толстый сосед, который всё пугал Виктора тем, что неожиданно тыкал его пальцем в живот, выкрикивая непонятное: «Шум-бурум, барабан!», но который всё-таки был очень хороший, потому что на каждой остановке угощал его и конфетами, и пирожными, и семечками, так что мама начинала пугаться, что у Виктора заболит живот, а Виктор не понимал, как от таких вкусных вещей может болеть живот...

Тихая пыльная улица, бревенчатый дом с резными карнизами над окнами, толстые мягкие лепёшки в пузырящемся масле, блестящие коричневые кринки с густым молоком, миска с мокрой яркокрасной ягодой, к которой прилипли зелёные листочки, хлопотливая бабушка, у которой можно попросить что угодно, — всё это называлось деревней, где Виктор никогда раньше не был. Возле бабушкиного дома кучей росли огромные лопухи,— листья их скрывали Виктора с головой. Лопухи были рядом с плетнём, и через отверстие в нём Виктор пролезал в огород, где всё было таким же большим. Виктор пробирался под зелёным сплетением стеблей, срывая попутно самые крупные стручки гороха, солнце

зайчиками бегало по земле, по рукам, и где-то наверху монотонно жужжали невидимые пчёлы...

Потом переехали в город. Мать на весь день уходила на работу, и Виктор, скучая, сидел у окна в ожидании её. Иногда случалось событие: приносили узенький бланк почтового перевода. Тогда Виктор, заслышав шаги матери, бросался к ней навстречу и, потрясая бланком, радостно кричал: «Исполнительные! Ис-пол-ни-тель-ные!» Слово «исполнительные» было тесно связано для него со словом «командировка», в которую, как ему говорили, уехал папа и из которой он скоро вернётся. Позднее это слово приобрело совсем другой смысл, и Виктор не встречал мать радостным криком, когда приходил перевод, а старался засунуть бланк куда-нибудь под тарелку или под книгу, чтобы мать сама случайно обнаружила его. В эти дни, он знал, рано или поздно, мать обязательно присядет, поставит его перед собой и внимательно, словно не узнавая Виктора, будет разглядывать его и говорить вполголоса:

— И глазки серенькие... И губки пухленькие... И волосы шёлковые...

И хотя это говорилось о нём, Виктор знал, что это относится к тому, от кого шли узенькие почтовые бланки,— к отцу, у которого тоже были серые глаза, и пухлые губы, и мягкие, спадающие на лоб волосы и который к ним не возвратится. Виктор стискивал в такие минуты зубы и дрожал от нестерпимого желания заплакать...

Первая половина жизни кончилась, когда почти перед самой войной умерла мать. Возвращаясь с работы, она всё чаще жаловалась на головную боль, и Виктор бегал в аптеку на угол за порошками и таблетками для неё, мочил полотенце для компресса. Однажды пришлось вызвать «скорую помощь», и мать увезли в больницу. Но лечение оказалось уже бесполезным.

После похорон тётя Даша, охая, почти насильно увела отупевшего Виктора к себе. Когда сгладилась первая боль и всё начало постепенно входить в свою колею, было окончательно решено, что Виктор останется у Далецких.

Раньше Виктор почти не знал их. Они появлялись в гостях редко, только по праздничным дням,—полная, малоподвижная тётя Даша в длинном негнущемся платье

6851

и высокий Николай Касьянович, в чёрном костюме, неестественно вытянувшийся, с сухоньким лицом, острым носом и нависшими над маленькими глазами пучками жёлтых бровей. Далецкие чинно сидели за столом, тётя Даша, охая и вздыхая, неторопливо жаловалась на болезни, и было странно, что она и худенькая, подвижная мать — родные сёстры. Только когда тётя Даша, выпив вина, с заблестевшими глазами вдруг затягивала песню, она чем-то неуловимым становилась похожей на мать. Николай Касьянович говорил мало, и всё, им произносимое, приобретало какое-то особенное значение:

— С точки зрения медицины...

— Положение в смысле продовольствия...

Совсем иным увидел его Виктор теперь. У мальчика сжимались кулаки, когда он смотрел, как Далецкий берёт двумя пальцами любимую мамину синюю кофточку, в которой она ходила на работу, и пришёптывает одними губами: «Поношено... Весьма...», а потом раскладывает на диване её пёстрое платье, надевавшееся только по праздникам, и обрадованно вытягивает губы трубочкой: «Весьма... Минимум полтораста...» Но он понимал, что Далецкий по-своему прав и что эти вещи некому больше носить.

Как пройдёт вечер в доме Далецких, определялось одним — в каком настроении вернётся Николай Касьянович. Иногда это настроение было радужным, что можно было узнать уже по фальшивому напеву «Три танкиста, три весёлых друга...», доносившемуся из передней. «Поёт»,— счастливо вздыхала тётя Даша и кидалась накрывать на стол. Николай Касьянович с аппетитом обедал, часто потирал ладонь о ладонь, вытягивал губы трубочкой и похлопывал тётю Дашу по спине:

— Питательно, высококалорийно... Весьма...

И наставительно говорил Виктору:

— Положение человека определяется его постом, что имеет существенное значение в жизни.

Но чаще он приходил раздражённый, недовольный всем на свете, и тогда тётя Даша, сдерживая свои вздохи и охи, старалась не звякнуть ложкой о тарелку, не уронить невзначай кусок хлеба. Бегающие глаза Далецкого, однако, выискивали на столе всевозможные недостатки:

— Соль... Влажная соль... Вилки чистятся раз в год. Заметно... Весьма...

Он с шумом отодвигал тарелку:

— Можно получить катарр... От моего здоровья зависит ваше благосостояние...

Книг в доме Далецких не было, и тётя Даша, любившая почитать вечерами, брала их у соседей. А у Далецких было только двенадцать одинаковых серых сборников из серии «Университет на дому». В минуты хорошего настроения Николай Касьянович брал иногда один из них, несколько минут лениво перелистывал его, зевал, захлопывал книгу и, водворяя её на место, в шифоньер, поучительно замечал:

— Сокровищница знаний... Ценная вещь! Весьма...

Работал Далецкий инкассатором, и это слово представлялось Виктору живым, извивающимся, тоже вытягивающим губы трубочкой. По роду службы Николай Касьянович имел дело с большими деньгами, и порой он возвращался с работы каким-то отрешённым от действительности, даже мечтательным, если можно было применить это слово к Далецкому. Он молчал, ни на что не обращая внимания, облизывал губы, потом у него вырывалось:

— Весьма крупная сумма, мм-да...

Заработную плату Далецкий всегда получал мелкими купюрами — тройками, даже рублями, перетянутыми бумажными ленточками в пухлые пачки. Это было неудобно, и Виктор понимал, что дело в самих этих пачках: Николай Касьянович долго примерялся, прежде чем разрывал аккуратную бумажную ленту.

Начало войны привело Далецкого в полную растерянность. Он внимательно слушал сводки по радио, перечитывал их в газете, долго вымерял что-то по маленькой карте, вырванной из старого учебника Виктора, и пришёптывал при этом:

— Вопреки всем предположениям... Полнейшая неожиданность...

Потом он вдруг снова стал самим собой и лишь мельком проглядывал газету, складывая губы в трубочку:

— В зависимости от обстоятельств...

Когда стало трудно с продуктами, когда цены на базаре начали расти, как на дрожжах, в лексиконе Николая Касьяновича всё чаще стала появляться фраза:

— Иждивенчество является тягостной обузой... Мм-да... Весьма...

Это говорилось куда-то в сторону, но Виктор давился куском и спешил закончить обед.

А когда в сорок втором году прекратились переводы от отца, маленькие глаза Николая Касьяновича взглянули прямо в лицо Виктора:

— Трудовые резервы предоставляют учащимся общежитие, обмундирование, обильное питание...

Но тут неожиданно поднялась всегда тихая тётя Даша. Большая, грозная, она двинулась на мужа, выкрикивая обрывки фраз:

— Недоучкой?.. Не бывать... Понял?.. Родной сестры...

Она всхлипнула и громко заплакала. А высокий Далецкий вдруг съёжился, поник и стал удивительно похож на мышь, когда она, присев, грызёт кусочек сахару, держа его передними лапками.

Через год Виктор всё же поступил на завод,— и потому, что не в силах был, не мог оставаться в стороне от всего, чем жила в эти дни страна, и потому, что ни в чём не хотел зависеть от Николая Касьяновича.

В тот самый вечер, когда Виктор отдал свой первый заработок тёте Даше, наступила резкая перемена в их отношениях с Далецким. Не дослушав рассуждений Николая Касьяновича о пользе умеренного питания, наставительным тоном говорившихся в потолок, он вышел, громко хлопнув дверью...

Только в праздничные дни, когда являлись гости, стороны заключали негласное перемирие.

Тётя Даша приходила к Виктору на кухню, обнимала его за плечи и тихо уговаривала:

— Ну, посиди, Витенька, потерпи... Немного хоть побудь... Людей стыдно...

И Виктор шёл за ней в комнату, где, он знал, собралась всё та же извечная компания. Грузный, похожий на медведя Митрофанов, который, казалось, весь покрыт был волосами,— они мохом покрывали руки, завиваясь колечками, лезли из ушей, из ноздрей. Жена Митрофанова, не в пример мужу хрупкая, похожая на старую гипсовую статуэтку, с застывшей на лице обиженной гримасой. Третьим был Аркадий Леопольдович, с лысой яйцевидной головой, в пенсне, чёрная ниточка от которого была закинута за ухо. Время от времени он доста-

вал из кармана большой клетчатый платок, трубно сморкался, прятал платок обратно, предварительно аккуратно сложив его, на что жена Аркадия Леопольдовича, худая, мелко завитая, в чёрном, пахнущем нафталином платье, всегда говорила с укоризной: «Кашик!» Последней, запыхавшись, громко стуча лакированными туфлями на непомерно высоких каблуках, впархивала Верочка. Вера Степановна, особа лет сорока, с ярко накрашенными губами, неестественно длинными слипшимися ресницами, имевшая какое-то отношение к театру, какое именно — Виктору было неизвестно.

— Я с вами, я с вами! — кричала Верочка Митрофанову, и жена того, бросив на Верочку откровенно ненавидящий взгляд, отодвигалась от мужа.

— Ну, дай бог, не последнюю,— как обычно, басил Митрофанов и, чокнувшись в первую очередь с Верочкой, тянул волосатую руку к Виктору: — Молодой человек!..

За первой рюмкой следовала вторая, третья, и завязывалась беседа, чуть не слово в слово повторявшая те, что были в прошлый и позапрошлый раз.

— Нет, каков мерзавец этот Михайлов! Оторвал-таки премию! — восклицал Аркадий Леопольдович и лез в карман за платком, отталкивая локтем жену, укоризненно шептавшую: «Кашик!»

— Он и Галкиной устроил, поверьте,— обиженно поддакивала жена Митрофанова.

— Злоупотребление служебным положением,— пришёптывал Николай Касьянович.

— Хо-хо-хо! — грохотал Митрофанов.— Да у них с Галкиной, знаете что? Захожу я к нему в кабинет, а они...

— Я уйду, прекратите, я уйду! — дёргала за рукав его Верочка и... не уходила.

Ещё рюмка, и ещё одна, и голоса становились всё громче, воздух словно накалялся, и Виктор, не замеченный никем, выбегал из комнаты, где ему было тягостно, душно, непереносимо мерзко. Он с облегчением вздыхал, когда до слуха доходил, наконец, бас Митрофанова: «Спасибо этому дому, пойдём к другому...»

Виктор аккуратно отточил два карандаша,— он любил, чтобы они были отточены тонко, длинно, с той стороны, где нет фабричной надписи,— положил в карман ещё вчера купленную записную книжку. По пути к серому многоэтажному зданию, где помещался областной земельный отдел, он ещё раз, чтобы потом не сбиться, мысленно повторял наставления Михалыча — узнать, что за совещание, какие вопросы будут обсуждаться, кто приезжает.

Секретарь, узнав, откуда Виктор, сразу провела его к начальнику. Тот заканчивал разговор с какой-то смуглой невысокой девушкой.

— Большое спасибо,— пожала она руку собеседнику и скрылась за дверью.

— Из редакции? — переспросил начальник.— Жаль, что запоздали,— только что дал интервью товарищу из радиокомитета.

Он устало потёр лоб:

— Что же, придётся повторить... Я буду так, может быть вразброс, вы уж переделаете, сами знаете как...

Чтобы скрыть краску на лице, Виктор ниже склонился над записной книжкой. Начальник стал говорить — размеренно и обстоятельно:

— Первое после войны областное совещание председателей колхозов... особенно интересно тем, что на нём будет развёрнута программа, так сказать, новой эпохи — мирного строительства...

Виктор торопливо записывал. От волнения он слишком сильно нажал на карандаш, и тот с треском сломался. Виктор выхватил второй,— хорошо, что захватил,— но не успел написать трёх слов, как сломался и этот. Проклиная себя в душе, Виктор полез за ножом, но собеседник, не прерывая речи, достал из стаканчика на столе и протянул Виктору свой карандаш.

— Достойно отметить, что на совещании будут присутствовать старые, закалённые наши кадры — ряд председателей, демобилизованных из армии... Вы сами понимаете, насколько это...

Распахнулась дверь, и собеседник Виктора осекся на полуслове:

— Констан... Чёрт этакий!.. Бородин! Ты?

— Он самый! — вытянулся у дверей кряжистый загорелый человек, с бритой головой, в офицерском кителе без погон, на котором красовались гвардейский значок и два ряда орденских ленточек.

Собеседник Виктора выскочил из-за стола. Он и новоприбывший долго хлопали друг друга по спине, восклицая:

— Постарел!..

— А ты-то, брат!

— Откуда сейчас? — спросил начальник.

— Из обкома.

— И что — к нам?

— Нет, обратно...

— Да как же! — вскричал начальник.— В твоём-то полковничьем звании...

— Ну-ну,— погрозил Бородин,— высоко больно не поднимай — всего подполковник. А чтобы к вам,— посерьёзнев, проговорил он,— и не мечтай: я свои планы не только не забыл, у меня их в сто раз больше.

— Ладно,— снова уселся начальник за стол.— Я уж так — больше по привычке...

И, вспомнив о Викторе, сказал:

— Вот как раз один из тех людей, о ком я говорил, товарищ корреспондент. Константин Лукич Бородин — агроном, потом председатель колхоза «Красное знамя», потом — гвардии подполковник, герой боёв под Сталинградом, на Днепре... под Кенигсбергом, я вижу,— пригляделся начальник к орденским ленточкам Бородина.

— Прибавь Берлин — получить ещё не успел, — улыбнулся Бородин.

— ...И ныне снова председатель того же колхоза, о котором мы скоро услышим, а, Константин Лукич?

— Что же, услышите о нашем, услышите и о других,— сказал Бородин, жестковатой ладонью сжимая руку Виктора.— Нас — много, не я один...

...Уже в подъезде Виктор обратил внимание на карандаш, который он вертел в руках,— чужой, отточенный с той стороны, где была фабричная надпись...

Маленькую заметку оказалось написать не так просто, как можно было предположить с первого взгляда. Виктор перепортил немало бумаги, но всё получалось не то. Собственно, главной трудностью было начало,— если просто изложить, что он слышал сейчас в облзо, полу-

чится, казалось Виктору, куцо. В мучительных поисках Виктор схватил газету и начал просматривать передовую статью. Ага,— ну вот, конечно, то, что ему было нужно: «Огромное значение в послевоенный период придаётся развитию сельского хозяйства...» Дальше шло, как по маслу: «На днях открывается областное...»

Михалыч встретил Виктора, как старого знакомого:

— Похвастай, похвастай!..

Прочитал заметку и сказал:

— Дело...

Взял ручку и вычеркнул первую фразу.

— Как же? — взволновался Виктор.

— Не передовую пишешь,— спокойно пояснил Михалыч.— Информация — есть агитация фактом, без лишних слов.

Перо Михалыча побежало по строчкам, расставило в начале абзацев значки, похожие на рукописное *«г»*, вычеркнуло лишнюю запятую, вставило тире, с треском расправилось с пятью словами сразу и вписало вместо них одно,— в общем вело себя, как уверенный хозяин, не теряющий времени даром.

— Дело,— повторил Михалыч, поставив в конце листа две линии и перечеркнув их двумя другими.

Он поднял очки на лоб:

— Пойдёт,— я так и думал. Только «человек председателей» писать не годится. Уж что-нибудь одно — или «человек», или «председателей»... Теперь вот что — надо бы побывать в облоно, насчёт новых школ, да в управление местной промышленности зайти, как у них там с ширпотребом...

— Завтра? — спросил Виктор.

— К половине первого, точно!

На следующий день Виктор был у киоска «Союзпечати», когда киоскёрша только ещё привезла газеты. Распаковывая тюки, она лениво спросила:

— Что за спех? Тираж, что ли, напечатан — я не смотрела.

Виктор выхватил из её рук пахнущий свежей краской номер и на второй странице, сверху сразу увидел свою заметку. Он быстро пробежал её, потом прочитал медленно, слова были его, всё то же самое, даже упоминание о демобилизованном гвардейце Бородине,— и всё-таки не верилось, что это написано им, Виктором. Вик-

тор впервые обратил внимание на рисунок газетного шрифта,— каждая буква, как человек, имела свой характер,— задорное, подбоченившееся «я», надменное «э», «ж», словно растянувшее нижними хвостиками гармонику, в различных комбинациях сливались в слова, которые он помнил наизусть и которые жили теперь уже независимо от него...

Виктор подходил к газетной витрине и, делая вид, что занят исключительно газетой, косился на соседей. Некоторые читали вторую страницу, читали его заметку, и Виктор, постояв и не зная, как намекнуть им, что он — автор, тихонько отходил, направляясь к следующей витрине.

Возле сквера Виктор заметил Сергея со своей неизменной спутницей. Они стояли почти на том же месте, где были третьего дня, когда Виктор сбежал от Сергея,— словно они и не уходили отсюда. Сейчас Виктору от избытка чувств самому захотелось встретиться с Сергеем, как, впрочем, с кем угодно из знакомых.

Валя пристально взглянула в лицо Виктору. Её голубые большие глаза смотрели строго, будто оценивая его. Чуть вздёрнутый нос смешно сморщился, словно она собиралась чихнуть.

— Пойдёмте сядем,— предложил Сергей.

Продолжая начатый разговор, он рассказывал Вале:

— Вот и не пойму, что теперь делать. Как я рисую, ты сама знаешь. Так что на архитектурный факультет — мне и мечтать нечего. А хочется, честное слово, так хочется...

Валя вдруг, будто и не было здесь Виктора, положила руку на руку Сергея:

— Ой, какой ты, Серёжка! Хочется, да колется. Ну, хочется, значит, получится...

Виктор видел её руку. Голубоватые жилки чуть просвечивали сквозь кожу, выше к локтю рука была покрыта нежным, едва заметным золотистым пушком. Он украдкой поглядел на Валину шею,— она тоже была покрыта сзади таким же пушком, светлые короткие волосы на затылке путались в каком-то милом ералаше. Словно уличённый в чём-то, Виктор быстро отвёл взгляд...

Собственно, весь их разговор не интересовал его сейчас. Ему хотелось, и именно при Вале, подчеркнуть, что

в газете напечатана его заметка, чтобы Сергей и Валя смотрели, удивлялись и говорили только об этом. Но получилось глупо и стыдно.

— Читали сегодня газету? — резко прервал Виктор Валю.

— А что? — повернулись оба к нему.

— Вот...— развернул Виктор газету.— Это — моя...

— Да? — переспросил Сергей, совсем не так уж удивлённый, как желал этого Виктор.— Интересно... Ты пишешь в газету?

— Недавно,— смешался Виктор, уже ругая себя за то, что сказал.

Вдруг Сергей с неожиданным вниманием всмотрелся в газету:

— Бородин?.. Ну да, он, Константин Лукич, из «Красного знамени»... Ты видел его? — обратился он к Виктору.

— Видел,— ответил Виктор,— такой,— он прищёлкнул пальцами,— с орденами...

Виктор не понимал, почему так заинтересовал Сергея этот Бородин.

А Сергей не мог словами выразить нахлынувшие вдруг воспоминания.

...Сразу встала перед глазами мельница, как на картине «Украинская ночь», маленькие домики, колодцы-журавли,— всё село Каменка, куда приехал Сергей со школьниками в сорок втором году на помощь колхозу... Ожили, задвигались, заговорили люди, которых узнал он там,— дед Куренóк, так сердившийся, когда путали ударение в его фамилии, произнося её «Курёнок»,— он носил тогда старый кожан, оставшийся у него с партизанских времён, потому что надевался этот кожан в самых ответственных случаях жизни; сердитая, но справедливая Ольга Николаевна, сначала бригадирша, а потом председатель колхоза, ни словом, ни намёком не выдававшая своего безысходного горя, — у неё на фронте сгорел муж-танкист; сын Ольги Николаевны Панька — озорной и мечтательный, которому Сергей подарил книгу о путешествиях Миклухо-Маклая и который всё время спрашивал, можно ли организовать колхоз в Новой Гвинее; хмурый, не по годам замкнутый Иван Антипкин... Как мечтали все они, работая на полях за двоих, за троих каждый, о том времени, когда придёт мир, когда вернётся с фрон-

та их старый председатель Константин Лукич Бородин и они возьмутся за большие дела, осуществить которые помешала война. И это сбылось,— вот о чём напомнила Сергею скупая газетная заметка...

Но он ответил Виктору коротко:

— Я был там, в «Красном знамени», в войну...

Валя спохватилась:

— Ой, я побегу... Заговорилась тут, а Стёпочкин мой с голоду умирает.

Она неожиданно дружелюбно попрощалась с Виктором:

— Давайте встречаться все вместе, сходим в оперу... Вы любите оперу?

— Ничего,— протянул Виктор, и опять получилось глупо и стыдно.

— Бегу! — крикнула Валя.— Заждался мой Стёпочкин.

— О ком она? — спросил Виктор, когда Валя ушла.— Это родственник?

— Нет, посторонний,— задумчиво ответил Сергей.— Живут они вместе вот уж сколько. Она — за хозяйку, а он ей в войну помогал, да и сейчас — на одну ведь стипендию трудно...

Сергей говорил медленно, как бы припоминая всё то, о чём рассказывал.

— У него большое несчастье было, у Стёпочкина. Вернулся с фронта инвалидом, жена за другого замуж вышла, куда ему? Пустая она женщина, не стоит его, но ему очень тяжело было,— он ведь любил её, знаешь, как это? Она всем для него была...

Сергей посмотрел вдаль.

— Он из-за неё потерял веру в людей. Это, по-моему, самое страшное — не верить в людей.

Слова Сергея резнули Виктора: да, страшно без веры в людей.

— Вот так у Стёпочкина и было,— продолжал Сергей.— Но нашёлся хороший человек, он его поставил на ноги. Валин отец...

— Она и с отцом живёт? — спросил Виктор.

— Нет,— проговорил Сергей.— Он умер, скоро уже два года, как умер. Он очень хороший был человек,— сделал Сергей упор на слове «очень».— Ему не один Стёпочкин,— я ему тоже обязан. Да и многие, наверно...

— А мать?

— Мать умерла ещё раньше, Валя тогда совсем маленькой была...

На прощанье Сергей повторил Валино предложение:

— Верно, давай встретимся, сходим в театр, зайдём ко мне... В шахматы сразимся...

Виктор расстался с Сергеем совсем в другом настроении, чем встретился. Он вспомнил покрытую нежным золотым пушком шею Вали, едва заметные голубые жилки на руке. Неясная, незнакомая, эта девушка стала сразу близкой со своими спутанными светлыми волосами, большими, прямо глядящими в лицо собеседника глазами, смешно сморщенным носом. Борясь с самим собой, он находил особенное в том, что судьба Вали так напоминает его судьбу. Она должна была понять Виктора, ей он доверил бы всё. Но между ними стоял Сергей, у которого были с Валей одни мысли и намерения

Текущие дела

В этой работе было что-то привлекательно-затягивающее. Виктор сам не заметил, как начал расценивать всё, что видел и слышал, с одной точки зрения: годится или не годится это для газеты. Это стало непроизвольным: сознание само отсеивало ненужное и выделяло то, что могло понадобиться на будущее. Он видел стройку, и сразу же появлялась мысль: может быть, это новый завод или большой жилой дом. Он слышал случайно брошенную фразу о только что прибывшей группе врачей, и тут же рождались догадки, куда они прибыли и зачем. Он замечал возле клуба вышедших на перерыв людей, замешивался в толпу и узнавал, что в клубе происходит конференция торговых работников...

Если в первые дни Виктор шёл только туда, куда указывал Михалыч, и спрашивал только то, что советовал спросить Михалыч, то теперь он учился действовать самостоятельно. Для начала обошёл сверху донизу, комнату за комнатой, всё деловое и суетливое многоэтажное здание облисполкома. Потом переключился на горисполком и, когда всё было исчерпано и здесь, квартал за кварталом стал исследовать весь город. Он по-новому взглянул на давно знакомые улицы. Маленькая неказистая вывес-

ка, скрытая листвой росших перед домом деревьев, возбуждала в нём чувство, вероятно, похожее на чувство охотника, заметившего желанную добычу.

Виктор уже научился не соблазняться видом больших дверей, с аршинными золотыми буквами на блестящих вывесках из чёрного стекла. Низенькая бедно обставленная комнатка, где сидело всего три-четыре человека и, как всегда, где-нибудь в углу неизменная девушка крутила ручку арифмометра, могла оказаться конторой экспедиции, которая вела работы на десятках и сотнях тысяч квадратных километров,— отряды её шли сейчас через тайгу, бурные горные реки, по необозримым просторам сибирских полей.

По-разному встречали Виктора, перед которым бланк внештатного сотрудника газеты открывал все двери, в этих маленьких и больших учреждениях. То он сидел перед человеком, чьи отрывистые фразы и озабоченный вид показывали, что он очень занят и крайне недоволен нежданным вторжением корреспондента, оторвавшего его от спешной работы. Но скупой рассказ этого человека был настолько интересным, что Виктор, чувствуя неловкость, всё-таки задавал новые и новые вопросы. То Виктора с почётом усаживали в мягкое кресло, секретарша плотно прикрывала обшитые чёрным дерматином двери кабинета, напутствуемая многозначительным возгласом: «Никого там, пока не кончим», и Виктор тонул в обильном потоке витиеватых фраз, за которыми, однако, не скрывалось ничего, кроме желания замазать так и лезшие, как шило из мешка, ядрёные недостатки и выпятить худосочные достижения. То собеседник Виктора мялся, смущённо разводил руками — обыкновенная текущая работа, больше ничего,— но два-три слова, сказанных им в ответ на телефонный звонок, как за ниточку, вытягивали «гвоздевую заметку» и вызывали сочувственные кивки собеседника Виктора — да, да, это есть, это, пожалуй, можно...

Виктор неожиданно почувствовал себя как бы хозяином всего большого города, раскинувшегося по обе стороны великой сибирской реки. Всюду, в каменных и деревянных, в одноэтажных и многоэтажных домах с неказистыми и сверкающими золотом вывесками, каждый день кипела работа, щёлкали счёты, трещали арифмометры. Поезда, прибывавшие с разных сторон на вокзал, высаживали на перрон тысячи людей, ездивших в далёкие края,

кончивших учёбу, начинающих гастроли, и увозили множество таких же людей, нагружённых теодолитами, нивелирами и прочим оборудованием изыскателей, получивших назначение на новое место, направляющихся с концертами в колхозы, с путёвками на курорты Сибири и юга,— инженеров, рабочих, врачей, агрономов, артистов, колхозников, студентов. Каждый день рождал неисчислимое количество новостей, и ни одну нельзя было упустить, за всеми ними должен был уследить Виктор. Записная книжка его очень скоро заполнилась десятками телефонных номеров, адресов, фамилий, восклицательными и вопросительными знаками, одному ему понятными пометками. Он уже, случалось, раскланивался с людьми на улице, помня их в лицо, но не припоминая, откуда они...

В бесконечных странствиях по городу Виктор не раз сталкивался со смуглой, невысокой девушкой — корреспонденткой радиокомитета, которую увидел в облзо, когда отправился делать свою первую заметку. Иногда он так же заставал её кончающей беседу, иногда узнавал, что она здесь побывала до него: «Приходил тут к нам корреспондент... Ах да, не из газеты, из радио», и досадовал на вездесущую «радиодевушку», успевшую выхватить у него из-под носа интересную новость. Потом он стал обгонять её и с удовольствием глядел, как она входит в подъезд, из которого только что вышел он сам: «Не всё тебе!» Как-то они явились в одно учреждение вместе, и итти обратно поневоле пришлось вдвоём. Девушка с непринуждённостью, приобретённой частым общением с людьми, заговорила первой.

— Маргарита,— назвалась она.— Я вас часто вижу...

— Виктор,— буркнул Виктор и добавил: — Я вас тоже...

— Вы всё ходите по моим пятам,— хитро сощурилась девушка.

Маленькая, с живыми блестящими глазами, вся какая-то подтянутая, она напоминала светлокоричневый гладенький грибок, что можно встретить в берёзовом лесу. Впрочем, об этом Виктор подумал позднее, сейчас его уязвила ирония в словах девушки.

— Это было давно... И неправда.

— Как же? — звонко расхохоталась Маргарита.— Всегда...

— А в...— назвал Виктор учреждение, где побывал раньше неё.— Вам не говорили?

— Разве вы уже были? — растерянно взглянула на Виктора Маргарита.— Нет, не говорили...

И снова звонко расхохоталась:

— Ладно, не будем ссориться, города на нас двоих хватит... Лучше скажите, вы знаете о генеральном плане Каменки?

— О каком? — пытаясь представиться равнодушным, спросил Виктор.

— Бригада архитекторов работает над генеральным планом села Каменки, где колхоз «Красное знамя»... Пользуйтесь, я не жадная.

— Спасибо,— проговорил Виктор, доставая записную книжку. И, видя, что девушка сворачивает в сторону радиокомитета, крикнул: — Погодите... Маргарита,— он перелистнул несколько страниц.— О гастролях Козловского слышали?

— У нас? Когда? — сразу приняла она деловой тон.

— В том месяце... Пользуйтесь и вы. Я тоже не жадный.

— Долг платежом красен,— сощурилась Маргарита, и звонкий смех её некоторое время слышался ещё в отдалении.

Пересекая сквер, Виктор, как обычно, остановился у газетной витрины. Он делал теперь это каждый раз, но с другой уже целью, чем в тот день, когда была напечатана его первая заметка. Очень быстро прошло смешное мальчишеское желание дёрнуть читающего его заметку за рукав и сказать: «Моя!» И сейчас ему хотелось, чтобы читали его, но теперь ему было интересно, как относятся те, кто читает, к тому, что они читают. Сердце Виктора билось быстрее, когда он слышал, как старик в очках в металлической оправе, судя по одежде — заводской рабочий, подталкивал в бок свою пожилую спутницу:

— Гляди, промышленность переключается на новую продукцию... Надо понимать — переходим на мирные рельсы.

Эту заметку писал Виктор...

И так же взволнованно билось его сердце, когда один юноша замечал другому:

— Новую пятилетку выполняют...

Заметка об электрификации железной дороги тоже принадлежала Виктору.

— Агитация фактами,— любил повторять Михалыч, произнося даже слово «фактами» так, что оно звучало у него немножко на «о».

Виктор понимал теперь значение этого выражения. Не голым изложением события, но боевым оружием были маленькие заметки, собранные под заголовком «По городу и области» и объединённые в «подборку», как это называлось в редакции. Из крупиц, как из мозаики, складывалась широкая картина жизни. Там пустили новую фабрику, здесь возобновили прерванное войной строительство консервного комбината, в Доме моделей придумали новые фасоны платьев с вышивкой по сибирским мотивам, а кузнец с большого завода изобрёл машину для корчёвки пней,— вся эта многосторонняя жизнь вбиралась в маленькие информации, которые добывал Виктор.

Он думал, что́ скажет старик рабочий, когда прочтёт заметку о прокладке трамвайной линии на том берегу реки, где каких-нибудь двадцать лет назад шумел вековой бор, а сейчас вырос крупный промышленный район. Заметка эта досталась Виктору с большим трудом, после нескольких дней телефонных звонков,— вопрос о трамвае всё «утрясался».

Он представлял двух юношей, читающих о номере подпольной большевистской газеты, датированном тысяча девятьсот двенадцатым годом и напечатанном в маленьком, теперь уже покосившемся домике с мемориальной доской на фасаде, что приютился на окраине города. Виктор обнаружил этот розовый тонкий листок с бледным шрифтом в областном архиве, перерывая кипу старых бумаг, когда ему нужно было найти материалы о знаменитом учёном, жившем полвека назад в Сибири...

И высшей оценкой для Виктора звучало рокочущее в устах Михалыча:

— Хорошо...

В кабинет Михалыча Виктор входил теперь уже не робко, но даже с чувством некоторого достоинства,— его здесь ждали, если он запаздывал — волновались. Он уже знал, что только случайно в первый раз застал Михалыча в комнатушке одного,— такие моменты были исключительно редки. Обычно здесь собиралось столько посетителей, что непонятно становилось, как они все умещаются. Михалыча знало очень много людей, и часто они

приходили не по газетным делам, а просто повидаться и поделиться новостями. Приходил садовод-мичуринец, клал на краешек письменного стола румяное яблоко и тихо устраивался на диване, дожидаясь, когда Михалыч сможет уделить ему минуту внимания. За ним следовал речник, только что вернувшийся с Севера, у которого были к Михалычу какие-то дела по литературной части. Наконец, комнату заполняла массивная фигура человека в отличном синем пальто, и Виктор с трепетом узнавал в этом человеке знакомого по портретам писателя-москвича, называвшего Михалыча мягко и нежно:

— Саша...

Посетители говорили, смеялись, табачный дым клубами поднимался к потолку, а над всем этим возвышался в своём углу за письменным столом Михалыч, который и во время разговора что-то чёркал и правил в исписанных листах, то хмурясь, то иронически улыбаясь, так что неясно было, к чему это относится — к беседе или к тому, чем он занят. Но вдруг он вставлял в разговор замечание, из которого можно было заключить, что он слышал всё до слова, и тут же передавал Виктору выправленный лист:

— Будь другом, снеси на машинку...

Часто появлялся у Михалыча Ефрем Рубин — спортивный корреспондент, рослый взлохмаченный парень, с громким голосом и размашистой походкой. Он входил в кабинет, держа в правой руке пук только что перепечатанных заметок и блокнот, исписанный широко растянутыми буквами, громоздившимися неровным частоколом, а левым, пустым рукавом смахивая подвернувшиеся некстати пресс-папье или крышку от чернильницы, — руку Ефрем потерял на фронте. Рубин был из тех людей, которые освоились бы с обстановкой на другой же день, перекинь их судьба даже за тридевять земель. Встретившись с Виктором, он тут же попросил засунуть ему пустой рукав сорочки в рукав пиджака:

— Такая непослушная...

Это относилось к отсутствующей руке.

Рубин как будто был лишён чувства юмора и всерьёз принимал шутливое замечание Михалыча о том, что спорт совсем заполонил газету и что надо будет хоть на время прекратить печатать спортивную информацию, чтобы дать читателям передохнуть. Он начинал кричать и,

как фигурально выражаются, с пеной у рта отстаивал свои права:

— Это же событие — междугородная встреча по футболу... Этого же не простят читатели, если мы не дадим...

Заметкам Рубина свойственна была сухость и сугубая деловитость. Просьбы оживить материал не давали ничего, кроме «яркого летнего солнца, залившего стадион», за которым следовало неизменное: «Здесь состоялся забег на сто метров...» Ефрем обычно восклицал:

— Так что же вы хотите,— мы не очеркисты! Уж это простят читатели...

Грубоватые манеры не мешали Рубину быть отзывчивым и добросовестным, и он действительно очень любил спорт. Когда Михалыч наотрез отказывался поместить в очередном номере какую-нибудь хронику о шахматно-шашечном турнире, происшедшем в детском парке, Ефрем смотрел на него с мольбою и повторял:

— Ну, без гонорара... Ну, пожалуйста, не заплатите мне деньги. Но такое событие — как это простит читатель?

На жизнь Ефрем смотрел очень просто. Планы свои он изложил Виктору сразу же:

— Только поставлю на ноги сестричку — и женюсь Есть такая милая девушка...

И вопросительно посмотрел на Виктора:

— А что думаешь ты, такой парень? Или есть уже кто-нибудь в сердце, только не говоришь? Ой, скрываешь, хитрюга парень!

Вопрос Ефрема невольно смутил Виктора и заставил его покраснеть. Он вспомнил... Валю.

Не однажды, проходя мимо медицинского института, он ловил себя на мысли, что надеется встретить её здесь И тогда он сразу видел спутанные золотистые волосы, смешной вздёрнутый нос... На днях он зашёл в институт по делам — надо было взять информацию о начале учебного года, — и в вестибюле увидел Валю. Она сидела на диванчике, низко склонившись над книгой. «Физическая химия»,— прочёл Виктор на обложке.

Валя встретила Виктора, не проявив удивления

— К нам? По делам?

Виктор объяснил.

— Вы всё для газеты? — спросила Валя

— Да,— ответил Виктор и, вспомнив недавний глупый эпизод в сквере, прибавил: — Тогда я только начинал, а сейчас вот... развёртываюсь.

— Это очень интересно — в газете?

— Очень! — так искренне вырвалось у Виктора, что Валя улыбнулась, сморщив нос.

Виктор заговорил о приезде Козловского:

— Помните, вы хотели в театр... Я могу достать билеты.

— Билеты? — переспросила Валя. И вдруг, что-то решив, сказала:

— Хорошо, покупайте...

— Три? — поднялся Виктор.

— Н-нет, почему? Два...

— А Сергей?

— Сергей?.. Он не сможет...

— Значит, два? — Виктору показалось, что он задал этот вопрос чужим голосом.

— Да, да, два, — торопливо промолвила Валя. — Вы позвоните, когда купите, в комитет комсомола, меня позовут...

И мысли об этом непонятном и волнующем разговоре путались с громовым возгласом Рубина:

— Женись... Обязательно женись...

Ещё одним, кто часто появлялся у Михалыча, был тот узколицый человек в тщательно выутюженном сером костюме, который в первый день прервал беседу Виктора с Кузнецовым. Это, как уже знал Виктор, был сотрудник отдела культуры и быта редакции Игорь Студенцов. Он часто писал в газеты о театре, о художниках, вообще об искусстве.

Присаживаясь на диван, Студенцов предварительно осторожно подтягивал брюки, чтобы они не смялись, и, далеко отставив папиросу, зажатую двумя пальцами, пускал в потолок голубоватые кольца — большое, меньше, ещё меньше...

Говорил Студенцов исключительно с Михалычем, словно больше никого в комнате и не было. Говорил об актёрах, о театральных делах, слова его были хлёстки, сравнения метки и уничтожающи. Острые глаза Студенцова при этом суживались, тонкие губы чуть белели. В такой манере чувствовалась уверенность человека, твёрдо убеждённого в непогрешимости своих суждений, и

Виктор испытывал подсознательное желание подражать ей, так она была выразительна и эффектна.

Когда Михалыч начинал спорить с ним, Студенцов мягко улыбался, как улыбаются неразумным детям, и говорил:

— Всё это, дорогой, далеко не так, как вам кажется. Нельзя смотреть на мир через радужные очки... Многое далеко не совершенно...

И Виктор думал, что проницательный Михалыч на этот раз заблуждается, защищая человека, которого так остро и беспощадно обрисовал Студенцов...

Каково же было удивление Виктора, когда Студенцов остановил его однажды в коридоре и, очень ласково поздоровавшись, пригласил к себе в кабинет.

— Курите? — спросил он и выбросил на стол две пачки: — «Беломор» или «Казбек»?

— Всё равно, — несколько растерянно проговорил Виктор.

— Ну да,— задумчиво заметил Студенцов,— вы в том счастливом возрасте, когда не имеют ещё любимого сорта папирос.

Напоминание о возрасте слегка покоробило Виктора, но Студенцов смотрел на него попрежнему дружелюбно:

— Я, собственно, вот вас зачем... Как ваши успехи? Говорят, вы за короткое время отлично преуспели на нашем поприще?

Виктор неопределённо качнул головой.

— Может быть, пора подумать о большем? — по обыкновению пускал Студенцов кольца в потолок.— Напишите что-нибудь для нас, покрупнее, не всё же вам погрязать в информации...

Предложение это подняло Виктора в собственных глазах. Как-никак, на него обратил внимание такой человек, как Студенцов. Он не будет бросаться похвалами впустую...

Причины и следствия

Виктор не ошибся: он действительно привлёк внимание Студенцова. Ещё до вчерашнего дня тот не выделял его из общей безликой массы безусых юнцов и барышень, с которыми так много возился Михалыч и которые несли

ему бумажки, нацарапав на них что-то этакое... Но когда вчера Студенцов услышал, как Михалыч расхваливал редактору способности Тихонова и как редактор дал согласие принять того в штат редакции, этот молодой человек перешёл в категорию интересующих Игоря людей...

Ещё с детства установилось у Студенцова ревнивое отношение к тем, кто мог как-нибудь заслонить его. Маленький Игорь, сын видного инженера, был полновластным хозяином в доме. Няням его не раз приходилось ползать по полу, собирая осколки стаканов, которыми швырял в них в припадке раздражения мальчик. Домработницы у Студенцовых менялись часто, опять-таки из-за Игоря: мать считала, что дело именно в них, а не в сыне,— грубые женщины, по её мнению, не понимали впечатлительной натуры её Игоря. В играх мальчик не мог удовлетворяться ролью рядового участника. Хорошо развитый физически, он главенствовал среди сверстников, и горе было тому, кто смел ему перечить.

То же самое было и в школе. Правда, здесь стало труднее: не только силой, но и многим другим можно было выделиться в классе. Игорь умел настойчиво и терпеливо добиваться, чтобы его соперник был унижен. Студенцов щеголял в бархатных курточках со всевозможными хитроумными застёжками, в отлично сшитых дорогих костюмчиках. Заштопанная рубашка вызывала у него истерику. Игорь располагал немалыми карманными деньгами, на завтрак он приносил такие вкусные вещи, что у его соклассников текли слюнки. Поэтому Игорю легко было зло высмеять заплату на пиджачке своего соседа или кусок чёрного хлеба с маслом, завёрнутый в старую газету.

И всё же в классе не считали Студенцова плохим, потому что он нередко делал очень широкий жест — собирал гурьбу ребят и вёл их на свои деньги в кино да там ещё угощал всю компанию мороженым. Это признавали доказательством его щедрости, но Игорю просто приятно было видеть, как зажигаются благодарностью глаза одноклассников, и чувствовать, что они от него зависят.

Учителя замечали, конечно, дурные стороны характера Студенцова, но жалобы их натыкались на глухую стену: мать считала, что это делается лишь из-за желания принизить способности и тонкость натуры её сына

Так длилось до тех пор, пока не произошло следующее. С ранних лет Игоря обучали игре на фортепиано. Мальчик несомненно обладал слухом, и нередко, когда в доме собирались гости, мать с гордостью подводила сына к инструменту. После долгих уговоров Игорь, наконец, соглашался сыграть и потом со снисходительной улыбкой выслушивал аплодисменты взрослых. Позднее Игорь стал посещать музыкальную школу. Там занимался и один из его соклассников, тоже даровитый мальчик. Оба шли первыми, и педагоги пророчили им большую будущность. Приближалась детская олимпиада, тот и другой готовились к ней. Но, очевидно, подготовка Игоря оказалась слабее, — заниматься чем-нибудь долго и усидчиво было вообще не в его обычае,— на олимпиаде он получил только вторую премию. Удар по его самолюбию был очень чувствительным. Игорь всю ночь проворочался в постели, строя жестокие планы мести. Наутро, явившись в школу, он сразу же обратил стрелы против счастливого соперника.

— Чулки! — закричал Студенцов.— Смотрите, он взял у матери чулки и надел...

Верно, чёрные чулки на мальчике явно были не по его росту. Но насмешка Игоря успеха не имела. Тогда, не зная, что предпринять, Студенцов выхватил из рук соперника полученную им на олимпиаде грамоту, которую тот показывал товарищам, и разорвал её пополам...

Шум был большой. Игоря не исключили из школы и из пионеров только из уважения к имени отца. Однако ему пришлось выслушать много неприятных для самолюбия упрёков.

Много лет спустя, работая уже в газете, Студенцов снова увиделся со своим соперником. Тот был теперь известным музыкантом, имя его часто упоминалось в «Советском искусстве». Встретились они радушно, ни словом не вспомнив былого. Игорь с усмешкой в душе взглянул на бывшего одноклассника: костюм на нём сидел мешковато, в манерах не было ничего, что, по мнению Студенцова, отличало человека «с именем» от простых смертных, но внешне держался Игорь с ним очень корректно и даже намекнул вскользь, что гордится тем, что они учились в одной школе.

После случая с грамотой Игорь резко изменил тактику. Он не хотел, чтобы повторилась ещё в его жизни сце-

на, когда он, готовый убить самого себя, смиренно каялся в своих ошибках на пионерском сборе и на педагогическом совете. Он научился пускать издевку исподволь, тотчас скрывая её шуткой и дружеской улыбкой. Он убедился, что это даже лучше,— цель достигалась та же, а сам Игорь оставался в стороне. Музыкальную школу он забросил немедленно и бесповоротно...

Педагогический институт ничего не изменил в его натуре. Игорь не понимал товарищей, мечтающих о самостоятельной работе, кругозор которых ограничивался школой, куда они должны были прийти после института, но с дружелюбной улыбкой выслушивал их горячие споры о будущем, сам изредка вставляя словечко. Его раздражала их фамильярность, раздражали примитивные, как ему казалось, отношения, но он охотно откликался на предложение собраться на вечеринку и был там первым заводилой веселья. Он слыл активным комсомольцем-общественником и всемерно старался укреплять это мнение, лишь иногда, но верно и метко пуская свои шпильки в тех, кто чересчур ему досаждал...

Пединститут Студенцов избрал не по призванию. Но он, собственно, и сам не знал, где сможет найти широкое поле деятельности. Труд педагога нисколько не прельщал его: корпеть в деревенской школе, чтобы через много лет получить, наконец, признание,— Игорь слишком ценил себя для этого. Можно было при поддержке отца устроиться в аспирантуру, но это тоже мало привлекало его: путь до завидного положения молодого растущего учёного отпугивал Студенцова обилием кропотливой будничной работы, органически претившей ему. И если бы так получалось только с педагогическим институтом! Нет, стань он инженером, врачом — кем угодно, опять та же долгая кропотливая работа, и лишь за нею, наконец,— заветные вершины.

Игорь решил с институтом — всё равно. Он надеялся на какой-то неведомый случай, который позволит ему сразу выдвинуться на первый план. И этот случай пришёл. Когда он был уже на последнем курсе, ему предложили написать для газеты статью о научной студенческой конференции. Статья была написана, получила одобрение и быстро была напечатана.

С тех пор Студенцов рьяно взялся за перо. Он дал несколько рецензий, его хвалили за яркий стиль и отличное

знание театра. Театр Игорь действительно знал хорошо: ещё в детстве он бывал с отцом в Москве на спектаклях МХАТа, Большого и Малого театров, в своём городе он посещал с семьёй каждую премьеру. Приглашение пойти на постоянную работу в редакцию Студенцов воспринял как должное.

В отделе культуры и быта Игорь ведал искусством. Ему льстил почтительный тон, с которым обращались к нему директора и режиссёры театров, когда он появлялся на генеральных репетициях, внимание, с каким выслушивались его замечания. Театральных работников Студенцов, как ему казалось, видел насквозь. Все они были для него людьми, у которых малейшее слово поощрения вызывало поток благодарностей, а слово порицания — бурю негодования. Он снисходительно похлопывал по плечу старого актёра, стоявшего перед ним за кулисами и задумчиво крутившего пуговицу, и даже без нужды, а просто по привычке тонко намекал на то, что молодой дебютант старается оттереть старые кадры, хотя и немало у них пороха в пороховницах, а потом при случае мог поощрительно заметить тому же самому дебютанту:

— Растёте, растёте... Остерегайтесь только стариков — завидуют...

А где-нибудь в кабинете Михалыча Игорь с сарказмом высмеивал обоих актёров сразу. И в ответ на возражения он улыбался собеседнику, как неразумному ребёнку:

— Нельзя смотреть на мир так радужно... Многое ещё далеко не совершенно...

Каждый шаг сослуживцев Студенцов отмечал с ревностным вниманием. Неудачи их от души радовали его, но он умел скрыть это под маской сочувствия и доброжелательства, успехи огорчали его, но и тут приходилось сохранять маску, и лишь незаметно подливал он свою ложку дёгтя:

— Прекрасно, радостно и если бы не досадные мелочи...

Михалыча Студенцов признавал как факт, опровергнуть который был не в силах. Его возню с начинающими он мог бы считать безобидной, если бы нет-нет и среди общей безликой для Игоря массы не появлялся то один, то другой, который начинал понемногу выдвигать-

ся. И кто знал, не сумеет ли этот выдвигающийся когда-нибудь опередить Студенцова...

Таким на сей раз и показался ему Виктор.

Жизнь идёт дальше

Виктор осваивался с новой обстановкой. Длинный коридор перестал быть чужим, белые двери со стёклами наверху не казались больше одинаковыми,— ведь за каждой из них сидели люди с самыми разнообразными характерами — насмешливые, хладнокровные, скучноватые, вспыльчивые. А все вместе они составляли одно целое, приходившее к единому мнению, жившее едиными стремлениями. Это целое было редакционным коллективом, который постепенно узнавал Виктор. И лучше всего узнавал на так называемых «летучках».

В самом конце коридора, за большой приёмной помещался кабинет редактора газеты. Просторный, светлый, с паркетным полом, рядами стульев вдоль стен, мягкими коврами на полу, широким диваном, он напоминал новому человеку нечто среднее между библиотекой и музеем. Библиотекой — потому, что за зеркальными стёклами двух массивных шкафов виднелось множество книг — вишнёвые корешки сочинений Ленина и Большой Советской Энциклопедии, чёрные с золотыми буквами — энциклопедического словаря «Гранат», тома Маркса и Энгельса, Сталина, на тумбочке орехового дерева лежали газетные подшивки, отдельной стопкой приютились новые книги, выпущенные областным издательством. Сходство с музеем придавали кабинету некоторые неожиданные предметы, разложенные то тут, то там,— тщательно отшлифованный отрезок рельса, стеклянная банка под сургучом с желтоватой жидкостью и плававшей в ней тёмной массой, наконец, самый обыденный электрический утюг, который совсем странно выглядел здесь, в строгой служебной обстановке. Всё выяснялось при ближайшем рассмотрении: отрезок рельса, как гласила выгравированная на нём надпись, был подарком от металлургов в день двадцатипятилетия газеты, а утюг был образцом продукции завода электронагревательных приборов. И происхождение многих вещей в кабинете было таким же, даже под висевшей возле дивана картиной, изображав

шей таёжный пейзаж, стояла дарственная надпись известного художника.

Вот здесь два раза в неделю и происходили «летучки», своеобразные производственные совещания, на которых обсуждались свежие номера газеты. Незадолго до десяти часов утра в кабинет сходились все сотрудники, исключая лишь тех, кто был в командировках или отправился по срочному заданию.

Входил, чуть прихрамывая, коренастый, невысокого роста, редко улыбающийся и всегда сосредоточенный Осокин — заведующий отделом писем и секретарь партийного бюро редакции. Рядом с ним усаживались три женщины — сотрудницы его отдела. У этих четверых была очень хлопотливая и трудоёмкая работа: весь день к ним сплошным потоком шли посетители, нередко возбуждённые, нервные, даже плачущие. И с каждым разбирались эти четыре человека, выслушивая всех, успокаивая, давая справки, иногда разрешая вопрос тут же по телефону, иногда посылая письмо в соответствующие организации. Почтальон приносил им по нескольку раз на день объёмистые пачки писем. Отдел Осокина питал все отделы редакции, — оттуда поступали материалы для фельетонов Михалыча, темы для самых разнообразных злободневных статей...

Кабинет быстро заполнялся. Не спеша пересекал его и опускался в кресло возле самого редакторского стола Студенцов, переваливаясь, проходил в угол Михалыч.

С шумом двигая стулья, громко разговаривая, рассаживались сотрудники отдела сельского хозяйства, в общем очень различные люди, но все по-одинаковому несколько избалованные в редакции,— в газете области, славящейся сельским хозяйством по всей стране, им отводили в номере чуть не ежедневно по целой странице, или полосе, как она называлась журналистами, тогда как другие отделы делили между собой остальные две, — четвёртая полоса была занята обычно информацией ТАСС.

У каждого в кабинете было своё излюбленное место, один Виктор пока не имел его и всякий раз устраивался на новом.

Иногда появлялось неизвестное ещё Виктору лицо — один из десяти «собкоров», то есть собственных коррес-

пондентов, которые жили в районах и лишь изредка наезжали в редакцию.

С собкором по Чёмскому району Леонидом Ковалёвым Виктор познакомился ближе, потому что тот по приезде сразу завладел комнатой Михалыча, поставив в угол потёртый фибровый чемодан и выложив на стол груду исписанных блокнотов, и даже ночевал здесь, после чего в комнате некоторое время сохранялся терпкий запах смазных сапог. Лет на пять старше Виктора, широкоплечий, с вьющимися рыжеватыми волосами, с редкими оспинами на скуластом лице, Ковалёв был очень общителен, заразительно смеялся, обнажая ослепительно белые ровные зубы, и всё приглашал Виктора к себе в Чёмск, обещая устроить ему «шикарную охоту», хотя Виктор сразу сознался, что не охотился никогда в жизни. Две узких нашивки на гимнастёрке Ковалёва, перетянутой широким армейским ремнём, — золотая и красная — свидетельствовали о ранениях на фронте, но по его ладной, дышащей здоровьем фигуре это заметно не было...

Пока собирались на «летучку», редактор, близоруко щуря глаза, чуть воспалённые после долгих часов, проводимых при электрическом свете, перелистывал лежащую на столе подшивку и делал в ней пометки толстым красным карандашом. Украшенные резьбой часы отбивали десять глухих ударов, и редактор стучал карандашом по бронзовому стакану чернильного прибора, требуя тишины. Лишь только смолкал бой часов, в кабинет входил худощавый, с некрупными чертами лица, с гладко зачёсанными волосами мужчина средних лет — ответственный секретарь редакции. Походка его была нервной, торопливой, весь вид напоминал о необходимости ценить время. Секретарь подавал редактору пачку свежих телеграмм ТАСС и садился во второе, незанятое кресло возле его стола...

Ответственный секретарь был самой важной после редактора фигурой. К нему стекались все материалы из отделов, он планировал очередной номер газеты, распоряжался рассылкой сотрудников по срочным заданиям, одобрял и браковал фотографии, выписывал гонорар, распекал типографию, задержавшую набор, срочно вызывал из гаража машину, чтобы отвезти на аэродром вылетающего в дальний район корреспондента, и так далее, и так далее. Если уподобить редакцию армии, он нёс мно-

готрудную нагрузку начальника штаба, и со всеми большими и малыми делами успевал справляться одновременно, переключаясь с одного на другое так, словно они несмотря на очевидную разнохарактерность, вытекали друг из друга. Если по коридору неслись пронзительные трели электрического звонка, если быстро стучали туфли девушки-курьера, можно было без ошибки сказать, что этот переполох вызван ответственным секретарём. Днём Виктор всегда видел секретаря мрачным, озабоченным только газетой и ничем иным. Когда же нагрузка спадала и дела с очередным номером шли уже своим чередом независимо от редакции, он оказывался человеком с милой улыбкой, любившим послушать анекдот и перекинуться шутливым замечанием. Многоопытный Михалыч говорил, что таковы все газетные секретари на свете..

С приходом секретаря редактор предоставлял слово одному из сотрудников — очередному рецензенту. Рецензент разбирал до мельчайших деталей попавшие на его суд номера, оценивал статьи, подборки, корреспонденции с разных сторон — своевременно это, запоздало или ещё могло подождать, ярко или бледно воплощена важная тема в газетных строках, какую инициативу проявила редакция, что она упустила, что нужно сделать в самые ближайшие дни. В рецензиях бывало гораздо больше критики, чем похвал, и Виктору на первых порах это казалось странным, можно было подумать, что газета делается вообще никуда не годно, пока он не понял, что именно таким и должен быть разговор на «летучках», — достоинства были ясны и так, и не стоило тратить на них времени..:

Конечно, это было впечатлением вообще, а каждая рецензия в частности носила свой, отличный от других характер в зависимости от того, кто её делал.

Осокин говорил неторопливо, пристукивая кулаком по столу, цепляя факт за факт, точно доказывая сложную теорему. В его речи не было ярких фраз, слова были обыденны, как в домашней обстановке, но это не нагоняло скуки. Это выглядело разговором одного человека с другими, кровно в том же заинтересованными. Единственное, что несколько даже смешило Виктора и что он объяснял пристрастием Осокина к своему отделу, это обязательное в его рецензии упоминание о письмах, тех самых письмах, которые пачками приносили почтальоны в

редакцию по нескольку раз на день. Никто не отрицал, в том числе и Виктор, важности обильно сыпавшихся по одному и тому же адресу конвертов и открыток, исписанных то твёрдою рукою образованного человека, то непослушной рукою малограмотного, то просто детским почерком. От них подчас зависела не только судьба, но даже жизнь людей. И всё же не к чему было, по мнению Виктора, требовать внимания к каждой бумажке без исключения, если в почте попадались иногда письма самого забавного и бессмысленного содержания — вроде послания какой-то закоснелой «старой барыни», возражавшей против постройки новой школы возле её дома потому что детский крик будет нарушать её покой, или предложения некоего заядлого финансиста начать печатать в газете с продолжением полный курс бухгалтерии, потому что в области немало счётных работников, нуждающихся в повышении квалификации.

Манера говорить у Михалыча была совсем иной, чем у Осокина. Неожиданное начало, образные фразы, лёгкий намёк, от которого вспыхивал дружный хохот в комнате,— всё это делало его рецензию похожей на живой интересный рассказ, одним из действующих лиц которого являешься сам. У Михалыча тоже был свой конёк, другого сорта, чем у Осокина, — это газетный язык. Примеры о «лошадях, засеявших энное количество гектаров» (лошади всё-таки не сеют) или о «руководителях, не замечающих недостатков в работе руководимых ими предприятий» (вот «руководство» одолело!), вычитанные тут же из газеты и соответствующим образом прокомментированные, заставляли смеяться даже авторов этих выражений и избегать в дальнейшем словесных неурядиц, которые подстерегают пишущего человека на каждом шагу...

Рецензия, особенно, если она задевала больной вопрос, вызывала горячие суждения. И тут проявлялось единодушие разных по характеру людей, слитых в одно целое — коллектив. Кто-то был недоволен, кто-то спорил с рецензентом, кто-то опровергал спорщика, — порой казалось, что дело дойдёт до ссоры,— но в конце концов рождалось общее мнение, которое становилось для всех законом и высказывалось в заключительном слове редактором.

Сознание, что он теперь — равноправный член этого

коллектива, твёрдого, по-хорошему уверенного в себе, всё время держало Виктора в приподнятом настроении. Легко давалась работа, когда он знал, что делать, и знал, для чего это нужно. И эта радость усиливалась мыслью о человеке, который думал о Викторе, интересовался им и о котором уже ни на минуту не мог забыть сам Виктор, — о Вале...

Каким волнующим запомнился ему вечер, когда они были в театре. Валя, как они договорились по телефону, в назначенное время подошла к украшенному большими колоннами подъезду. В вестибюле, где волнами двигался воздух от невидимых вентиляторов, где пахло духами и скромными осенними цветами, — у многих были букеты, предназначенные, как легко было догадаться, знаменитому артисту, — Виктор помог Вале снять пальто, и пока раздумывал, как помочь ей снять резиновые ботики, она справилась с этим сама. В тёмносинем платье, с тоненькой ниточкой серебристых бус на шее, Валя казалась строже и потому ещё привлекательней. Шагая рядом с ней, Виктор подмечал внимательные взгляды встречных, и это заставляло его приосаниваться, как если бы взгляды относились к нему самому. До звонка они обменялись с Валей лишь несколькими словами, но Виктор не чувствовал неловкости, потому что всё пока было только началом, и что-то подсказывало ему, что сегодня он сможет говорить с девушкой от чистого сердца, а не так натянуто, как в прежние встречи.

Люстра медленно погасла. Раздался далёкий, но всё-таки чётко слышимый стук палочки о пюпитр — дирижёр предупреждал артистов оркестра: приготовьтесь! Прозвучали первые такты увертюры...

«Ничего», — неопределённо ответил он Вале, когда она в день знакомства спросила, любит ли он оперу. Это было неправдой: он часто слушал оперы по радио и, признаться, совсем не любил их. Он никак не мог избавиться от впечатления нарочитости, когда люди не говорили, а пели, обращаясь друг к другу.

Но сейчас знакомая увертюра к «Евгению Онегину» звучала по-иному. Виктор сразу понял, что радио скрадывает в музыке многие тонкие оттенки, делая её суше, отнимая у неё, если можно так сказать, многоцветность А здесь музыка властно подчинила сознание и чувства только себе.

Бесшумно пополз тяжёлый бархатный занавес, открывая декорации усадьбы Лариных. Виктор краешком глаза покосился на Валю: она сидела, чуть откинувшись назад, сжимая в руке программу. И снова опера отвлекла его внимание...

В антракте Виктор пригласил Валю в буфет.

— Идите лучше один, я посмотрю вот это, — сказала девушка, указывая на фотографии артистов, развешанные в фойе.

Всего несколько дней назад в городе открылись коммерческие магазины и буфеты «Особторга». Глаз, привыкший к скупому убранству витрин военного времени, поражался обилием пёстрых коробок, пачек, этикеток, разнообразием всего, от чего почти отвыкли.

Виктор спросил стоявшую к нему спиной крайнюю в очереди женщину с тёмными волосами, тугими локонами спускающимися по чёрному шёлковому платью:

— Вы последняя?

Женщина быстро обернулась, и взгляд Виктора встретился со смеющимися глазами Маргариты:

— И вы ещё будете утверждать, что не преследуете меня?

Виктор невольно поджал губы: Маргарита говорила громко, не стесняясь, что её могут услышать.

— Не сердитесь,— сказала Маргарита и вздохнула:— Беда с людьми, которые не понимают шуток...

Помедлив мгновение, она спросила:

— Вы один?

— Н-нет, — проговорил Виктор.

— И я не одна, но, как видите, стою, мучаюсь в очереди... Какие всё-таки бывают кавалеры: мой убежал за кулисы к Козловскому, а даму бросил на произвол судьбы. Вы не такой? — и, не дожидаясь ответа, Маргарита, как птица, перепорхнула на новую тему: — Как вам опера?

— Хорошо,— от души сказал Виктор.

— А мне... — Маргарита заговорщически притянула Виктора к себе. — Только шёпотом, а то меня растерзают,— она уморительно повела глазами на стоящих рядом. — Мне серьёзная музыка не нравится: вот убейте, предпочитаю эстраду...

Разговаривая с Маргаритой, Виктор время от времени

бросал взгляд в фойе, чтобы проверить, там ли ещё Валя. Маргарита, видимо, проследила это.

— Знаете, жаль, что мы на «Онегине», а не на «Фаусте», — заметила она вдруг.

— Почему? — удивился Виктор.

— Вы бы поняли, на кого похожи, когда смотрите на свою девушку. Сказать, на кого?.. — На Мефистофеля — молодого, но подающего надежды... «Мишку на Севере», грамм триста, — проговорила Маргарита: подошла её очередь.

И, схватив кулёк с конфетами, крикнула:

— Увидите меня в зале — помашите рукой! Я сижу в директорской ложе — справа, у самой сцены!

Виктор купил шоколадный набор, пачку печенья и, поколебавшись, попросил прибавить две плитки шоколада.

— Вы что, Виктор? — ахнула Валя, увидев его нагружённого всем этим, и нос её смешно сморщился: — Нам на две недели хватит. Идёмте в зал, а то все смотрят...

Сидя в кресле и грызя печенье, Виктор слушал Валю.

— Когда исполняют Чайковского, всё равно — оперу, симфонии, романсы, я как-то не могу представить, что всё это... не знаю, как сказать... ну, всё это богатство мелодий, всю эту красоту создал один человек. Так много, так разнообразно, и всё — гениально... Да возьмите хоть пятую... Вы любите пятую симфонию?

Виктор, конечно, слышал это произведение, но едва ли помнил что-нибудь. Не хотелось признаться в этом, но он не мог кривить душой перед Валей.

— Я плохо знаю её...

Нос Вали опять сморщился, но в голосе девушки не звучало ничего обидного для Виктора, а только сочувствие:

— Я почему-то так и думала... Когда я слушаю пятую симфонию, мне хочется сделать что-нибудь необычайное, очень хорошее, всё мелкое и грязное отлетает, а остаётся одно чистое и светлое...

Виктор вспомнил замечание Маргариты о серьёзной музыке и поглядел на ложу с правой стороны сцены: она была пока пуста.

— Я плохо знаю, Валя,— проговорил Виктор,— не только пятую симфонию, а вообще классическую музыку. Но я очень хочу её знать. Правда!..

Валя серьёзно посмотрела на Виктора:

— Хотите — я помогу! Давайте ходить на симфонические концерты. По понедельникам вечером — вы можете?

— Конечно, — вырвалось у Виктора.

— Ну вот, со следующего понедельника и начнём, — в голосе Вали появились учительские нотки.

Снова начала гаснуть люстра, и только в этот момент в директорскую ложу вошла Маргарита, а за нею знакомая фигура в сером костюме. Игорь Студенцов? Маргарита окинула взглядом зал, но Виктор, конечно, не махнул ей рукой...

Звуки оркестра, голоса артистов, яркие краски декораций, Валя, чуть откинувшаяся на спинку кресла, одной рукой сжимающая программу, а другой перебирающая крошечные бусы на шее, — всё слилось в этот вечер для Виктора в один волнующий поток впечатлений...

Из театра возвращались пешком. Хотя Валя жила далеко, ехать на трамвае она отказалась: ей хотелось пройтись. И это ещё больше обрадовало Виктора: значит, ей не было скучно с ним, она не стремилась расстаться с ним поскорее.

Хмурая по-осеннему ночь была тихой и дружески-безучастной к ним обоим. Шаги гулко отдавались на асфальтовой мостовой.

— Расскажите о себе, Виктор, — попросила Валя.

— О себе?

— Ну да, обо всём, ведь я вас так мало знаю...

Виктор знал, что такой разговор состоится, и готовился к нему, но не смог сразу начать его. Постепенно, однако, он нашёл тон и выложил без утайки душу, рассказал о своей, не такой уж богатой событиями жизни. Единственное, о чём он не говорил, — это о своём отношении к Вале.

Девушка слушала его молча и ни разу не улыбнулась, хотя Виктор, повествуя о жизни с Далецкими, шуткой старался сгладить самые острые углы. Когда он кончил, Валя тихо промолвила:

— Да, так бывает... Бывает, — повторила она и повернулась к Виктору: — А вы хороший, Витя...

Виктор вздрогнул: Валя впервые назвала его так.

— Скажу правду: вы мне не понравились сначала, — продолжала Валя. — Какой-то самоуверенный, хвастли-

вый... Но это же всё напускное. Не надо больше так, Витя,— вдруг просительно сказала она.— И очень хорошо, что вы признались о пятой симфонии...

Виктор, понимая, что этого не надо делать, всё же задал Вале вопрос, который не мог не задать:

— Что у вас... с Сергеем?

Валя мотнула головой, как бы стараясь избавиться от назойливой мухи:

— Мы поссорились с ним... очень поссорились, и так нехорошо. Не знаю, может быть, насовсем. И не знаю тоже, кто виноват — я или он. Наверное, вместе... Но больше не будем об этом, ладно?..

Длинный путь оказался неожиданно коротким. И вот они остановились возле подъезда многоэтажного дома. Валя стояла молча, молчал и Виктор. Он глядел на неё, и Валя глядела на него. Виктор почувствовал, что молчание катастрофически затягивается, что оно уже само по себе о чём-то говорит. Они стремительно мчались вперёд, эти секунды молчания, и наступил вдруг момент, когда Виктор непроизвольно и едва заметно, может быть, на сантиметр, придвинулся к Вале, и Валя не отодвинулась, но в следующую же секунду Виктор понял, что мгновение пролетело мимо, и дрогнувшим голосом сказал:

— До свидания...

— Счастливо, — спокойно ответила Валя и прибавила: — До понедельника...

День радости

Нередко люди, сами сознавая нелепость примет и предрассудков, столкнувшись с ними, в глубине души не то, что верят в них, но испытывают какую-то неловкость. Вполне здравомыслящий человек всё же досадует, когда навстречу ему идёт женщина с пустыми вёдрами, и, стыдясь самого себя, цыкает на кошку, стремящуюся перебежать ему дорогу, — причём кошка обычно всё-таки успевает перебежать.

Человек поживший мог бы на месте Виктора с некоторым суеверным страхом отнестись к тому, что всё на́чало слишком просто и легко ему даваться. Но Виктор, которому не было ещё полных двадцати лет, не задумы-

вался над такими проблемами. Наоборот, он быстро привык к этому и от каждого нового дня ждал большего, чем от предыдущего.

С этой точки зрения понедельник, числящийся наряду с пятницей тяжёлым днём, складывался для него очень удачно во всех отношениях. Прежде всего — дома...

О поступлении на работу в редакцию Виктор сообщил тёте Даше в субботу, когда истёк месячный срок его испытательного стажа. До этого он просто говорил, что пишет иногда заметки в газету.

В воскресенье к Николаю Касьяновичу собрались его бессменные гости, и Виктор по обычаю был приглашён тётей Дашей за стол. Но неписанная программа приёмов у Далецкого вдруг резко переменилась. Прежде всего Митрофанов, игнорируя Верочку, первым протянул рюмку к Виктору, и Верочка ничуть не была обижена этим. Обращение Митрофанова к Виктору взамен привычного «молодой человек» тоже стало новым:

— Виктор... простите, запамятовал, как по батюшке?

— Васильевич, — поспешно подсказал Николай Касьянович.

— Ваше здоровье... Виктор Васильевич!

Разговор за столом, хотя и остался старым по теме, но приобрёл ощутительный крен в одну сторону.

— Пора, наконец, одёрнуть этого Михайлова! Человек явно не на своём месте! — воскликнул Аркадий Леопольдович, доставая из кармана клетчатый платок и трубно сморкаясь, несмотря на нервное «Кашик!» жены.

— Продраить с песочком! — загремел Митрофанов. — У меня такие фактики насчёт бытового разложения...

— Осветить в печати... Действенная мера. Весьма! — подытожил Николай Касьянович.

— Скажите, у вас работает такой симпатичный, высокий — Студенцов? — прищурив длинные ресницы, всем телом повернулась к Виктору Верочка...

А тётя Даша, счастливо улыбаясь, обозревала всё происходящее.

Самое же главное ожидало Виктора после того, как гости, на редкость не надолго засидевшись, отправились восвояси. Николай Касьянович, подправив галстук и пошагав по комнате, остановился перед Виктором и откашлялся:

— Я... гм... То есть мы... Гм... Одним словом, поздравляя со вступлением на такой, гм... пост...

Красноречие, совершенно очевидно, изменяло Далецкому.

— Не вполне благополучные отношения в доме... — произнёс он и спохватился: — Я ни в коем случае не хочу обвинять в этом...

Он снова запнулся и добавил некстати:

— Весьма!

— Чего же вы хотите, Николай Касьянович? — не вытерпел Виктор.

— Стол, — ухватился Далецкий за спасительную мысль. — Здесь в углу можно поставить письменный стол. Удобная вещь, если нужно написать что-нибудь дома... Весьма...

Тётя Даша, оставшись с Виктором наедине, спросила с той же счастливой улыбкой:

— Помирились, Витенька?

— Я — что же? — пожал плечами Виктор. — Как он...

— Слава богу! — шумно вздохнула тётя Даша. — Людей хоть не будет стыдно...

Уже этот случай с Далецким, а также то, что сегодня ему опять предстояло встретиться с Валей, делало понедельник для Виктора счастливым днём.

— Гранки принесли? — деловито осведомился он у Михалыча, придя на работу.

Словарь Виктора за последнее время обогатился многими газетными терминами, и ему доставляло удовольствие щегольнуть ими при случае. «Гранками» назывались узкие бумажные полоски, на которых были оттиснуты свеженабранные заметки. Кроме того, Виктор умел уже оперировать словом «подвал», обозначавшим большую статью внизу страницы, или, строго соблюдая терминологию,— «полосы», словом «шапка», как назывался заголовок, объединявший несколько корреспонденций, знал, что «усики» — это отделяющие заметку от заметки линейки с кружком посередине, что шрифты в газете различаются по «кеглям», то есть по высоте, и в зависимости от этого именуются «боргес», «петит», «нонпарель» и так далее.

Было ещё специфическое слово «оперативность», проявить которую, как сообщил Михалыч, предстояло Виктору сегодня.

Об оперативности газеты, оперативности журналистов говорилось на каждой «летучке». Оперативность была непреложным правилом. Событие произошло сегодня, — завтра о нём должен знать читатель. Поздно вечером закончилось совещание, — журналисту надо успеть написать отчёт так быстро, чтобы нисколько не задержать выпуск газеты...

Часто слыша такие разговоры, Виктор стал относить их в первую очередь к себе. Действительно, перед кем, как не перед сотрудником отдела информации, открывался неограниченный простор для проявления оперативности? Всё остальное, о чём говорилось на «летучках», — глубина, проблемность, страстность материалов,— он начинал постепенно пропускать мимо ушей. Каких особенных качеств требовать от небольшой заметки, это же не передовая, не подвальная статья или фельетон! Зато оперативность...

— В двенадцать часов — городской слёт стахановцев, — сказал Михалыч. — Отправишься туда, как только кончится — бегом в редакцию. Отчёт пойдёт в номер...

Виктора не испугала такая срочность: у него уже был опыт. Как-то он, побывав на встрече очередного эшелона с демобилизованными, так быстро написал и сдал заметку об этом, что его похвалил даже строгий ответственный секретарь. Виктор прикинул: если слёт продлится даже до шести часов, у него останется три часа до симфонического концерта, который начинается в девять...

В зале, где происходил слёт, собрался весь цвет рабочего класса города. Виктор видел многих, знакомых ему по портретам, вывешенным на Доске почёта на центральной площади, — знатного каменщика, строившего со своей бригадой за несколько дней по пятиэтажному дому, — через руки его прошли миллионы кирпичей, машиниста, водившего составы весом в сотни тонн, чьё имя гремело по всей стране, известного рационализатора, предложения которого дали несколько миллионов рублей экономии. Виктор обратил внимание на то, что, узнавая каждого, он вспоминает какую-нибудь цифру. А в зале сидело несколько сот человек, и от перемножения этих нескольких сотен на все миллионы и тысячи тонн, километров, рублей, кирпичей, стоявшие за людьми, получалось астрономическое число. Виктор немедленно записал это: такая деталь могла украсить будущий отчёт.

Были на слёте и знакомые Виктора по заводу. В их числе он заметил Геннадия Никитина, того, что вместе с Сергеем Ивановым состоял в бригаде «ильинцев». После ухода с завода прежнего бригадира — Бахарева — Никитин встал на его место. Состав бригады сильно изменился, но славу свою она не утеряла, — переходящее знамя по городу оставалось за ней...

На этом слёте люди встретились, чтобы посоветоваться, а не покрасоваться собой, — это стало понятно сразу. Говорили они об одном — о полной перестройке всего производства, которой были сейчас заняты. Зная заводскую жизнь, Виктор ясно представлял, как им трудно нарушить сложившийся ритм и переключиться на совершенно новое. Но они справлялись — не без неудач и срывов,— но справлялись со сложной задачей, как можно быстрее решить которую требовали интересы мирного строительства. Виктор увлёкся бесхитростными рассказами.

Только перед третьим перерывом Виктор обратил внимание на время. Седьмой час, а предстояло ещё одно заседание. Летели прочь и оперативность, и концерт. Виктор хотел броситься к телефону, чтобы посоветоваться с Михалычем, как вдруг у него мелькнула удачная мысль. Президиуму, конечно, известно, кто будет ещё выступать. Если удастся найти этих людей в перерыве и расспросить их, не к чему оставаться дольше на слёте. Он ещё раз оценил свою находчивость, когда поговорил с членами президиума. Особо интересных выступлений больше не предполагалось, — а все и невозможно было упомянуть в отчёте, — кроме одного — выступления Никитина.

Геннадия Виктор разыскал в курительной комнате. В новом костюме, тот сильно разнился от грубоватого рослого парня в промасленном комбинезоне, каким его знал Виктор. Пиджак его, правда, несколько был узковат и местами топорщился, но это не портило общего впечатления. Густой чуб, обычно лезший на глаза, которым славился Никитин, был тщательно причёсан.

Виктор объяснил Геннадию, где он сейчас работает.

— О нас, значит, будешь писать? — спросил Никитин и одобрительно кивнул: — Вали...

Виктор спросил, написано ли у Никитина выступление.

— А как же! — достал из кармана Геннадий тетрад-

ку.— Три вечера просидел... И то бы не успел, хорошо, ребята помогли да Сашка Бахарев...

— Дай-ка я погляжу, а то на слух записывать опасно — можно перепутать, — попросил Виктор.

Полностью посвящать Никитина в свои секреты он считал излишним.

Распрощавшись с Геннадием, Виктор сразу отправился в редакцию. Он был доволен ещё больше: день сегодня, действительно, складывался на редкость удачно...

Валя пришла на симфонический концерт в том же тёмносинем платье и с серебристой ниточкой бус на шее. И словно вернулся вечер, когда они слушали «Онегина». Снова пели скрипки, звенела медь, глухо гудел барабан, снова Валя сидела рядом, чуть откинувшись на спинку кресла и перебирая одной рукой бусы... Виктору захотелось сделать что-нибудь, что ещё больше сблизило бы их.

— Валя, — шепнул он.

— Да? — откликнулась девушка, точно очнувшись ото сна.

— Давай, будем на «ты»...

— Ладно, — ответила Валя и чуть коснулась пальцами его руки: — Тише...

В антракте у Виктора среди общей радостной сумятицы закралась осторожная мысль: выступал ли Никитин? Конечно, выступал, но всё-таки проверить не мешало. Где же? Он вспомнил: Маргарита. Её, правда, он не видел на слёте, но кто-то из радиокомитета обязательно должен был быть.

Он позвонил в радиокомитет. На счастье, Маргарита оказалась на работе.

— Опять вы преследуете меня, молодой Мефистофель? — послышался в трубке её звонкий смех.

Выслушав Виктора, она сказала:

— Сама я не была, но постараюсь узнать... В порядке моего хорошего к вам отношения...

И через минуту снова взяла трубку:

— Товарища, который был на слёте, нет. Но знающие люди говорят, что, кажется, выступал.

Потом Маргарита спросила:

— Откуда вы звоните? Из какого шумного места?

Узнав, что с симфонического концерта, она воскликнула:

— О, да вы не на шутку увлеклись серьёзной музыкой! И всё с той же Маргаритой?

— С какой? — не понял Виктор.

— Не со мной, не бойтесь,— расхохоталась невидимая собеседница.— Я о той Маргарите из «Фауста», с которой вы были в опере...

— С нею,— не смог ответить ничего остроумнее Виктор.

— Плохо же она вас развлекает, если вы и там не забываете о работе,— заметила Маргарита и заключила:— Ауфвидерзеен...

И снова была тёмная безучастная ночь, деликатно не вмешивающаяся не в своё дело. Снова Валины туфли гулко стучали по асфальту, и в такт им ухали ботинки Виктора. «Ты», «тебя», «тебе» придавали разговору особый оттенок дружеской заинтересованности. Валя помнила абсолютно всё, что ей рассказывал Виктор в прошлый раз, и подробно обо всём расспрашивала. Виктор упомянул о мире, наступившем у него дома.

— Это хорошо,— сказала Валя, но потом задумалась: — А, может быть, ничего хорошего. Это ведь неискренно, а что может быть хорошего, если нет искренности?..

И снова долгий путь показался коротким. У Виктора заколотилось сердце при виде уже знакомого подъезда: он вспомнил то непойманное мгновение, ему хотелось, чтобы оно повторилось, но он и боялся его. Оно повторилось: они без слов глядели друг другу в глаза, время опять помчалось вперёд, Виктор молча взял Валины руки в свои. Валя послушно придвинулась к нему и...

— Не надо...— отшатнулась Валя.— Не надо...

— Вы мне нравитесь, Валя... Вы мне очень нравитесь,— бессвязно говорил Виктор, забыв о «ты».

— Я не знаю, я ничего не знаю, — отвечала Ва́ля. — Ты тоже хороший, но не надо...

Она ласково взяла Виктора за руку:

— Иди, а то поздно и далеко... Иди, я подумаю обо всём, и ты подумай... Я позвоню тебе завтра, хорошо?

...и самый тяжёлый день

С утра перед «летучкой» Виктор сидел в комнате Михалыча. Хозяин кабинета просматривал газету. У дверей на диване пускал табачные кольца Студенцов. Он был

сегодня рецензентом и держал подмышкой пачку свёрнутых в трубку газет.

— Всё-таки скучно и серо делается наша газета,— говорил Студенцов.— Нет ничего, что бы можно было отметить, а, Михалыч?

— Угу,— мычал Кузнецов, но в ту же минуту смысл сказанного доходил до него, и он с азартом вскидывал голову:— Почему нету? А это? А это?

— Мелочь,—упрямо вёл свою линию Студенцов.— И где хвалёная оперативность?

— А это? — спросил Кузнецов. Он кивнул на Виктора: — Хотя бы его отчёт — не оперативность?

Виктор почти не прислушивался к спору. Он размышлял: огорчаться или радоваться надо тому, что произошло вчера у них с Валей. Он склонен был всё-таки радоваться: как ласково пожала ему руку Валя на прощанье. Подумать? Что ж, подумать можно. Но не ему,—для него вопрос решён. А Вале надо,— они ведь долго дружили с Сергеем. Сергей... Как это ни странно, он был зол на Сергея за то, что тот поссорился с Валей, хотя именно из-за этого стали возможны его встречи с девушкой. И всё же он был зол,— ему было обидно, что Валей кто-то мог пренебречь. И опять он думал о вчерашнем разговоре: ты хороший, сказала Валя. А раз она так сказала... Впрочем, чего же гадать, всё ясно будет, когда она позвонит сегодня.

Словно в ответ телефон на столе зазвонил.

— Да,— снял трубку Михалыч.— Да... Так... Да... Что? Та-ак...

Лицо его стало мрачным. Он развернул газету:

— Кто?.. Так... Совсем?

Хотя нельзя было понять, о чём идёт речь, ясно было: случилось что-то неприятное. Студенцов отбросил папиросу, Виктор тоже во все глаза смотрел на Михалыча.

— Что ж, понимаю... Дадим... Придётся дать... Всего хорошего,— положил трубку Кузнецов. Он поднял очки на лоб и в упор поглядел на Виктора. Никогда ещё на лице Михалыча не было такого недоброго выражения.

— Т-ты с-слышал выступление Никитина? — самое странное, что Кузнецов в этот момент слегка заикался.

— Нет,— чуть выдохнул Виктор.

— Так что же ты написал? — загремел Михалыч.

— Он должен был, обязательно...

— Должен? В том-то и дело, что не выступил,— его

срочно вызвали на завод. Должен!.. Оперативность, чёрт тебя побери!

Кузнецов скрипнул зубами и вышел, так сильно хлопнув дверью, что задребезжали стёкла.

— Как же это у вас? — участливо спросил Студенцов Виктора.

— Он должен был, выступление было написано, я переписал...— сбивчиво пояснял Виктор.— Я торопился, чтобы быстрее дать в газету, а тут ещё концерт в девять часов — боялся опоздать...

— Н-да,— причмокнул Студенцов,— неудобно... Ну, не огорчайтесь,— ободряюще похлопал он Виктора по плечу,— ошибок не бывает лишь у того, кто вообще ничего не делает.

Как дороги были сейчас Виктору даже эти скупые слова сочувствия. На «летучку» он шёл, совершенно подавленный. Он слышал, как раньше критиковали здесь других, и ему становилось даже жаль их: так резко, не щадя ни возраста, ни пола, ругали людей за несколько шероховатых фраз или за перепутанную букву в фамилии. Но разве те мелкие грехи могли итти хоть в какое-нибудь сравнение с его ошибкой? Позор, позор Виктора, размноженный тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров! Вчера он множил миллионы кирпичей и тысячи тонн угля на число стахановцев,— это были благородные цифры. Сегодня он множит пятьдесят тысяч своих ошибок на число читателей, которые прочтут каждый экземпляр газеты,— это цифра его позора...

Когда поднялся Студенцов, Виктор желал только одного — чтобы всё окружающее, как дурной сон, быстрее отлетело прочь. Но ничто не исчезло, и Студенцов ровным голосом начал рецензию. Он говорил и о положительных явлениях, и о некоторых недостатках, его мнение было таким, что, несмотря на некоторые срывы, в целом редакция успешно справлялась со своими задачами, и если бы Виктор способен был думать о чём-нибудь другом, кроме своей ошибки, он заметил бы, наверное, что это мнение далеко не совпадает с тем, которое высказывалось Студенцовым несколько минут назад в кабинете Михалыча. Но Виктор не в состоянии был заметить это, он только с замиранием сердца следил за ходом рецензии: вот Студенцов разобрал статьи по вопросам партийной жизни, по сельскому хозяйству, по промышленности, по своему от-

делу, вот он перешёл к фотографиям — к тому, чем обычно заканчивались рецензии. И Виктор проникался всё большей симпатией к этому умному, немного разве непонятному ему человеку. Студенцов, видимо, вообще решил не упоминать об ошибке.

— Итак, всё,— резюмировал рецензент.— Всё, так сказать, в ряд входящее. А теперь — два слова об из ряда вон выходящем...

Собрание шевельнулось. Виктор едва не вскочил с места.

— В сегодняшнем номере мы имеем дело с фактом беспрецедентным, вопиющим, я бы сказал, не сравнимым ни с чем,— возвысил голос Студенцов.— В отчёте о городском слёте стахановцев сотрудник отдела информации Тихонов записал в число ораторов человека, вовсе не присутствовавшего на слёте, и не только записал, но и ухитрился изложить его выступление.

Виктор хотел крикнуть, что Никитин всё-таки был на слёте, но тут же спохватился, что это ничуть не меняет дела.

— Почему же поступил так этот начинающий сотрудник, взлелеянный, взращённый нашим всеми уважаемым Александром Михайловичем Кузнецовым? — спросил Студенцов так, что было неясно: укоряет ли он Виктора, который отплатил чёрной неблагодарностью своему учителю, или порицает Михалыча, пригревшего на своей груди такую змею.— А потому, видите ли, что он торопился на концерт,— подчёркнуто произнёс Студенцов слово «концерт»,— и не смог досидеть до конца слёта.

Ненависть клокотала в груди Виктора. Он вспомнил сцену, которую наблюдал однажды на улице: большой человек ласково подзывал к себе маленькую собачонку, а когда та доверчиво подбежала, схватил её грубой рукой и прижёг нос папиросой...

— Я не могу назвать всё это иначе, чем одним из рецидивов жёлтой прессы. И я не могу сказать ничего кроме: виновников этого мы должны вышвырнуть из своей среды...

«Всё,— пронеслось в голове у Виктора.— Вот и всё...»

В кабинете воцарилось тягостное молчание.

— Кто хочет выступать? — спросил редактор.

Угрюмо поднялся Михалыч. «Что ж, добивай»,— взглянул на него Виктор.

— В том, что случилось, виню прежде всего себя, — заговорил Михалыч.— И вас,— указал он на Студенцова. Тот развёл руками: вот уж с больной головы на здоровую.

— Да, и вас,— повторил Михалыч.— И всех здесь сидящих. Тихонов — что? Это — молодой работник, который очень многого ещё не знает. И ругать его... я уж сам выругал. И крепко! А вот объяснить ему, что и как, научить его — обязан весь коллектив... Этим, по-моему, вопрос и...— Кузнецов помолчал,—...исчерпывается.

— Доброе сердце! — произнёс вдруг редактор негромко, словно беседуя с самим собой, но странную реплику эту услышали все.

Редактор встал, изменяя своему правилу выступать последним.

— Я говорю — доброе сердце у нашего уважаемого Михалыча!.. Продолжу вашу мысль, товарищ Кузнецов. Виноват в первую очередь я,— сидел на слёте, слушал тридцать ораторов и не запомнил, что Никитина среди них не было. Виноваты и вы, Михалыч,— не разъяснили своему сотруднику, что нельзя работать такими методами. Ну, а коль скоро виновато всё начальство, Тихонова можно и простить... Так, что ли?..

Михалыч сердито крякнул:

— Не поняли вы меня...

— Я вполне вас понял,— резко оборвал его редактор, и Виктор, воспрянувший было духом после выступления Михалыча, опять безнадёжно поник.— Я сказал — «доброе сердце»,— строго прищурил редактор воспалённые глаза.— Но не всякая доброта идёт на пользу дела. В иных случаях она даже вредит. Сейчас — как раз такой случай.

Редактор обвёл всех взглядом, как бы советуясь:

— Что же, простим Тихонова? За то, что он подвёл газету, за то, что он нарушил один из основных принципов нашей печати — правдивость... Разложим его вину на коллектив — каждому по кусочку?..

И сам ответил:

— Ни за что! Такие вещи не прощают!

Низенький, плотный, начинающий лысеть со лба, редактор показался сейчас Виктору выше ростом.

Редактор прошёлся по кабинету, мимоходом отодвинув к стене выставленный кем-то в проход стул:

— Может ли быть совещание, подобное сегодняшнему, в редакции газеты Херста, Мак-Кормика, любой буржуазной газеты? Нет, и лишнее подробно объяснять вам, почему. Там — ложь и клевета это стиль повседневной работы. Наше оружие — правда. И это отлично знает советский читатель, но именно потому ошибка наша ещё заметней. Чем страшна она для нас? Тем, во-первых, что мы допустили брак в работе, тот самый брак, с которым так беспощадно борется газета. Тем, во-вторых, что такие случаи разжигают среди некоторых дурное мнение о наших журналистах, как о людях легковесных, этаких мотыльках, порхающих с цветка на цветок. Читатель видит ошибку, которая кажется ему в сто крат крупнее, потому что он привык верить своей газете...

Редактор опять обернулся к Михалычу:

— Права на ошибку не дано никому из нас! Тихонов получит административное взыскание... Очень строгое взыскание, — добавил он после секундной паузы.

Слушая редактора, Студенцов удовлетворённо кивал, как бы желая сказать: ну, вот, то же самое, о чём вёл разговор и я...

Но вдруг редактор остановился перед ним:

— Однако нельзя впадать и в другую крайность, как это сделал сегодня рецензент. Ведь что, в сущности, он предложил? Немедля изгнать Тихонова из редакции, поставить на нём крест... Дубьём и дрекольем тут не поможешь, товарищ Студенцов! Мы были бы слишком щедры и чересчур недальновидны, если бы так вот, с плеча разделывались с каждым, кто оступился, сбился с верного пути. Мы никогда бы тогда не сумели вырастить крепкие, не боящиеся трудностей кадры, которые, как сказал товарищ Сталин, решают всё...

Студенцов снова развёл руками, что на этот раз должно было означать: извините, погорячился. Редактор вернулся на место:

— Нисколько не снимая вины с Тихонова, все мы, а прежде всего коммунисты, должны упрекнуть себя за то, что мало думаем ещё о воспитании молодёжи,— здесь Михалыч прав. Ведь ошибка Тихонова — это, по существу, одно из проявлений пережитков старого. В погоне за одной только оперативностью Тихонов поступился всем остальным, что составляет основу работы советского журналиста. Мы же не предостерегли молодого нашего

товарища от халатности, безответственности, а в конечном итоге и безидейности, ибо безответственность рано или поздно рождает безидейность... Вот над чем надо серьёзно подумать...

Виктор со стыдом вспомнил свои рассуждения об оперативности. Горько приходится расплачиваться за поспешные выводы!..

Редактор откашлялся и уже спокойным тоном произнёс:

— Продолжим совещание...

В этот день в отделе было как в доме, где случилось несчастье. Хмурый Михалыч долго, много раз вычёркивая одни слова и заменяя их другими, писал своим угловатым, похожим на готический шрифт, почерком поправку, которая завтра должна была быть напечатана в газете. Обычный поток посетителей он встречал без привычного радушия, и гости, заметив это, ограничивались только делом и спешили уйти. Виновник происшествия — Виктор, сдавая Михалычу несколько информаций, предварительно проверил каждую фамилию, каждую цифру и, хотя его заверили, что странная фамилия «Далеко» так и пишется, на всякий случай вычеркнул её. «Пуганая ворона куста боится»,— гласит пословица. Виктор боялся теперь всего — лишней запятой, нечётко отпечатанной буквы.

У него — в этом стыдно было признаться даже самому себе — исчезла радость от предвкушения решающего разговора с Валей. Ему хотелось, чтобы она позвонила завтра, послезавтра, когда угодно, но не сегодня, когда мысли его были заняты другим. Но она не забыла...

— Витя? — услышал Виктор её голос, ничуть не искажённый телефоном, как будто она говорила из соседней комнаты.— Как дошёл вчера?

— Ничего,— ответил Виктор.

— Я не знаю, нам обязательно встречаться? Или можно по телефону?

— Хорошо, по телефону,— машинально согласился Виктор.

— Ну, и отлично,— Виктору показалось, что Валя обрадовалась. — Я вот о чём хотела сказать...

Валя заговорила с расстановкой, видимо, тщательно подбирая слова:

— Я думала обо всём всё время, не знаю, как ты...

— Я тоже, — поспешил вставить Виктор.

— Я сказала вчера, что ты мне нравишься,— это прав-

да... не вообще нравишься, а так... ну, понимаешь? Я не пойму,— с жалобой произнесла Валя,— может, я глупая, может быть, у других так не получается,— чтобы нравились два человека сразу. А у меня получилось... И ты, и Сергей — вы разные и нравитесь мне по-разному, но ведь всё равно нельзя, чтобы двое...

Валя помолчала.

— С Сергеем мы поссорились, я тебе говорила. Вот почему я столько думала. Как будто просто — поссорились, ну, и всё. А это не просто, Витя,— снова пожаловалась девушка.— У меня с ним столько связано, с Сергеем, и весёлого, и грустного тоже — этого не забудешь...

Валя опять замолчала.

— Я решила так: всё будет ясно потом. Когда мы узнаем друг друга лучше,— сходили два раза в театр — это ведь не знакомство. Когда нам не только о театре можно будет вспомнить, а о чём-нибудь большем. И когда выяснится у нас с Сергеем до конца. Ты понимаешь меня? Ну, скажи что-нибудь, — потребовала девушка.

— Понимаю, — через силу вымолвил Виктор.

— Знаешь, я не хотела тебе звонить сегодня. Набрала четыре цифры, а пятую — не могу. А потом решила: хуже нет, когда люди лгут в глаза друг другу, лучше пусть всё будет начистоту. Ведь лучше?

— Конечно,— как автомат, отвечал Виктор.

— Вот и хорошо, что ты тоже так думаешь... И ещё я о чём хотела тебя попросить,— это я не требую, а прошу, если не согласишься, я не настаиваю. Давай пока не будем встречаться друг с другом, недолго, чтобы ещё подумать, чтобы не чувства распоряжались нами, а мы чувствами..

— Как хочешь...

— Тогда... у меня всё.

Виктор, ещё чего-то ожидая, держал трубку. Он слышал по телефону дыхание Вали,— она тоже ждала.

— Ты не сердишься? — спросила, наконец, девушка.

— Нет, — ответил Виктор и опустил трубку на рычаг.

Каждый реагирует по-своему

Только теперь Виктор узнал, каким большим событием в жизни редакции являются несколько строк возле самой подписи редактора, озаглавленные «Поправка». Читатель,

заметив их, с укоризной покачает головою и забудет об этом, даже не подозревая, сколько переживаний, волнений, негодования таит за собой лаконичная заметка.

По-разному реагировали окружавшие Виктора люди на поправку, где говорилось, что по вине сотрудника редакции Тихонова в отчёте о городском слёте стахановцев допущена ошибка, и сообщалось, какая именно.

Ефрем Рубин вместо приветствия выложил перед Виктором целую коллекцию ляпсусов и ошибок, которые накопились в его памяти за годы корреспондентской деятельности. Здесь была история о том, как из-за небрежности машинистки в его заметке мужская фамилия была заменена женской и таким образом получилось, что спортсменка имя рек установила новый рекорд по штанге, забавный случай, когда одна из газет летом вышла датированной январём, повествование о роковом созвучии существительного «сев» с деепричастием от глагола «сидеть», в результате которого совершенно изменился смысл заголовка.

— Такая каждый раз трёпка нервов — проклянёшь день, когда решил стать журналистом,— заметил Рубин.

Он рассказал ещё, что в редакциях центральных газет существуют специальные бюро проверки, где подвергается всестороннему анализу даже самая крохотная заметка, и отправился к машинисткам с очередной порцией свежего спорта...

Михалыч, ни словом не напоминая больше о неприятной истории, сказал Виктору:

— Сегодня пока никуда не отправляйся, берись-ка за новое дело: пора привыкать. Выправь вот этот материал.

Виктор понял всё же, что это связано с его ошибкой: его решили приучать и к черновой работе журналиста.

Он прочитал письмо: речь шла о постройке новых школ, между прочим, одна из них строилась в уже известном ему колхозе «Красное знамя». Сами по себе факты представляли интерес, но изложены они были путанно, к тому же автор злоупотреблял словами «учёба» и «учебный». Править чужой материал оказалось не легче, чем писать самому. Когда Виктор писал сам, он мысленно намечал план будущей заметки, и всё логично вытекало одно из другого. Здесь же царил настоящий сумбур: автор перескакивал с мысли на мысль и снова возвращался к предыдущему. Ругнув его, Виктор взял чистый лист бумаги

и изложил содержание своими словами. Готовую заметку он принёс Михалычу.

— Ни в одни ворота,— сказал Кузнецов, сравнив письмо с произведением Виктора.

— Что — всё ещё неграмотно? — упавшим голосом спросил Виктор.

— Грамотно-то грамотно, да кто это писал — ты или автор? Ты вот любишь слово «нынче», понапихал его везде, а у автора его и нет. И фразу он строит совсем поиному, чем ты. Если б все мы так правили — газету читать нельзя было бы. Что бы получилось — весь номер написан одним языком. Сегодня — «номер Тихонова», завтра — «Кузнецова», удавишься с тоски. Возьмись-ка снова...

К середине дня, когда Виктор справился, наконец, с неподатливым письмом, в редакции появилась Маргарита. На лице её не было и следа всегдашней улыбки.

— Скажите, из-за чего случилась эта ошибка? — стремительно подошла она к Виктору.

— Чего же тут рассказывать? — криво усмехнулся Виктор «радиодевушке», которую после себя считал главным виновником своей беды.— Из-за вашего хорошего отношения...

— Ох и дам же я жизни товарищу, который и меня, и вас так подвёл,— сжала Маргарита кулачок.

Она хотела добавить ещё что-то, но Виктор отвернулся:

— Простите, я спешу...

В коридоре он чуть не столкнулся со Студенцовым, хотел проскочить мимо, но тот придержал его:

— Не спешите...

И посмотрел Виктору в лицо, слегка улыбаясь:

— Сердитесь на меня?

Виктор без слов пожал плечами.

— Вижу, что сердитесь. Но зря — критика такая вещь, обижаться на которую не следует.

Студенцов обнял Виктора:

— Зол на вас я вчера был — страшно. Ещё бы: в какое положение поставили газету! Ну, может быть, и перегнул...

Студенцов опять улыбнулся:

— Ничего, сегодня — я вас, завтра — вы меня, если будет за что, так в жизни складывается...

У Виктора отлегло от сердца.

— А слова своего вы не держите,— шутливо погрозил пальцем Студенцов.— С каких пор прошу вас написать что-нибудь по культуре, всё как о стенку горох...

Он помедлил и как бы кстати спросил:

— Это у вас была девушка... из радиокомитета?

— У меня...

— Дело?

— Да, небольшое,— уклончиво ответил Виктор.

— Ну, ну... Так не обижайтесь.

После этого Виктор решил, что обижаться действительно нечего. Если сам Виктор негодовал на Маргариту, которая подвела только его одного, то тем более Студенцов вправе был негодовать на Виктора, который подвёл всю газету. Что же до формы выражений, то чего не бывает в пылу справедливого возмущения. Предложение написать что-нибудь для отдела культуры опять приятно пощекотало самолюбие Виктора...

Последний разговор, касающийся ошибки, произошёл вечером, когда Виктора попросил зайти к себе Осокин. Виктор понял, что Осокин будет беседовать с ним не как заведующий отделом писем, а как секретарь партийного бюро, и, шагая в дальний конец коридора, гадал, каким окажется разговор, и не повторится ли то, что было на «летучке».

Осокин разбирал свежую почту и предложил Виктору немного подождать. Занятие его заключалось в том, что, пробежав письмо, он карандашом делал пометку о дальнейшей его судьбе — «в отдел», или «на расследование», или «ответить автору»,— окончательно эти визы утверждал редактор.

В кабинете Осокина, кроме стола и двух кресел, стоял шкаф, через стеклянные дверцы которого видны были длинные ящики, наполненные одинаковыми карточками. Над столом висела большая карта области; районы были выклеены разноцветной бумагой, что делало карту похожей на лоскутное одеяло. Тонким тёмным швом перерезала всю область линия железной дороги, в одном месте от неё отходил небольшой отросток, заканчиваясь возле точки с надписью «Чёмск». «Там Ковалёв,— вспомнил Виктор.— И где-то в этом районе колхоз «Красное знамя». На каждом районе висел бумажный кружок с цифрой; значение цифр разъясняла большая надпись вверху карты: «Почта редакции за месяц». Цифры были не одинако-

выми и, на что обратил внимание Виктор, не всегда пропорциональными величине районов: из самого северного и крупнейшего по площади писем поступало меньше всего.

Осокин положил последнее письмо в толстую папку и, встав из-за стола, отнёс её в соседнюю комнату. Вблизи его хромота стала ещё заметней. «Где это его? — подумал Виктор.— На фронте, наверное». Вернувшись, Осокин присел в кресло напротив Виктора и, не глядя на него, начал:

— Был я тогда батраком, кормили мы с сестрой мать и двоих братанов — одному пять лет стукнуло, другому — семь...

Начало удивило Виктора, ещё больше удивило продолжение. Осокин рассказывал о своей жизни, о том, как он пришёл в газету. Восемнадцатилетний батрак, всего два года посещавший школу, написал в редакцию о том, что в кооперации трудно купить гвозди. Заметку напечатали, и Осокин стал рядовым бойцом армии сельских корреспондентов, которая множилась не по дням, а по часам. Это была действительно армия, и она участвовала в самой настоящей войне, в чём Осокин убедился очень скоро. Пока дело ограничивалось заметками о пользе ликбеза и о перебоях в торговле, хозяин сквозь пальцы смотрел на занятия своего батрака. Когда же Осокин разоблачил самого хозяина, укрывавшего хлеб от государства, он оказался в окружении врагов. Мать горевала, что не у кого больше занять муки, сестра с плачем рассказывала об издевательствах хозяйских сыновей, братья возвращались с улицы с разбитыми носами. Самому Осокину не раз прозрачно намекали, что ему лучше уехать из деревни: добром не кончится. Но и это было только предвестием бури. Фронт открылся с началом коллективизации,— фронт с настоящими выстрелами...

— На всю жизнь оставили память,— хлопнул себя по колену Осокин.— Такое дело — классовая борьба...

Он не испугался её, войны не на жизнь, а на смерть. Рабфак, коммунистический институт журналистики и — новые годы борьбы, явных и скрытых угроз, временных поражений и побед. Печать помогала партии вести за собою народ. Строили крупнейший машиностроительный завод — многотиражка, которую редактировал Осокин, разжигала движение ударников, устраивала рейды «лёгкой кавалерии», выявляя лентяев, шкурников и просто

вредителей. Росли совхозы и колхозы — Осокин из конца в конец исколесил область в качестве специального корреспондента областной газеты, по крупицам собирая опыт лучших и попрежнему неутомимо борясь со всем, что, пакостя и вредя на каждом шагу, пыталось в бессильной ярости оттянуть момент своей гибели. Враги не сидели сложа руки, они отлично знали, каким опасным противником является для них всевидящий глаз журналиста-коммуниста. Осокина обвинили в клевете, был подстроен даже так называемый «осокинский процесс». Но жизнь закономерно обернула оружие врагов против них самих: не только был оправдан Осокин, — на скамью подсудимых сели его обвинители...

— Такая, брат, штука — классовая борьба,— повторил Осокин.— Это, конечно, история, но помнить её не мешает. Тем более, что разве сейчас легче? Разве придёт всё само собою, а ты его только возьмёшь, готовенькое? Не надейся... Враги,— их ещё много у нас. Они там — за рубежом. Они среди нас — замаскированные, оттого ещё более опасные. Они в нас самих — зазнайство, безответственность, равнодушие, расхлябанность, — пристукивал Осокин кулаком, как делал это, выступая на «летучках».— Борись с врагом прежде всего в себе — легче и лучше будет бороться с врагами внешними...

Виктор понял, что это относится к случаю с отчётом.

— Их быстрее заметишь, своих врагов, если будешь учиться видеть в глубину, а не по верхам.— Осокин показал рукой, как это — «по верхам».— Журналистика — не развлечение, а труд, такой же нелёгкий и напряжённый, как всякий, если не больше. Что случается потратить день, чтобы достать десять строк, — это ты знаешь. Но многого ещё не знаешь. Ночей бессонных, холода, слякоти, когда зуб на зуб не попадает, а тебе надо до места добраться, да с людьми поговорить, да материал написать, да потом не спать ложиться, а обратно отправляться надо, потому что твой материал ждут,— этого ты ещё не испытал. Обиды до слёз, обиды, когда клевещут, помои льют на тебя, хоть ты и прав,— не приходилось тебе терпеть. И того тоже, как при этом, чтобы правды добиться, все силы приходится напречь... Напрячь,— поправился он через мгновение.

Речь Осокина отличалась иногда даже чересчур точным литературным произношением, и вдруг в неё чуже-

родными телами врывались неверный оборот или неправильное ударение. Виктор часто наблюдал это у людей, которым мало пришлось учиться в детстве и которые навёрстывали образование уже взрослыми, сокращая время сна и отдыха...

— И всё-таки какой радостный труд! — сказал Осокин.— Когда видишь, как машет гигантскими шагами движение, которому ты помог развиться, когда люди благодарят тебя, что ты помог им избавиться от нечисти и накипи на их здоровом теле,— тогда это понимаешь... Когда смотришь, как читают твою статью в цехе на перерыве, в поле на стане, как наизусть заучивают куски и произносят их на собраниях — вот что пишет газета, вот чему она учит,— готов ещё, хоть всю жизнь, итти в холод, грязь, слякоть, в воду, в огонь!

Осокин нахмурил брови:

— Не верь тому, кто скажет, что наша работа скучная, что ремесло она, а не творчество. Это те говорят, кто жизнь не любит, кто ценит в ней одного себя. Они её, нашу работу, такой и делают. Сумей душу вложить в то, что пишешь, а не ледышку, не камень холодный, один раз обтёсанный и под все размеры подогнанный, как пробка такая — поверни, в любую дырку войдёт. Сумей за сухим фактом увидеть и читателю показать самое весёлое и радостное, что может быть на свете,— коммунизм...

Осокин взял со стола пачку писем, пролистал их, словно изучая, и вдруг оседлал своего излюбленного конька, но это уже не показалось Виктору смешным, это вытекало из всего сказанного прежде:

— Письма? Канцелярия, мол, входящие, исходящие... Так, что ли? Нет, люди, живые люди, вот они,— Осокин указал на шкаф с ящиками-картотеками.— Один ящик был, когда я сюда на работу пришёл, теперь шкафа не хватает, второй надо ставить — всё у завхоза не добьюсь,— а каждая карточка — человек, наш рабочий или сельский корреспондент. И у каждого глаза, уши, у каждого мозг и совесть советского гражданина — строителя коммунизма. Почему их столько стало? Потому, что верят в свою газету, всё больше привыкают выкладывать ей свои мысли и чувства. Они наши верные помощники или мы — их,— этого не разберёшь да и не надо разбирать. Друзья и сподвижники — вот кто мы и они, равноправные строители нового общества.

Осокин отвёл взгляд от шкафа.

— А о чём пишут — это тоже надо понимать. Как поп в рождественский мороз людей крестить повёл, как кулаки учительницу затравили — вот что раньше было. А теперь ребята-комсомольцы на председателя колхоза жалуются, скупится, мол, мало денег даёт на библиотеку. Это где библиотека — в селе сибирском! Где в избе тараканы тучей по стене ходили,— как живая шевелилась,— где телок детишкам в лицо мордой тыкался,— я так жил. Или пишут ещё старики, что эмтеэс трактора плохо ремонтирует, часто стоят они,— безобразие это, конечно, и меры приняты будут,— но и то надо вспомнить, как, давно ли, старики эти, трактор видя, в кусты прятались, крестились от страха — что за чудо такое? Да что там — вот простое дело...

Осокин указал на карту:

— Видишь вон тот район?

Это был район, который обратил внимание Виктора непропорциональностью площади и количества писем оттуда.

— Самое глухое место в нашей области — тайга, топь, есть деревни, куда два месяца в год и проехать только можно. А ведь пишут и оттуда, правда, маловато, но это уж наша вина, значит, слабо ещё работаем с авторами. И о чём пишут — о том же самом — там электростанцию, рассказывают, варганят, тут сельский клуб ругают, что часто на замке. А ведь я, не так и старый, помню, два десятка грамотных у них на весь район было...

Осокин встал:

— Зачем я тебя позвал? Ругать тебя — ты и так руганый. Стыдить — и без того тебе стыдно. Позвал, чтобы, как могу, дать понять тебе, что такое советская журналистика и что такое наш журналист. Чем быстрее поймёшь, тем меньше будет ошибок... Ну, скажешь чего-нибудь?

— Я понял,— ответил Виктор.— Я буду стараться...

— Ещё вот что,— спохватился Осокин.— Ты в типографии бывал?

— Нет.

— Обязательно побывай. И любопытно это, и в работе очень поможет.

Осокин вдруг спросил:

— Слушай, Тихонов, а почему ты не в комсомоле? Как это получилось?

Как это получилось? Работай Виктор на заводе в одном цехе с «ильинцами», он без сомнения вступил бы в комсомол,— Бахарев был деятельным комсоргом. А в цехе Виктора комсоргом был суматошный и постоянно занятый парень, который только и делал, что собирал сведения для бесчисленных отчётов и сводок. Своё избрание комсомольским вожаком он воспринимал, как назначение на какую-то административную должность, и даже сетовал, что ему не полагается отдельного кабинета:

— Негде принять человека...

Встретив однажды Виктора, комсорг хлопнул себя по лбу:

— А ведь ты не комсомолец? Чего же так? Давай-давай, от нас роста рядов требуют... Я тебе занесу анкетку...

Но так и не занёс,— забыл, очевидно,— и на том всё и кончилось. Впрочем, Виктор подал бы заявление и сам. Но чем дальше, тем больше думал он о том, что вступление в комсомол — не пустая формальность. Право на это надо заслужить. И вот его спросят — а с чем ты пришёл? И он ничего не сможет ответить...

Осокин в раздумье задал вопрос:

— Ну, а теперь?

Виктор ответил не сразу:

— Теперь... ещё хуже... после всего...

— Значит, считаешь, что пока не достоин? — уточнил Осокин.

— Пока... да...

— Что же, это дело такое, если сам чувствуешь... Но помни: под лежачий камень вода не течёт... Борись, завоёвывай право!

Осокин посмотрел на часы:

— Засиделись мы... Ужинаешь ты когда?

— Как придётся, — махнул рукой Виктор.

— Зря, привыкай к режиму. Без режима на газетной работе потерять здоровье — пара пустяков, а обратно его не воротишь... Не воро́тишь,— тотчас поправился он.

Труд

Каждое утро раскрывает читатель газету, и всё в ней строго, стройно, любая, даже наикрохотная заметка стоит на том месте, на котором, кажется, только ей и стоять.

И удивляется неискушённый: как же всё так точно пришлось? Но сведущий человек сразу обратит внимание, что кое-где строчки в газете стоят чуть подальше друг от друга, чем везде: их раздвинули, или «разбили на шпоны», как говорят в редакции, потому что текста было мало. А ревнивый автор может не только заметить, но и устроить скандал из-за того, что в его статье не хватает двух-трёх абзацев: их сократили, так как статья не входила на отведённое ей место. И главное, чего не знает читатель,— это строгого и беспощадного суда, которому подвергается каждый материал прежде, чем он попадёт на газетную полосу. Много сложных стадий проходит заметка с тех пор, когда она вышла из-под пера автора, и до тех пор, пока не окажется на пахнущей свежей типографской краской странице...

День в редакции, если не было «летучки», начинался с макетного совещания. В кабинет ответственного секретаря сходились все заведующие отделами. Виктору тоже случалось побывать здесь, заменяя Михалыча, когда тот отсутствовал в редакции.

На столе перед ответственным секретарём лежал «макет» — графический план будущего номера. Заштрихованные прямоугольники изображали фотографии, или, выражаясь по-редакционному, клише, размашистые карандашные стрелы определяли место статей и корреспонденций. Пока не было редактора, все говорили о посторонних вещах, ни словом не касаясь «макета», разве что изредка поглядывая на него. Показное равнодушие слетало со всех сразу, лишь в дверях появлялся редактор. Гром и молнии обрушивались на голову секретаря, который составил «макет», обычно не устраивавший никого. Отдел партийной жизни требовал не три колонки до подвала, а четыре полных, отдел культуры и быта обязательно стремился дать критико-библиографическую статью, подвал о бытовом обслуживании и подборку о художественной самодеятельности, тогда как в «макете» предполагалась одна только подборка, а товарищ из промышленного отдела примерял уже, войдёт ли его материал, если выбросить целиком материалы информационного отдела. Люди выходили из себя, потрясали гранками, каждый в эти минуты становился немного демагогом, отрицая актуальность и значимость чужих статей и старательно набивая цену своим.

Это не было стремлением отстоять собственные материалы только потому, что они собственные. Все статьи, корреспонденции — каждая по-своему — были важны: ведь за ними стояли куски богатой и разнообразной жизни. Но — «газета не резиновая», как часто шутили в редакции, всего, что написано и набрано, не вместишь в один номер. Надо было отобрать самое нужное, самое значительное...

Редактор слушал всех и как будто со всеми соглашался. Но вот он отвинчивал головку автоматической ручки, и в комнате наступала тишина. Привстав на цыпочки, вытянув шеи, все молчаливо следили, как поверх карандашных линий, сделанных ответственным секретарём, ложатся голубые чернила авторучки,— кто с выражением удовлетворения на лице, кто с миной огорчения, а кто просто с чувством полнейшей безнадёжности.

— Всё! — вставал редактор.

Но это было ещё далеко не всё. В полдень могли позвонить с телеграфа и сообщить, что принимают большой материал ТАСС, скажем, отчёт с Генеральной Ассамблеи. Тогда в муках рождённый утром «макет» летел вверх тормашками, редактор снова сходился с ответственным секретарём, и они вдвоём составляли ещё один план будущего номера,— уже третий за день...

0—29

Жизнь в редакции тем временем шла своим чередом. Кто срочно додиктовывал машинистке заметку, намеченную в номер, кто сверял гранки; в отделе иллюстрации художник-ретушёр отточенным, как бритва, хирургическим ланцетом высветлял одни места на фотографиях и тушью оттенял другие; тут же фоторепортёр, пристроившись в уголке, снимал знатного конюха, чей портрет должен был сопровождать в газете корреспонденцию об его опыте; закрывшись на замок и отгородившись таким образом от всего света, трудился в своём кабинете автор передовой и досадливо морщился, потому что из коридора доносился пронзительный голос стенографистки, кричавшей кому-то в телефон:

— Я слушаю, слушаю... Передавайте фамилию по буквам... Григорий, Анна, Иван краткий, Дмитрий, Ульяна, Константин... Гайдук?..

К концу дня, когда в основном были отправлены в набор все материалы и посланы в цинкографию отретушированные фотографии, к секретарю приходил выпускаю-

щий, на ответственности которого лежала вся техническая сторона производства газеты. Он был полномочным представителем редакции в типографии, связующим звеном между той и другой.

Выпускающий получал от ответственного секретаря «макеты» полос. В этих «макетах», в отличие от предварительных, точно уже были учтены размеры статей, тщательно выписаны заголовки. Выпускающий спускался в типографию. Начиналась вёрстка номера...

Эта сторона выпуска газеты до поры, до времени оставалась для Виктора неясной. Но как-то поздно вечером в комнатушку Михалыча, где сидел в это время и Виктор, заглянул редактор. Зашёл он без определённого дела: видимо, просто выдалась свободная минута. Редактор походил по комнате, мимоходом заткнул стеклянной пробкой графин, сорвал засохший листок с цветка. Есть такая категория людей, которая до того скрупулёзно любит порядок, что наводит его во всех мелочах даже машинально...

Редактор напомнил Михалычу, что пора уже сдавать план работы отдела на будущий месяц, и прибавил:

— Только поменьше там об ондатре... А то у вас, что ни план, всё — ондатра, ондатра, ондатра...

— Да понимаешь,— пробасил Михалыч: в неофициальной обстановке они были с редактором на «ты», — это ведь тоже штука важная.

— А кто спорит? — сказал редактор. — Но боюсь, как бы вам ондатра людей не загородила...

Он повернулся к Виктору:

— Ну, как ваши дела?.. Ясно... А скажите, Виктор, вы как-нибудь над собою работаете, учитесь?..

— Ленина и Сталина читает... О печати,— ответил за Виктора Михалыч.

— Вот это правильно, — заметил редактор. — Отсюда и следует начинать. А когда кончите эту книжку, подумайте о политической учёбе вообще. Сходите к Осокину, он поможет составить план учёбы... Ну, и о профессиональных знаниях не забывайте. Вы в типографии бывали? — задал он Виктору тот же вопрос, что и Осокин.

— Нет...

— Да как же! — укоризненно воскликнул редактор.— Михалыч!

— Понимаешь, как-то всё не собрался, — смущённо пробасил Кузнецов.

– Ишь ты — текучка его заела! Восполняй пробел. Вот прямо сейчас,— дел у вас особо срочных нет...

Михалыч стал надевать пиджак, сняв его со спинки стула.

— Идите, идите, — поторопил редактор, — подольше там погуляйте.

Он мимоходом расправил загнувшийся уголок одной из многих рукописей, лежавших на столе, и вышел.

Михалыч вёл Виктора, объясняя каждую мелочь, — он знал типографию, как будто сам работал здесь. А Виктор старался запомнить всё до деталей.

В цехе на металлических столах — «талерах» — лежали четыре прямоугольные рамы, — каждая являлась основой будущей газетной страницы. Рамы, пояснил Михалыч, не позволяли втиснуть на полосу ни единой строки сверх положенного. Вдоль стен, на других талерах, разделённых невысокими планками на узкие коридорчики, лежал запас — десятки статей, заметок, корреспонденций, набранных в предыдущие дни. Каждый коридорчик имел свой номер, чтобы легко было сразу найти нужный материал. Цех был уставлен кассами — ящиками с различными шрифтами...

Виктор и Михалыч подошли к выпускающему. Тот, сидя за столом, вписывал в макет цифры — номера коридорчиков, где стоял набор на талере. Выпускающий стал размечать заголовки — вписывать в макет, каким шрифтом набрать тот или иной заголовок.

— Серьёзное дело, — заметил Михалыч.

Виктор сперва не совсем понял его: так ли уж трудно подобрать шрифт для заголовка.

— Серьёзное дело,— повторил Михалыч.— Если хочешь знать, даже политическое...

И рассказал, что подбор шрифтов во многом влияет на общее впечатление от номера. Читатель этого и не сознаёт, а плохое полиграфическое оформление может оттолкнуть его от газеты. Однообразие делает полосу похожей на кусок дешёвой безвкусной материи. Игра шрифтами — всё равно, что игра красками на картине художника. Рядом с жирным шрифтом хорошо для контраста ставить светлый, наклонный сменять прямым. И самое главное: в погоне за внешним эффектом можно упустить из виду ценность материала. Броский заголовок над сравнительно ма-

лозиачащей заметкой отвлечёт внимание от важной статьи, заглавие которой набрано скромнее...

Далее Виктор и Михалыч отправились в линотипный цех. Здесь друг за другом стояли машины с клавиатурой, похожей на клавиатуру пишущей машинки. Наборщик легко касался клавиш, и тогда по стержню вверху линотипа бежали маленькие латунные пластинки, на каждой из которых было выдавлено изображение буквы или знака. Когда заполнялась строчка, раздавался звонок, и изогнутая металлическая рука, схватив пучок пластинок, тащила его вниз. Там в котле, подогреваемом электричеством, кипел особый сплав — «гарт». Нажим педали, толчок, — металлическая рука уходила на место, а из котла выскакивала и пристраивалась к себе подобным блестящая цельная строчка, ещё горячая — Виктор потрогал одну пальцем — на ощупь...

Пожилой линотипист с жёлтыми, прокуренными усами приветливо поздоровался с Кузнецовым и оглядел Виктора:

— Молодёжь обучаешь, Михалыч?.. Ну, ну, объясни парню, что вам без нас, как нам без вас... Типографщики тоже газету делают, не одна редакция...

Когда линотипист отошёл, Михалыч сказал:

— Это...— он назвал фамилию,— старейший работник нашей типографии. Он ещё... Помнишь, ты писал заметку о подпольной большевистской газете? Так он её и делал...

Виктор по-новому взглянул на старика: ведь это был герой! Тридцать с лишним лет назад, прячась от шпиков, он входил в подвал теперь уже покосившегося деревянного домика на окраине города и печатал на розовой тонкой бумаге маленькую газету, которая несла в народ большие слова правды, призыв к борьбе. А, казалось бы, такой обычный старик...

Они вернулись в цех, где версталась газета. Работа была в разгаре. Помощник выпускающего — метранпаж, набрав заголовок, размещал под ним материал, пристукивая иногда вылезшую наверх строку тыльной стороной шила, которое почти непрерывно находилось в его руках. Когда всё было готово, метранпаж смазал набор краской, положил сверху двойной лист бумаги и похлопал по нему большой щёткой. Бумага была влажной, чтобы краска лучше отпечатывалась. Оттиск отправлялся в кор-

ректорский цех. Здесь в комнате, где лампы под зелёными абажурами бросали на стены причудливые тени, стояло ровное приглушённое гудение: один корректор вполголоса отчётливо читал материал, другой проверял оттиск. Корректоры исправляли грамматические ошибки линотипистов, а подчас и редакции.

Иногда при вёрстке неумолимая рама не пускала несколько строк в полосу. Тогда оттиск шёл к секретарю или в отдел, сдавший материал, откуда он возвращался исчёрканным синим химическим карандашом.

Наконец, одна из полос была свёрстана, в неё вставили клише — цинковые пластинки, на которые были переведены фотографии. Начался следующий этап работы. Полосу, зажатую в раме винтами, откатили на тележке к большому прессу. Шрифт тщательно промыли керосином, протёрли тальком и сверху наложили лист очень прочного и гибкого картона. Включили электромотор, пресс натужно загудел, многотонной тяжестью притискивая картон к металлу. Когда лист вынули, на нём чётко было отпечатано всё до последней строчки. Теперь этот лист назывался матрицей...

— А сейчас вниз, в стереотипный,— сказал Михалыч.

В стереотипном цехе было жарко, хотя вентиляторы работали вовсю. Стереотипёры заложили матрицу в специальную печь...

— Александр Михалыч, так как же? — окликнула Кузнецова девушка, на одежде которой застыли капельки гарта.

— Это насчёт чего?

— Ну, о литературном кружке...

— Ох, ребятушки, и что вы на меня напали?— вздохнул Михалыч.— Какой я специалист? Обратились бы к Студенцову...

— А мы не пробовали? — отозвалась девушка.— Всё занят...

— Ладно, что с вами поделаешь,— согласился Михалыч.— Буду вести. Народу записалось много?

— Человек десять,— радостно сказала девушка,— а узнают, что вы будете вести,— полцеха запишется, честное слово...

Рабочие тем временем вынули матрицу обратно. Она потемнела от жара. Вместе с нею достали стереотип — металлическую копию полосы, изогнутую полукругом.

— Ну, когда печатать начнут, мы уж не дождёмся,— сказал Михалыч.— Хотя ротация, я слышу, работает. «Правду», наверное, пустили...

Московская «Правда» печаталась в типографии с матриц, доставлявшихся на самолёте.

— Зайдём и к печатникам, чтобы у тебя была полная ясность,— пригласил Михалыч Виктора.

Ротационная машина напоминала какой-то особый газетный комбайн,— да так оно, в сущности, и было. Широкая лента бумаги с большого рулона, перегибаясь по длине, уходила внутрь механизма. Печатник долго возился, включая и выключая мотор, и, наконец, пустил машину на полную мощность. Рулон, разматываясь, подавал бумагу, лопасти от быстрого движения становились невидимыми глазу, куча уже сложенных вчетверо газет росла быстрее и быстрее. Час, другой — и грузовики, которые ждут возле ворот экспедиции, повезут упакованные в плотную бумагу пачки газет во все концы города и к утренним поездам...

Виктор вышел из типографии, слегка оглушённый гулом машин, утомлённый обилием новых впечатлений. Только сейчас он вполне представил весь сложный процесс выпуска номера. Труд, напряжённый труд десятков и сотен людей, начиная с той минуты, когда перо корреспондента коснулось блокнота, и кончая той, когда почтальон опустил свежий номер в почтовый ящик читателя, сопровождал рождение газеты.

Личные отношения

Виктор решил, наконец, написать статью для отдела культуры и быта, о чём настойчиво просил его Студенцов. Тема казалась ему очень удачной: «университет культуры» в медицинском институте. Он открылся только в этом году, но о нём уже немало было разговоров по городу. Раз в неделю в институте выступали артисты, учёные, писатели, бывалые люди, исходившие и изъездившие тысячи километров и повидавшие много интересного. Инициатива заслуживала поддержки, и это было первой причиной выбора темы Виктором. А второй... Вторая причина заключалась в том, что Виктор был уверен: Валя имеет отношение к этому «университету». Таким обра-

зом, нашёлся веский повод встретиться с ней вопреки существующему между ними с того памятного вторника договору пока не встречаться вообще.

Виктор очень скоро перестал думать о Вале так, как думал сразу после телефонного разговора. Тогда, сразу, всё в нём кипело от негодования. Нашлись едкие слова, уничтожающие выражения; Виктор мысленно представлял, как Валя, слыша их, сгорает от сознания собственного ничтожества, и ругал себя, что эти слова не нашлись во время разговора,— всегда у него так получается. «Подумать ещё... Трудно забыть... Чтобы мы владели чувствами, а не они нами...» — какая хитроумная дипломатия вместо того, чтобы просто сказать: «Нет!» Виктор поклялся себе раз и навсегда вычеркнуть Валю из памяти.

Но, может быть, это и умели делать книжные герои, когда порывали с недостойной их любви, а у Виктора, как он ни старался, получалось наоборот. Валя не только не исчезала, а, перебирая серебристые бусинки на шее, всё чаще глядела на Виктора широко раскрытыми глазами и говорила: «Ты мне нравишься, не вообще, а так... ну, понимаешь?» И разговор их не казался больше замаскированным «Нет!», а становился тем, чем был на самом деле: «Подождём, надо во всём разобраться». Но ведь, чтобы разобраться, им надо было встретиться. Вот почему Виктор возлагал столько надежд на посещение института.

Он не ошибся насчёт Вали. Секретарь институтского комитета комсомола сразу сказал:

— Так этим у нас Остапенко заправляет...

И, приоткрыв дверь, попросил кого-то:

— Не в службу, а в дружбу, позови-ка сюда Валентину, быстро...

Валя встретила Виктора спокойно, только веки её чуть вздрогнули.

— Что же вас интересует? — спросила она, решив, видимо, при секретаре не показывать, что они знакомы с Виктором.

— Почему вы решили организовать «университет культуры?» — таким же официальным тоном задал первый вопрос Виктор, хотя хотелось ему спросить совсем другое.

— Потому, что комитет комсомола и все комсомольцы считают, что специалист не только должен глубоко

изучить свою профессию, но и быть всесторонне развитым... Любой специалист,— подчеркнула Валя, и нос её чуть заметно сморщился.

— Это ты верно говоришь, Валентина,— вставил секретарь. — А то на́ тебе — готовится человек стать врачом, а что такое симфония, толком разъяснить не умеет...

— С чего же вы начали? — быстро перебил его Виктор.

Так и шёл у них этот разговор: деловой вопрос, деловой ответ, иногда дополнение секретаря, иногда лёгкий, может быть, только кажущийся Виктору намёк в словах Вали. Вдруг секретаря вызвали. Валя и Виктор остались в комнате одни.

— Ты не сердишься? — не докончив того, что говорила, вполголоса спросила Валя.

— Нет, что ты, Валя,— сказал Виктор,— я понимаю. Только...

— Да?

— Мне скучно без тебя, Валя...

— Знаешь,— Валя ногтем отскребала пятнышко на чернильнице.— Я, кажется, ошиблась, что сказала, Витя, что нам не надо встречаться. Будем, я думала об этом, будем встречаться... иногда. А не надо пока говорить о том... ты сам понимаешь, о чём. Время покажет, мы сами поймём, что нужно... Нужно больше внимания со стороны комитета комсомола,— резко переменила тон Валя при виде входящего секретаря.— Например, насчёт помещения...

— Это верно, что верно, то верно, Валентина.— согласился тот.— Тут ещё надо поразмыслить...

Статья об «университете культуры» писалась удивительно легко. Виктор с удовольствием поставил в конце её: «В. Тихонов»,— до сих пор все его заметки шли в газете без подписи. Перепечатав статью, он понёс её Студенцову. Тот был в кабинете не один: напротив сидела Маргарита, а Игорь декламировал стихи. Он словно и не заметил вошедшего:

...Узкий парус, как вестник разлуки,
Распустился упругим крылом.
Я гляжу на любимые руки,
На волны прихотливый излом...

— Это его же стихи? — спросила девушка.

— Да, конечно,— чуть поморщился Игорь, досадуя, очевидно, что его прервали, и звучно продолжал:

...То не чаек белые крылья,
Не волны лебединый разбег.
Кто спросит меня — любил ли я?..
Горит белорозовый снег...

— Не понимаю,— решительно сказала Маргарита.

Студенцов развёл руками:

— Ну, Рита... Ведь это не строки, это музыка... Ведь здесь главное даже не в том, о чём написано,— как написано, вот в чём секрет... Ну, хорошо, тогда другое...

Он прикрыл глаза, припоминая:

— Ах, да:

Это осень ленты золотые
Заплетает в дальние леса.
Говорит теперь слова простые
Сгорбленный и опустевший сад...

— Когда это было написано? — ещё раз прервала Маргарита Студенцова.

— Не помню точно, кажется, где-то во время войны. В сорок третьем, что ли. Но слушайте...

...Окна дачи сиротливо стынут,
Накрест заколочены доской,—
Так глаза останутся пустыми,
Перечёркнутые навсегда тоской...

— Не понимаю,— вновь сказала девушка.

— И это? — воскликнул Игорь.— Вы шутите?..

— Я не шучу,— вдруг зло произнесла Маргарита, и Виктор, остававшийся до сих пор спокойным свидетелем беседы, шевельнулся на диване: кажется, впервые видел он Маргариту такой.— Я не по-ни-ма-ю...— раздельно сказала девушка, сделала паузу и неожиданно заговорила о том, что как будто не имело никакого отношения к предмету спора: — Наш городок, Чёмск, маленький, военных заводов, как вам известно, там нет. А фронту Чёмск всё-таки помогал. Да, помогал,— Маргарита взглянула на Студенцова, точно ожидая возражений.— Даже девчонки-школьницы. Пельмени стряпали для бойцов. Думаете, пустяки? Это, если бы одну-две сотни. А когда

десять-двадцать тысяч?.. И было это как раз тогда зимой сорок третьего... Я не по-ни-ма-ю, как можно было в те дни, когда старики в Чёмске кровавые мозоли на руках натирали — они валенки катали, когда даже девчонки работали чуть не до потери сознания, как можно было в такие дни сидеть и высасывать из пальца эти... «ленты золотые»...

Невольно повинуясь порыву Маргариты, Виктор и сам перенёсся на два года назад. Сорок третий... Зимой на завод пришёл срочный фронтовой заказ. Три дня многие даже не уходили домой. Спали прямо в цехе — на ящиках, просто на полу, расстелив куртки. Землистые, покрытые густой щетиной лица рабочих и сейчас Виктор видел так же ясно, как и лица Маргариты и Студенцова... Если бы в ту пору в цех явился бы вдруг поэт и стал читать это... Да нет, он не посмел бы прийти...

Студенцов закурил, пуская в потолок голубоватые кольца дыма — большое, поменьше, ещё поменьше. Ироническая улыбка тронула его губы:

— От кого-кого, Рита, но от вас... Ну, ладно, согласен, в то время такие стихи, быть может, и не совсем были уместны. Но теперь? Теперь — сорок пятый год, война кончилась. Посмотрите на это с точки зрения сегодняшнего дня... И потом... Ведь речь идёт о форме, только о ней одной. Почему вы хотите, чтобы любой рассказ, новелла, коротенькое стихотворение обязательно учили чему-то, в чём-то... э-э... помогали?..

— Здравствуйте! — хитро сощурилась Маргарита.— Если у вас есть под рукой подшивка, могу процитировать вашу собственную передовую статью...

— А, Рита! — отмахнулся Студенцов.— Впрочем... В общем и целом всё это несомненно верно. И, однако, для небольшого — вы верно заметили — для небольшого круга людей, которые разбираются в искусстве, в литературе гораздо основательнее, чем многие другие...

— Старая песня! — заметила Маргарита.— Её пели, знаете, ещё кто?..

— Уф,— тяжко вздохнул Студенцов.— С вами поспорить, Рита...

Девушка откликнулась в тон:

— Вас послушать, Игорь...

— Ладно, если вы меня и не убедили, то во всяком случае заговорили,— сдался Студенцов.— Что у вас? —

повернулся он, наконец, к Виктору и, услышав что, довольно равнодушно сказал: — Давайте посмотрим...

Пока Игорь читал, Виктор ни разу не посмотрел на Маргариту, хотя чувствовал на себе её пристальный взгляд. Ни капли снисхождения не заслужила у него девушка тем, что в споре со Студенцовым её точка зрения совпала с точкой зрения самого Виктора. В его представлении она всё-таки олицетворяла собой тех журналистов, которые, как сказал редактор, порхают с цветка на цветок, бездумно и безответственно.

— Так...— кончил читать Студенцов.— О стиле говорить не буду, стиль оставляет желать лучшего, однако это поправимо... Но тема...

Он причмокнул:

— Понимаете, мелко! Какой-то доморощенный «университет», вечера, встречи... Всё это, во-первых, надо посмотреть, проверить, не в халтуру ли это выливается, не в танцульки ли под джаз-оркестр. А, кроме того, это тема для информации, посвящать же целую статью...

— Но, по-моему...— заикнулся было Виктор.

— Верю, верю! — замахал руками Студенцов.— Автору всегда кажется, что то, о чём он пишет,— это значительно, замечательно, неподражаемо. Надо, однако, уметь взглянуть на вещи объективно... Потом вы тут упоминаете организаторов... Валентина Остапенко — вы её знаете?

— Знаю... Давно,— промолвил Виктор, и тут же ему пришлось пожалеть об этом.

— Ах, вот оно что! — вскричал Студенцов.— Я ведь, собственно, о чём спросил — отличница ли она, комсомолка ли — не можем же мы рекламировать неизвестного человека. Но раз вы лично знакомы, тогда всё ясно. Поддались, так сказать, личной симпатии — о каком же беспристрастии тут говорить?

— Вы всё-таки неправы, Игорь,— неожиданно вмешалась Маргарита.— Если мне знакома половина города, значит, я вообще должна бросить писать?

— Ну, что вы, Рита! — воскликнул Студенцов.— Пишите, ради бога. Но вы привыкли на всё смотреть со своей колокольни. У вас там в эфире как — в одно ухо вошло, в другое вылетело. А у нас газета — то, что живёт, если не веками, то годами во всяком случае.

Поддержка Маргариты не усилила симпатий Виктора

к девушке. Резкие слова Студенцова не породили антипатии к нему. Виктор учился терпимо относиться к критике. Действительно, взялся писать об «университете культуры» и даже не побывал ни на одном концерте или лекции. Конечно, сведения ему давала Валя, но нужно забыть о личных симпатиях, когда речь идёт о газете...

— Вот так,— сказал Студенцов.— Пока неудача, но не падайте духом. Статью написать — это не информацию испечь. Ищите, дерзайте...

Когда Виктор вышел, Маргарита последовала за ним:

— Мне вас надо на два слова.

— Простите, я спешу,— сказал Виктор и свернул в первую попавшуюся комнату.

— Вы очень спешите последнее время,— бросила ему в спину Маргарита.— Смотрите, не насмешите людей...

Резко ответив Маргарите, Виктор тут же пожалел об этом: в конце концов, прежде всего виноват в той позорной ошибке он сам. И, может быть, ей действительно надо что-то срочно сказать ему.

Маргарита

Маргарита вернулась на работу такая расстроенная, так зло швырнула сумку на стол, что диктор Олег — долговязый, нескладный, которого в отличие от пушкинского героя она звала «вещающим Олегом», басом запел на мотив «Баядеры»:

— О, Маргарита, что случилось с тобой? — и спросил: — Ты, случайно, рыбы несвежей не поела? От этого бывает...

— Знаешь,— задохнулась Маргарита.— Иди-ка ты подальше! А насчёт рыбы — голос у тебя рыбий...

— Но, но,— взволновался Олег.— Мой голос Москва знает: два раза уже приглашали во Всесоюзный радиокомитет на работу.

— Вот и езжай... пока трамваи ходят...

Маргарита рванула замок сумки, вынула блокнот и... забыла о нём.

Как ей захотелось сейчас в Чёмск, в милый Чёмск, где всё такое знакомое, где даже собак на тихих улицах знала наперечёт маленькая юркая Ритка-«черноглазик», как в детстве звали её все с лёгкой папкиной руки. Там

светлая речушка Чёмка, которую летом если курица вброд и не перейдёт, то уж заблудившийся жеребёнок перебежит свободно. Там бревенчатый мост над Чёмкой, а рядом избушка, где, не помнят, с каких пор, живёт сторож дедушка Игнат, который требует, чтобы его обязательно звали «директором моста». Там вся усаженная деревьями главная улица имени Красного Командира, названная так в память неизвестного командира красногвардейского отряда, погибшего при освобождении города в гражданскую войну. В начале улицы стоит памятник Красному Командиру — гранитная пирамида со звездой наверху, куда дети каждый год приносят первые подснежники, в конце — самое высокое в Чёмске трёхэтажное здание райисполкома, с его крыши далеко-далеко вокруг видны поля — белые зимой, чёрные весной, яркозелёные летом и золотисто-жёлтые осенью.

Там, в Чёмске — родной старенький папка, двадцатый год директор средней школы, и тоже старенькая мама, которую Рита помнила ещё совсем молодой и очень красивой. Как они звали её к себе этим летом, папка и мама, а она так и не выбралась к ним, свинтус взбалмошный, так и проторчала весь отпуск в театрах и на концертах. Нет, на будущий год к ним, только к ним, и прочь все дела, все заботы, всех этих Студенцовых, Викторов... Ах, Виктор, Виктор!

— Простите, я спешу! — скорчила она гримасу, и Олег с удивлением посмотрел на неё, но не рискнул ничего заметить.

Если бы он прочёл её мысли, долговязый «вещающий Олег»! Наверное, умер бы или потерял от изумления свой драгоценный голос, что для него одно и то же. Да, но разве она, Маргарита, не изумилась бы сама, если бы ей, хоть несколько месяцев назад, сказал кто-нибудь, что она будет так рвать и метать и из-за чего — из-за грубости какого-то мальчишки? Ну их, все они одним миром мазаны, хотя бы тот же Студенцов. Ходит, увивается, в директорскую ложу проводит в театре, а на «Онегине» не вытерпел, улетел всё-таки за кулисы. Не постеснялся даже сказать:

— Неудобно, народный артист...

— А я ваша знакомая,— заметила Маргарита.

Не понял или не захотел понять намёка — улетел...

А Виктор купил своей белобрысой целый воз всякого

добра: Маргарита подсмотрела из-за колонны. Тоже мне модница его знакомая — надела к синему платью светлые туфли. А как он разговорился с ней в зале, машет руками, крошками от печенья обсыпался,— Маргарите всё было видно из-за портьеры: не хотела заходить в ложу раньше звонка, чтобы не подумал — вот, мол, покинутая. Интересно, о чём они говорили? О любви? «Я вас люблю, чего же боле...» Нет, так о любви не говорят. А как говорят? Ей никто не говорил о любви. Она всегда считала, что это всё придумано — любовь, переживания. Она никому не давала сказать о любви. А многие хотели. Не выйдет,— если Маргарита не захочет, не скажешь, язычка её побоишься...

Язык, язык, до чего ты доводишь! Заболталась тогда по телефону и даже не догадалась спросить Витьку, зачем ему нужно знать, выступал ли на слёте Никитин. Но он тоже хорош: сказал бы толком, в чём дело,— она из-под земли выцарапала бы правду. А то этот, из редакции последних известий, зачесал в затылке: «Кажется выступал Никитин», — она и ляпнула. А мальчишка попал в историю. Вот влетело бедняге, наверное. Разве она не понимает, что такое ошибка в газете? Это же — лучше под поезд или терпеть, как Олег в любви объясняется. Тоже пытался между прочим. Узнал, почём фунт лиха.

Но Витька — каков! — не стал даже слушать её оправданий. Высказался:

— Из-за вашего хорошего отношения...

Тоже мне — Салтыков-Щедрин, новейшее издание! Белобрысой своей не сказал бы так. Откуда она, любопытно? Неужели та, из медицинского института? Вон как Витька покраснел, когда Игорь спросил, знает он её или нет.

Надо будет сходить в мединститут как будто по делу. Прийти и за нос курносый её дёрнуть:

— Из-за тебя наврал, к тебе на концерт торопился,— мне Студенцов всё рассказал...

А она спросит:

— Вам-то какое, собственно, дело? Что вы в наши с Витенькой дела вмешиваетесь?

Повернётся и спину покажет, как Витька сегодня. И пойдёт,— синее платье, светлые туфли,— кто тебя только одеваться учил? И ничего не скажешь, и отбрить

не сможешь,— правильно, у них свои дела, у Маргариты — свои.

Да, и свои! Хотя бы со Студенцовым. А что — красивый парень, умница, за себя постоять умеет, хлопать во всяком случае глазами не будет, как Витька сегодня, когда его Игорь прижал. Но... за что его так Игорь, спрашивается? Накинулся на человека: мелко, не тема для статьи. Как это не тема, если сам сколько раз говорил, что надо о таких вещах писать? Да ещё — «личная симпатия», — тебе-то какое дело, кого я знаю? Совсем затюкал бедного парня — сидит, глазами моргает. А интересно он моргает — ресницы длинные, как на рукавичках меховая опушка. А волосы мягкие у него, наверно,— любопытно пальцем бы тронуть...

Ох, Маргарита! Да ты не влюбилась ли? Помнишь, как в Свердловске, в университете, над Лизой до слёз хохотала? Не над той Лизой, что тоже с журналистского факультета, а над той, которая с геофака, над толстой Лизкой. Помнишь, как прибежала она в общежитие, дрожит, чуть не плачет, толстуха такая.

— Что с тобой?

— Я... Я влюбилась, девочки...

Ну, нет! Не такая Маргарита. Долой всё это...

— Олежек! — умильно промолвила Маргарита.— Я слышала, пластинки новые привезли?

— Угу,— ответил Олег, ещё не веря в перемену её настроения.

— Олежек-орешек! Пойдём, покрутим,— умираю без лёгкой музыки.

— Давно бы так! — обрадовался Олег.— А то — рыбий голос! Да у рыб и голоса-то нет — они ж немые.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Новый фронт

Кончалось лето тысяча девятьсот сорок шестого года...

Как радостно начался этот год! Он полностью вернул то, что называлось коротко, а было бесконечно огромным и всеобъемлющим — мирные времена. Не в мечтах и предположениях,— во всём, что происходило на Украине и Дальнем Востоке, в Прибалтике и на Урале, в Сибири, в Москве, Ленинграде — всюду ощущалось это. Восстанавливались шахты Донбасса и Днепрогэс, и строителям нечего было бояться налёта фашистских бомбардировщиков. Не с танками и орудиями шли эшелоны на запад,— они везли уголь, цемент, станки, автомашины. Новые сводки зазвучали по радио — сводки о мирных победах, об атаках на бурные реки, преграждавшиеся плотинами, о взрывах скал на пути будущих железных дорог, о героизме и мужестве бойцов армии труда...

Девятого февраля все в редакции собрались у приёмника в комнате ответственного секретаря. Виктор крутил рукоятку, с досадой морщась, потому что в треск электрических разрядов незваными гостями врывались пры-

023—1

гающие звуки джаза и лающая речь. Но вот раздался мощный гул аплодисментов и приветственных возгласов, от которого чуть задребезжала крышка на чернильнице и замигал зелёный глазок приёмника. И сразу гул стих, остановленный одним негромко произнесённым словом:

— Товарищи!

Говорил Сталин. И нельзя было ни кашлянуть, ни скрипнуть стулом, потому что в сталинской речи невозможно пропустить ни слова,—таким глубоким смыслом и содержанием наполнено каждое из них...

Как в дни войны Сталин намечал программу действий народа, так и сейчас он широкими мазками рисовал картину будущего...

— ...восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень в более или менее значительных размерах,— говорил Сталин.

И Михалыч прикладывал к уху ладонь, чтобы лучше было слышно, Осокин сосредоточенно морщил лоб, а Виктор трогал ручку регулятора громкости, хотя приёмник и так работал на полную мощность.

— ...в ближайшее время будет отменена карточная система,— сказал Сталин, и все сидящие переглянулись. В этих многозначительных взглядах можно было прочесть целый диалог:

— Видали?

— А как же!

— Уж если Сталин сказал,— так и будет...

Стремительным маршем шёл сорок шестой год. Минула весна — солнечная и приветливая, ласково пригревшая золотые зёрна, разбросанные в тучном чернозёме мирных полей. Отпраздновали День Победы,— опять вернулся на землю памятный майский вечер, с разноцветными огнями ракет, взлетающими над городом, с толпами на улицах, только ещё более многолюдными — сколько уже народу пришло из армии, — вернулся, чтобы сразу смениться будничными днями, озарёнными радостью созидания.

А затем пришло лето. Июнь... Июль... И словно замедлился темп времени. Счастливая улыбка всё чаще сменялась у людей тревогой на лице. На западе и юге страны держалась засуха. Жгло солнце поля Украины. Никли колосья на Поволжье. Мял спёкшийся в камень

комок земли кубанский хлебороб и, щурясь, глядел в безоблачное небо:

— Когда же?

А Сибири, как в насмешку, природа отпустила двойную, тройную порцию дождей. Не успевала земля просохнуть от предыдущего ливня, и снова в небе громоздились тяжёлые тучи.

Август...

Вполне стало ясно, какие трудности ждут впереди. И Виктор, слушая рассказы тех, кто побывал в эти дни за Уралом, читая газеты, мысленно называл происходящее:

— Новый фронт!

Да и все, пожалуй, тоже обращались к этим двум словам,— иных нельзя было найти. А Николай Касьянович впал вдруг в такую же растерянность, как в начале войны. Прослушав утром сводку погоды, он натягивал калоши и поджимал губы:

— Полнейшая неожиданность... Весьма...

Но, наконец, опять обрёл душевное спокойствие:

— В зависимости от обстоятельств...

— Обстоятельства складываются так, товарищи,— начал редактор, пригласив к себе Виктора и срочно вызванного из Чёмска Ковалёва,— что месяца на полтора вам придётся оторваться от непосредственного участия в газете. Вы назначаетесь...

В особо важных случаях редакции больших газет выделяли нескольких своих работников, которые выпускали на месте газету-листовку. Выездная редакция направлялась на крупную стройку, оказавшуюся в прорыве, на завод-гигант, срывающий план,— словом, туда, где в этот момент была особенно нужна помощь печати. Редактором выездной редакции на хлебозаготовках предстояло стать Ковалёву, его сотрудником — Виктору.

— Поговорим о ваших задачах,— сказал редактор.— Прежде всего мне хотелось бы, чтобы вы до самой глубины осознали трудность теперешней обстановки...

Да, Виктор называл происходящее новым фронтом. И всё-таки он понимал это односторонне — как борьбу со стихией, только. А речь шла о другом. Редактор го-

ворил, что надо разъяснить читателям главное: нам нечего рассчитывать на помощь извне. Была Отечественная война — тяжёлая, кровопролитная, разрушительная. Руками германских фашистов хотел ослабить и поработить страну социализма злейший враг человечества — империализм. Не вышло! И вот — новое испытание. И снова, как во́роны, выжидают империалисты нашей гибели. Не выйдет и это! Но, чтобы не вышло, нужно колоссальное напряжение сил...

Редактор на несколько секунд прикрыл глаза. Он, видимо, очень утомился: накануне до глубокой ночи длился пленум обкома партии.

— Теперь — конкретно о вашей работе,— произнёс редактор после непродолжительной паузы...

Беседа была длинной. И чем больше говорил редактор, чем больше называл он вопросов, которые надо иметь в виду, не упустить, тем сильнее проникало в сознание Виктора и чувство ответственности, и чувство неловкости. Он слабо разбирался в сельском хозяйстве, то есть, в сущности, не разбирался совсем,—ему лишь в детстве пришлось быть в деревне, а чтение книг и статей о колхозах практически, конечно, мало что могло дать. Также смущали его и особенности предстоящей работы,— там, в Чёмске, не будет ни Михалыча и никого другого, кто всегда мог, если понадобилось бы, поправить и подсказать, как действовать дальше. Один Ковалёв... И Виктор с надеждой глядел на ладного широкоплечего парня с буйными рыжеватыми вихрами, который без тени смущения слушал редактора и чётко, по-военному, отвечал:

— Есть... Понятно... Будет выполнено...

Ему-то, наверное, всё это не впервой.

Каково же было удивление Виктора, когда за дверями редакторского кабинета Ковалёв спросил:

— Ты, ясно, в выездных не бывал?

— Нет, а что?

— Ничего. Я — тоже...

Ковалёв почесал в затылке, а потом усмехнулся:

— Ну, ладно! Не были, так будем. Справимся...

И толкнул Виктора в бок:

— Я тебе говорю — справимся!

Уверенность в себе, понятно, похвальна. Но если оба они ещё ничего не знают... Очевидно, прочитав это на

лице Виктора, Ковалёв посмотрел на него широко раскрытыми глазами и задумчиво промолвил:

— А ты чудак! Коли ты журналист, так чего же боишься? У нас вся жизнь такая — новое да новое...

В дорогу

Весь день прошёл в хлопотах. Получали на складе бумагу, блокноты, карандаши, потом Ковалёв отправился покупать билеты и устраивать багаж, а Виктор — разыскивать сапоги. Он хотел сначала ехать в ботинках, но Леонид высмеял его:

— Это, друг, не прогулка на дачу. Без сапог утонешь — ты ещё Чёмской степи не знаешь.

Потом снова встретились в редакции, получали в бухгалтерии командировочные и квартирные, разыскивали в иллюстрационном отделе клише, а поздно вечером с боем втиснулись в плохо освещённый общий вагон, и не только втиснулись, но и заняли каждый по полке,— правда, узкой, багажной, но и там усталому человеку можно было отлично отдохнуть.

Устроившись, Виктор достал свежий номер газеты, который так и не успел ещё прочитать за весь этот суматошный день. Сразу же бросилась в глаза большая статья, посвящённая постановлению Центрального Комитета партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Статья была без подписи, редакционная, но Виктор знал, что автор её — Студенцов.

Постановление было опубликовано несколько дней назад, и тот номер расхватали без остатка. Разобрали даже запасные экземпляры в редакционной библиотеке, и всегда бережливая, можно сказать, скупая в этом отношении старушка-библиотекарь на сей раз только разводила руками. «Просят... Требуют...» Читая тогда постановление, Виктор словно видел изложенными на бумаге многие собственные мысли. Или, точнее, так: отрывочные, неясные мысли, появлявшиеся у него раньше, здесь были сведены в стройную систему — до предела убедительную, неопровержимую...

Виктор знал в жизни плохих людей, и очень плохих, но куда больше было вокруг добрых, хороших, душевных. А у Зощенко получалось наоборот,— ни единого светлого пятна не замечал он в мире. Но разве можно

было бы, хоть на мгновение, допустить, что Михалыч. Осокин, тот же Ковалёв, который лежит сейчас на соседней полке, стремятся лишь к тому, чтобы поскорее сплавить на тот свет беспокойного родственника, определить,— заложив динамитный патрон в полено,— кто в доме ворует дрова, «съездить», «свистнуть», «стукнуть по кумполу»... Становилось обидно, что кто-то мог так подумать о них.

Размышляя об этом, Виктор невольно припоминал давно прочитанную сказку Андерсена о том, как у злого волшебника упало на землю зеркало. Оно разбилось на мельчайшие кусочки, и с тех пор осколки носятся в воздухе. Кому попадёт в глаз такой осколок, перед тем всё предстаёт в искажённом виде... Впрочем, волшебник — волшебником, зеркало — зеркалом, а тут были не сказки и зеркало, но реальный писатель и реальные книжки И в душу закрадывалось сомнение: если такие книжки издаются, значит, в них есть доля истины...

И вот — постановление.

Правда, сознавая, насколько важен этот документ. Виктор не вполне понимал всё-таки, почему он опубликован именно в эти дни, когда страна борется за хлеб, за урожай. Вопрос об идейности литературы — очень крупный вопрос, но разве нельзя было заняться им, когда схлынет напряжение на полях?.. Однако с тех пор, как Виктор стал самостоятельно оценивать жизнь, он всегда помнил, что если партия вплотную занялась каким-то участком,— это один из самых важных участков. Если партия обратила сейчас внимание на литературу,— значит, даже в такое напряжённое время это было крайне необходимо. Почему — тут ещё Виктору предстояло разобраться...

Но что же пишет в статье Студенцов?.. Виктор повернулся на узкой полке так, чтобы свет из окна падал на газету. Первые абзацы он пропустил,— здесь уже не было ничего нового, кратко излагалось постановление. Дальше Игорь переходил к творчеству некоторых писателей. Зощенко... Ахматова... А вот и ещё одно имя...

«Насколько заумны такие, например, строки из стихотворения этого поэта:

«То не чаек белые крылья,
Не волны лебединый разбег.
Кто спросит меня — любил ли я?..
Горит белорозовый снег...»

Стихи были знакомы Виктору, он уже слышал их когда-то...

«Впрочем, может быть, это стихотворение нехарактерно для творчества поэта? Наугад берём из книжки другое:

«Окна дачи сиротливо стынут,
Накрест заколочены доской,—
Так глаза останутся пустыми...»

Конечно же! Те самые стихи, которые Игорь с жаром декламировал Маргарите.

«И эти отрешённые от мира сего строки написаны в суровом 1943 году — в те дни, когда советский народ горел единой мыслью о победе. Поэт словно хотел сказать своими стихами: «Воюйте себе, а мы переждём где-нибудь в «опустевшем саду», запорошённом «белорозовым снегом».

Какой острый слог у Игоря! Как гневно бичует он поэта, оторвавшегося от жизни! Тот самый Игорь, который...

Виктор отложил газету. Ему вдруг расхотелось читать статью,— расхотелось именно потому, что писал её Студенцов. Где же был настоящий Игорь — там, в кабинете, или тут, в статье? Что это — статья в сегодняшнем номере — самокритика, признание ошибок... или?.. Но можно ли так легко признаться в ошибке, сегодня страстно защищать одно, завтра с той же страстью отстаивать совершенно противоположное?.. Виктору пришёл на память незначительный эпизод. Ещё когда он работал на заводе, в их цех заглянул Смирнов — начальник соседнего цеха. Он уже миновал станок Виктора, потом вернулся. И, постояв немного, подал голос:

— А ты бы делал вот так...

Виктор сгоряча не разобрался даже, правильный ли ему дают совет. Его обидело, что человек из другого цеха вмешивается не в свои дела. Он продолжал работать, будто ничего не замечая. А Смирнов настойчиво повторил:

— Ты попробуй, у нас «ильинцы» всегда так делают — получается толково...

Смирнов ушёл, Виктор немного остыл и... убедился, что Смирнов прав. Но с тех пор он старательно избегал встреч со Смирновым: было стыдно признаваться в ошиб-

ке. И всё же пересилил себя как-то, сам пошёл навстречу Смирнову и сказал:

— Спасибо за совет! Правы-то вы...

Тот случай был, конечно, мелочью. Но тем более Виктор не мог понять Студенцова. Ведь Игорь поступался своими взглядами, легко, одним взмахом перечёркивал то, чем руководствовался, вероятно, не первый год. Или он совсем другой человек? Может быть, он умеет молниеносно осознать ошибку и так же молниеносно перейти на правильный путь?..

Виктор пожалел, что из-за отъезда не смог присутствовать на собрании в редакции, посвящённом постановлению Центрального Комитета. Было бы интереснее послушать Студенцова, чем читать его статью, было бы любопытно сравнить его сегодняшние рассуждения с теми, которые высказывал он в споре с Маргаритой...

Совсем стемнело. На потолке вагона замерцали тусклые, с чуть раскалёнными волосками лампочки. Виктор подложил под голову пачку бумаги и тотчас уснул. Но что он спал, это стало ему понятно позже, а пока он лежал на узкой полке, ему казалось, что он вовсе и не спит,— он всё время слышал негромкий говор пассажиров, ощущал запах махорочного дыма, поднимавшегося с нижних полок к потолку, чувствовал, как поезд замедляет ход и останавливается на станциях, в сознании чётко отпечатывались пронзительные женские голоса.

— Молочка топлёного кому?

— А ну, огурчиков, огурчиков солёненьких!..

И всё это мешалось, путалось, но не давало Виктору забыть, что он едет в Чёмск, что белые листы бумаги, лежащие сейчас под его головой, скоро должны стать небольшими газетами, размером в четверть обычной полосы, и что он, Виктор, представляет отныне одну вторую часть редакции этой газеты. Только возглас Ковалёва распутал вагонную сумятицу:

— Виктор! Улыбино проехали. Готовься — сходим.

Тело после сна в одежде ныло, в голове шумело, толстые пачки бумаги казались тяжелее...

Перрон вокзала на узловой станции блестел от сыпавшего с хмурого ночного неба затяжного дождя. Леонид выругался:

— Чёртова погодка! — указал на бумагу: — Размокнет — на киселе, что ли, будем печатать?

Решение он принял мгновенно:

— Возьмём пока по пачке, остальное — в камеру хранения, заберём после...

Затем они шли по тёмным улицам к другому вокзалу, откуда отправлялся поезд на Чёмск.

Пригородный поезд, или «ветка», как его называли по-местному, состоял из маленьких дачных вагончиков. Возглавлял их такой же маленький паровоз, похожий на неказистую, но работящую лошадёнку — на беговой приз она не претендует, в лихую кавалерию не стремится, а то, что может, делает исправно — по воду съездит и сена привезёт. Тихий перестук колёс и шум дождя за окнами снова потянули ко сну.

— Приедем — отправляйся в гостиницу спать,— зевнул Ковалёв.— К себе я не приглашаю — у меня такая комора, что одному повернуться негде. А в гостинице тепло, и кровати хорошие. Переспим — и за дело.

— С чего же начнём? — спросил Виктор.

Ковалёв опять, как и после разговора с редактором, пристально посмотрел на него:

— Чудак человек! С чего? Будем собирать материал от людей.

— Так где они — в деревне...

— Ну, на первый раз, может, и не так просто будет. По Чёмску станем искать — мало ли их приезжает, кто в райком, кто на элеватор. А потом, увидишь,—от писем отбоя не будет...

От станции до самого Чёмска предстояло итти через большой пустырь. Вот когда Виктор поблагодарил Ковалёва за совет взять сапоги,— твёрдый грунт возле железнодорожного полотна сменился вскоре вязкой и липкой массой, пудовыми гирями висшей на ногах.

— Привыкай к чёмской земле! — улыбнулся Ковалёв и пояснил: — Это солонцы. Итти ещё что! Вот на машине ехать — горе. Намотается такая пакость на колёса — с места не сдвинешься. Известное дело — Чёмская степь. Ну, ничего — терпеть недолго осталось...

— А что?

— Осушать её будут, Чёмскую степь. Построят осушительные каналы — вот-вот экскаваторы должны начать прибывать. Скинут все эти болота в Чёмку — такое заварится дело, ай да люли! Трава здесь, поверишь, меня

с головою скрывает — для скота благодать. А земли какие получат колхозы! Одно меня только смущает...

— Что это? — поинтересовался Виктор.

— Птицы, пожалуй, будет поменьше. Удует куда-нибудь на север, где ещё болота останутся. А птица здесь какая — что твой индюк... Охота — одно удовольствие... Вот тебе типичное мелкобуржуазное противоречие между личным и общественным, — впал в философский тон Леонид.

На более светлом фоне неба гребешком вылезли верхушки деревьев небольшой рощи.

— И вон противоречие,— указал туда Ковалёв.— Кладбище в этой роще. Забавная вещь...

— Это кладбище — забавная вещь? — удивился Виктор.

— Ага,— простодушно подтвердил его собеседник.— Старое купеческое кладбище. Памятники там стоят из мрамора — на века сделаны. А надписи какие!

Он с пафосом продекламировал:

— «Спи, успокойся, купец второй гильдии потомственный гражданин... Обдерихвостов... На веки вечные не забудут тя потомки и благодарные потребители («С коих ты драл семь шкур»,— заметил в скобках Ковалёв)... Разовьётся и расцветёт начатое тобой благородное дело...»

Леонид издал губами звук, похожий на звук вылетающей из бутылки пробки.

— Бац — и отправилось в трубу их святое дело. Совсем пошли другие дела. Вот,— он махнул рукой вперёд, где виднелись контуры строящегося здания.— Комбинат по выпуску масла и сухого молока. Такая механизация там будет — и во сне не увидишь. Маслокомбайны привезли туда — никогда не слыхал? Одним словом, в один конец сливки заливают, а из другого готовое масло выходит... И ещё много всякого — учительский институт, который здесь хотят открыть, да та же мелиорация, о чём я тебе говорил... Хочу я, Виктор, большой очерк об этом написать — «Вчера и сегодня» или «Сегодня и завтра». Интересно ведь, да всё руки не доходят...

В стороне от дороги показался силуэт необычной машины. «Подъёмный кран?» — подумал Виктор и лишь вблизи понял, что это экскаватор. Около машины неподвижно застыла фигура высокого человека в плаще.

— Ну вот, и наворожил! — воскликнул Ковалёв и крикнул: — Эй, товарищ, к нам прибыл?

Человек молчал.

— Не слышит, — сказал Леонид.— Пойдём, завтра разузнаем...

В маленькой уютной гостинице сразу забылись и непогода, и непролазная грязь. Заспанная дежурная сунула паспорт Виктора в несгораемый ящик и провела обоих в комнату. Здесь стоял крохотный столик и две застланные серыми одеялами с тёмной поперечной полоской койки. Одна предназначалась Виктору, другая, как объяснила дежурная, была занята, хотя сам постоялец отсутствовал. Комната, несмотря на скромность убранства, имела обжитый вид, и этот вид ей придавали вещи неизвестного соседа Виктора. Вообще, каждый человек, останавливаясь в гостинице, оставляет отпечаток, раскрывающий его намерения и иногда даже характер. Несмятая простыня, нетронутая подушка и только кашне на спинке кровати, свидетельствующее о том, что место занято, покажут, что жилец приехал недавно, что он спешил и сразу же отправился по делам. Какие-то вещи, обёрнутые в старую газету,— вернее всего, ношеное бельё, — забытый на столе черновик авансового отчёта и старая квитанция из билетной кассы, валяющаяся на полу, скажут, что обладатель их находится в командировке давно и уже собирается в обратный путь.

Вещи соседа Виктора выдавали в нём человека, ездившего на своём веку много и привыкшего в любом месте устраиваться, как дома. Компактный бритвенный прибор и дорожное зеркальце с подставкой, стеклянная банка с прикручивающейся металлической пробкой, в которой содержалась, судя по внешнему виду, соль, большая эмалированная кружка и видавший многое чайник, крышка которого была прикреплена к корпусу медной цепочкой, наконец, целлулоидовый цилиндрик, где лежали крохотные косточки домино,— всё это, конечно, было заведено не для оседлой жизни...

Виктор стал устраиваться на ночлег, Ковалёв поболтал ещё немного и уже собрался уходить, как в коридоре послышались тяжёлые шаги и дверь распахнулась. В комнату, чуть не стукнувшись головою о дверную притолоку, ввалился человек в сером плаще из толстой резины, на котором блестели капли воды.

— Добрый вечер,— приветствовал он Ковалёва и Виктора не вяжущимся с его рослой фигурой высоким голосом.— То есть доброго утра скоро можно будет сказать..

Он скинул плащ и, повесив его на гвоздь, заметил:

— Ну, разыгралась погодушка... А в Сухуми у нас сейчас рай, знали бы вы. Пальмы у моря, сядешь на берегу, пивка закажешь...

Он спохватился:

— Разрешите представиться — механик-экскаваторщик Кругляков...

— Э,— заинтересовался Ковалёв.— Это не ваша ли машина у дороги стоит?

— Моё хозяйство,— кивнул Кругляков, присаживаясь на койку. Тело его гнулось неподатливо, как ржавый складной метр.— А это не вы, разрешите поинтересоваться, давеча шли со станции, окликали меня?

— Мы,— сознался Леонид.

— Извините, не ответил вам тогда сгоряча. Сержусь я — сколько народу за ночь прошло мимо, каждый спросит: «К нам, что ли?», а почему мы с «Эком» — экскаватор я так называю — под дождём оказались, ни один не полюбопытствовал. На вас я, конечно, зря так — вы-то мне не поможете.

— А в чём дело? — насторожился Леонид.— Может, и придумаем что-нибудь...

— Какое там! Из МТС трактора шестой час жду. Застрял спаситель «Эк» — самого спасать надо. И не знаю уже, как резина моя не промокла, пока я под дождём торчал. Вот на минутку забежал обогреться да снова пойду...

— Понятно,— поиграл Ковалёв желваками.— Поможем вам, товарищ Кругляков, постараемся помочь.

Неподатливое тело механика вдруг стремительно взлетело с кровати:

— Вы — правду? Окажите нам с «Эком» такую милость...

Он говорил об экскаваторе, как об одушевлённом существе.

Ковалёв, выйдя в коридор, долго крутил ручку телефона, дул в трубку и, наконец, сердито промолвил:

— Станция? Заснула, что ли?.. МТС мне нужно... Да не контору, прямо квартиру директора...

Разговор был коротким, но выразительным.

— Согласен, что безобразие? — закончил Ковалёв.— Ну, ждём... Прости, что с постели поднял.

И, выслушав что-то, улыбнулся:

— Когда ездили?.. На займище? С Толоконниковым? Вон оно что... Ну, это ты заливаешь,— на займище шилохвости сроду не было... Так жду!

Он вернулся в комнату:

— Через час трактор будет...

— Вот выручили, не знаю, как благодарить,— растроганно говорил Кругляков.— А вы сами кто будете, не успел узнать?

Ковалёв объяснил, и Кругляков понимающе кивнул:

— Пишете, значит... Был тоже у нас в Одессе кочегар, стихи писал, что твой Сергей Есенин.

Он сдвинул брови, припоминая:

— Что-то вроде: «Ты запой, моя гармоника, душою пламенной запой...» Нет, у него складнее получалось...

— В Одессе? — не удержался от вопроса Виктор.

— В Одессе, в красавице-городе. Вся Молдаванка знала этого кочегара.

— Так вы откуда — из Сухуми или из Одессы?

— О, дорогие товарищи,— широко развёл руками Кругляков.— Мой дом родной — весь Советский Союз. От Владивостока до Мурманска, от Камчатки до Чёрного моря. Характер у меня такой беспокойный — не могу долго усидеть на одном месте. Езжу всю жизнь по белу свету. Кем я ни был только — сварщиком, кузнецом, слесарем, клепальщиком, плотником... Экскаваторщик — какая моя по счёту профессия, один господь бог ведает да отдел кадров. И как езжу, товарищи, тоже надо понимать. Прочитал в газете — на Севере начали строить, сунул трусики с майкой в чемодан, достал шубу и — на Север. Поработал там полгода, читаю — в Средней Азии закладывают медеплавильный комбинат,— шубу обратно, трусики на себя и — в Среднюю Азию...

— И туда тоже на полгода? — спросил Ковалёв.

— Зачем, не обязательно, — может, и весь год просижу. Пока в новые места душа не запросится.

Ковалёв пристально взглянул на механика и сказал:

— Так вы просто летун, товарищ Кругляков.

Виктор уже заметил за Леонидом эту особенность: послушать, послушать человека и без церемоний выложить в глаза своё мнение о нём.

— Летун? — задумчиво переспросил Кругляков и без всякой обиды покачал головой.— Нет, я не летун. Летун — это кто за длинными рублями гонится, кому на дело начхать. А я что же — разве так вот уеду, захотел — и всё? Я ребят обучу, дождусь, пока всё на лад не пойдёт, ну, а там и двинусь. Я почему езжу,— интересно мне начинать большие дела, пни корчевать, тайгу прорубать, а на готовенькое и без меня охотников много найдётся. Трудно, скажете,— лёгкой жизни только лодырь ищет. А для меня лучшего не надо...

Кругляков присел на койку, скрипнувшую пружинами.

— Из-за моего беспокойного характера нет у меня ни ордена, ни медали, хотя у друзей моих — по три-четыре их уже. Только вот что я сейчас думаю. Осяду-ка здесь, в Чёмской степи...

— Стареете? — спросил Ковалёв.

Кругляков взмахнул рукой, чуть не задев лампочку над головой:

— Какое — старею. Меня ещё на пять пятилеток хватит, — будьте уверены. Больно много строек началось, не разгонишься на все сразу,— вот в чём дело. Осяду тут, осушу ваши болота, тогда и орден получу. Ну, не орден — медаль хотя бы. «Зачем мне орден, я согласен на медаль»,— как у нас в Челябинске артист декламировал...

Кругляков вдруг взлетел и торопливо стал натягивать плащ:

— Трактор-то придёт, а меня нет!

Он обернулся к Ковалёву:

— Большое вам спасибо! И от меня, и от «Эка»...

«Выездная редакция здесь»

Утром Ковалёв зашёл разбудить Виктора. И тени беспокойной ночи не было на его недавно побритом лице. Спустились в подвал гостиницы, в чайную, позавтракали,— Леонид при этом всё подшучивал над официанткой и буфетчицей,— а потом отправились в редакцию районной газеты.

Только теперь Виктор по-настоящему разглядел Чёмск. Он, верно, очень хорош был в солнечную погоду

со своими низенькими домиками, почти утонувшими в зелени, с резными скворешнями на длинных шестах, с особой тишиной маленького городка, где нет большого уличного движения и где потому так отчётливо слышны все звуки — и туканье движка электростанции, и отдалённый петушиный крик, и лёгкий скрип повозки, гружённой металлическими бочками с горючим, на которых сидит парень в промасленной одежде, изредка пощёлкивая бичом по спинам лениво плетущихся быков. Он, город, был бы хорош и сейчас, если бы не липкая грязь, вновь заставившая Виктора добрым словом помянуть сапоги.

Ковалёв то и дело раскланивался со встречными, пожимал руки, приветливо махал кому-то на той стороне улицы. Он был своим в Чёмске — это чувствовалось,— хотя приехал сюда, как рассказывал Виктору, год с небольшим назад. Виктор не мог понять, отчего это так,— или от умения Леонида сходиться с людьми, или оттого, что город был невелик, или ещё от чего-то.

— Пустили кондитерский цех? — окликнул Ковалёв мужчину, входившего в дом с вывеской: «Райпищекомбинат».

— Во вторник, милости просим, на пробу,— отвечал тот.

— Чего же ты не заглядываешь, дед Игнат? — укоризненно говорил Леонид старику, тяжело опиравшемуся на палку, но не поленившемуся догнать его.— С пенсией утряслось?

— В порядке, всё в порядке, Леонид Мироныч! Вчера заходил к вам — так вы в отъезде, сказали...

— Жду плана лекций,— мимоходом замечал Ковалёв человеку с портфелем.

— Завтра утверждаем. Вам я, между прочим, тоже тему вписал, имейте в виду,— о путях перехода к коммунизму...

Виктор и Ковалёв приблизились к белому трёхэтажному зданию с флагом на крыше.

— Райисполком,— сказал Леонид.— Здесь и редакция...

В это время к подъезду райисполкома подкатила щегольская лакированная тележка. Сытый гнедой жеребец остановился с разлёта, затоптался на месте и пронзительно заржал.

— Балуй! — прикрикнул на него седок — немолодой мужчина с небольшими жёсткими усами, чуть одутловатый, но в общем выглядевший браво. Он выпрыгнул из брички, разминая ноги, и тут заметил Ковалёва: — Ба, вернулся!

— Знакомьтесь, вот тоже товарищ из редакции,— сказал Леонид.

— Толоконников, заведующий райземотделом,— назвал себя новоприбывший.

— Будем у вас выпускать новую газету,— сообщил Ковалёв.— Мы — выездная редакция.

— Похвально,— кивнул Толоконников.— Печать — острое оружие.

— Я слышал, ты тут без меня вылазку устроил с эмтеэсовцами? — вспомнил Ковалёв.

— Как же — было такое дело! — оживился Толоконников. — До самого займища добрались — жалели, что тебя нет.

— И шилохвости набили?

— Её — точно!

— Мудрёная штука,— покачал головой Леонид.— Откуда она на займище взялась — погодой её загнало, что ли? Ты откуда? — спросил он Толоконникова.

— По дальним сельсоветам проехал.

— И как?

— По совести — плохо. Дожди — просвету нет. Косить нельзя... Подтянул, конечно, но, сам понимаешь, и так люди стараются...

— Конкретно — где как? — спросил Ковалёв.

— Можно и конкретно,— Толоконников взял из брички кожаную сумку, лежавшую рядом с каким-то мешком. Он вынул из сумки листок: — Знакомься...

— Да, картинка такая, что радости мало,— протянул Ковалёв, возвращая листок хозяину.

— И не говори! А ты ещё нас обвиняешь, мол, мер не принимаем, не боремся с нарушителями дисциплины. Вот он, нарушитель,— Толоконников поднял сумку к небу, а затем швырнул её обратно в бричку. Сумка упала на мешок, и тот обнаружил вдруг признаки жизни, заворочавшись, захрюкав и разразившись, наконец, самым настоящим поросячьим визгом.

Ковалёв легонько улыбнулся:

— Это что — тоже подстрелил?

Толоконников чуть смутился:
— Жена просила, ну, ездил,— купил.
С лица Ковалёва не сходила улыбка:
— Купил? А, может, всё-таки подстрелил?
Толоконников поморщился:
— Конечно, купил! И вообще не понимаю — ты шутишь или всерьёз?
Улыбка на лице Ковалёва исчезла:
— Какие тут шутки! Почём платил?
— Почём, почём! Пятнадцать рублей — поросёнку и месяца нет.
— Цена сходная. Ещё одного нельзя за такую же цену?
Толоконников озадаченно посмотрел на Леонида:
— Я всё-таки не понимаю... Тебе или кому? Вещь, конечно, не совсем... Впрочем, если...
— Ладно, поговорим,— прервал его Ковалёв.— А насчёт нашей газеты не забывай. Ждём участия...
— Ясное дело! — бодро воскликнул Толоконников.— У меня и тема есть одна — о снабжении работников МТС... Хотя это уже не по вашей части — вы только о хлебозаготовках.
— Почему же! Одно за другое цепляется...
Отскребая сапоги о железку на крыльце, Ковалёв похлопал по шее жеребца:
— Хорош конь...
Толоконников, уже склонившийся к колесу и неизвестно зачем трогавший пальцем втулку, ничего не ответил...
Редактор районной газеты Малинин встретил Ковалёва и Виктора, как хозяин, который от радости не знает, куда и пригласить дорогих гостей, где им выбрать место получше.
— Выездная редакция? Слышал — вчера звонили из обкома,— говорил он, быстро почёсывая большим пальцем подбородок и морща лоб.— О том, что будете печататься в нашей типографии, тоже передали. Пожалуйста,— чем богаты, тем и рады. Можем даже поднять вопрос, чтобы день выпуска нашей газеты переменить, если вам понадобится...
— Зачем — у вас ведь привыкли уже.
— Какой разговор! — вскричал Малинин.— Вы — областная газета, чего мы, мелкая сошка, будем путаться.
— А стол нам выделите?

— Да любой! — обвёл Малинин рукою комнату, где, кроме редакторского, стояло ещё два стола.— Хоть мой — я только бумаги выну.

Он, и верно, начал сейчас же освобождать стол, но Леонид остановил его:

— Что мы — тебя совсем выселим? Вот этот берём,— указал Леонид на столик возле самой двери, затем взял чистый лист, другой свернул в трубку, обмакнул его в чернильницу и, подумав, написал крупными буквами: «Выездная редакция здесь». Самодельный плакат он пришпилил кнопками над столом.

И выездная редакция приступила к работе...

Виктор и Ковалёв, разделившись, отправились по городу. Где только не побывал в этот день Виктор,— на пункте «Заготзерно», куда всё время подходили машины и подводы с хлебом, где стоял неумолчный гомон, бегали девушки с похожими на гигантские шприцы металлическими щупами, с помощью которых брались пробы зерна, на нефтебазе, где всё пропиталось запахом бензина и керосина, а лужи с дождевой водой были подёрнуты радужной плёнкой, в Доме культуры, на базе «Сельхозснаба», в районо, на автобазе... Он разыскивал нужных людей, и хотя у тех были свои неотложные дела — один добивался, чтобы ему скорее выписали накладную, другой спешил получить запасные части, третья договаривалась о маршруте концертной бригады — почти каждый, узнав, что нужно Виктору, находил тему для заметки — о хорошем комбайнере, о шофёре-стахановце, о нерадивом колхознике — обо всём, что он считал необходимым рассказать району с газетной трибуны. Виктор устраивался с автором где-нибудь в сторонке,— иногда человек сам, хмуря брови и шевеля губами, писал заметку, а иногда Виктор после извиняющегося: «Вот только писать я не мастак» выслушивал обстоятельный рассказ и брался за перо помня при этом давнишнее наставление Михалыча и стараясь сохранить все особенности живой речи автора.

Виктор вернулся в редакцию с грудой исписанных листков. Ковалёв показал ему такую же груду и произнёс:

— Двинулись!

С этой минуты они двое представляли коллектив, создающий газету,— редактора, секретаря, корректоров, выпускающего. Только сугубая техника — набор и печать —

029—2

выполнялась другими. Вот когда пригодились Виктору посещения типографии, наблюдения за рождением газеты...

Ковалёв щёлкнул пальцами:

— А сюда — обязательно карикатуру...

Из редакции они привезли с собой несколько клише-карикатур. Темы их были тщательно продуманы заранее,— выбрали такие, какие могли встретиться вернее всего. Одно клише состояло из двух рисунков — на первом под заголовком: «На работу» был изображён лодырь-симулянт с перевязанной рукой и костылём подмышкой, на втором тот же лодырь бодро шагал по дороге, держа в руках корзину, из которой торчала длинная гусиная шея. Тут заголовок гласил: «На базар».

— Как по заказу,— заметил Ковалёв.— Слушай: «Колхозник Шептало, сказавшись больным, не вышел на работу, но в тот же день отправился в город на рынок». Эх, ещё бы подпись в стихах...

Стихи... Виктор вспомнил свои поэтические опыты.

— А ну,— сказал он,— я попробую.

Он всматривался в заметку и перебирал слова. «Шептало»... «Устало»... «Настало»... «Мало»... «Трудится мало»... Ага! «В поле Шептало трудится мало»... А дальше? Что делает Шептало? «День на базаре проводит с женой». Так... Теперь — заклеймить Шептало! «Шептало»... «Летало»... «Подвала»... «Шакала»... «Видать, у Шептала натура шакала!» Ну да, шакал — гнусное животное. И легко легла последняя строка: «Такого, как он, из колхоза долой!»

Виктор подал стихи Ковалёву.

— Быстро! — восхитился тот. Он прочёл стихи вслух и расхохотался: — Зло! Гляди, поучишься, из тебя новый Маяковский выйдет.

Малинин, наблюдавший за рождением газеты, поддакнул:

— Сатира!

Ковалёв перегнул лист пополам и протянул его Виктору:

— Возьми на память.

— Почему? — обиделся Виктор.

— Потому, что есть критика, и есть «крытика». Превращать критику в известное дышло — куда повернул, туда и вышло — нам с тобой не полагается. Ты не дуйся.

а подумай: кто такой этот Шептало? Может, и правда — гад. А вернее всего — наш, советский человек, запутался только немного. А ты его: «Шакал, долой!» Тяп-ляп, и спать пойдёшь спокойно, а человеку всю жизнь испортишь. И жену ещё приплёл, о ней в заметке и слова нет. Жена, может, первая его за это била — простое дело... Ясно?

— Ясно,— сказал Виктор, разрывая злополучные стихи.

Пришлось ограничиться подписью в прозе...

— Ну, Виктор, берись за макет,— сказал Леонид,— а я буду писать передовую. У меня, кстати, от Толоконникова свежие сведения есть... Слушай,— обернулся он к Малинину.— Я помню, будто у тебя был материал насчёт жеребца, на котором Толоконников ездит. Откуда этот жеребец в райзо? У них ведь раньше мерин был, замухрышка...

На лице Малинина отразилась скука:

— Да, была заметёнка. Я разбирался — дело выеденного яйца не стоит. Понимаешь, написали какие-то двое, что Толоконников самовольно забрал этого жеребца из их колхоза, что — до чего додумались! — якобы заведующий райсельхозотделом занимается чуть ли не грабежом среди бела дня. Я, конечно, не поверил, что я Толоконникова первый год знаю? Проверил — точно ерунда, жеребец этот из того колхоза — верно,— но не взял его Толоконников, а обменял на мерина, и не самовольно, а по согласованию с председателем колхоза. Ему, председателю, там виднее, кто больше нужен — мерин или жеребец. К тому же не для себя взял Толоконников коня, а для государственного учреждения...

— Гляди, редактор,— покачал головою Ковалёв,— не проморгал ли ты чего-нибудь в этой истории с сивым мерином. Коня не для себя, а порося из колхоза, я сегодня видел, он домой повёз...

— Поросёнка привёз? — с любопытством спросил Малинин.— Вот моду завели — то один, то другой. А район план по свинопоголовью не выполняет. Я хотел даже в газете намекнуть, так это, не сгущая красок, что, мол, отдельные товарищи позволяют себе и всё такое... Хорошо, что подумал прежде, а то настукали бы мне, грешному!

— За что же?

— За политическую ошибку. Поросёнок — что? Мелочь. А, представляешь, какой нехороший отзвук имела бы такая статья? Тот же Толоконников приедет в колхоз, станет на ошибки указывать, а ему газету в нос ткнут — сам-то ты хорошо? И — крышка авторитету ответственного руководителя. Заработать его нелегко, авторитет, а подорвать — плёвое дело.

— Это верно,— согласился Леонид.

— Конечно! — обрадованный поддержкой, воскликнул Малинин.— И в какой политически важный период подорвать,— когда хлебозаготовки фронтом называют...

— Эх, разговоры хороши, а дело не ждёт,— сказал Леонид и взялся за передовую.

И снова в дорогу

Ковалёв был прав, когда говорил, что нужно выпустить только первый номер, а там письма пойдут сами собой. Уже на третий день после того, как Леонид, для большей страховки прочитав новорождённую газету дважды, широко написал на ней: «В свет», почтальон принёс два конверта, адресованных на их имя. Затем появился первый посетитель, за ним — второй, потом трое сразу. Теперь уже нельзя стало путешествовать по Чёмскому обоим одновременно,— один должен был дежурить в редакции.

Когда Ковалёв и Виктор заканчивали вёрстку очередного номера, пришёл ещё один посетитель — ничем не примечательный, средних лет, в помятом дождевике, какие носила, наверное, половина района, с кнутом в руках

— Который тут редактор? — осведомился он, достал из кармана бумагу и, сдув с неё табачные крошки, протянул Ковалёву.— Вот — опровержение.

Виктор и Леонид быстро переглянулись, и одно и то же было в их глазах: как же это мы, едва начать успели!

— Давайте, разберёмся,— дрогнувшим голосом сказал Леонид.

Он стал читать:

— «Правление колхоза удостоверяет, что предъявитель сего, товарищ Шептало М. К., действительно нарушил трудовую дисциплину, без разрешения правления выехав двадцать четвёртого августа сего года на базар

в город Чёмск, за что справедливо был подвергнут критике в газете...»

Леонид шумно выдохнул воздух.

— «Товарищ Шептало М. К. на собрании бригады признал свою ошибку и обязался исправить её добросовестным трудом, что и выполнил, дав двадцать седьмого августа сего года сто семнадцать целых и пять десятых процента нормы, а двадцать восьмого августа сего года — сто тридцать две целых ноль десятых процента нормы. Правление просит сообщить об этом читателям, поскольку товарищ Шептало М. К. учёл свою ошибку и обязался впредь её не повторять».

— Что же, напечатаем, раз такое дело,— положил Ковалёв бумагу на стол.

— Вы уже примите меры, товарищи,— проговорил Шептало.— А то проходу нет по деревне. Смеются: похож, как вылитый, в газете, и гусь твой! Где же похож, если там с бородой, а я смолоду бреюсь?.. Жена, и та покою не даёт,— симулянтом обзывается...

— Прямо в следующем номере и напечатаем,— успокоил его Леонид.

И едва Шептало повернулся к ним спиной, Ковалёв показал Виктору язык.

Когда вышло три номера, Виктор счёл, что дело уже наладилось. Работа в выездной редакции оказалась не такой сложной. Ковалёв ходил в райком партии и райисполком, писал передовые, Виктор принимал посетителей и обрабатывал письма, потом они вместе верстали газету.

Но Ковалёв не разделял мнения Виктора. Однажды он сказал:

— Начало мы положили. Но на одном этом мы далеко не уедем. Самим надо выбираться к людям. И заниматься нам надо не только голой критикой, нужно учить на примере лучших. Я думаю так: поскольку штат у нас небольшой, поедешь ты один в колхоз «Красное знамя». Будешь оттуда писать и передавать мне по телефону. Понимаешь, что получится? Дадим мы для всего района курс лекций: как правильно вести хлебозаготовки. Колхоз этот на первом месте, и поучиться у него есть чему. Но имей в виду: не к чему стараться писать об одном положительном. Не бойся писать о плохом и как с этим плохим борются. Вот тогда у нас получится настоящая шко-

ла. А сейчас узнаем, как тебе до «Красного знамени» добраться...

После нескольких телефонных звонков, взаимных приветствий, расспросов, что да как, выяснилось, что в деревню Каменка, где находится колхоз «Красное знамя», вот-вот пойдёт машина из райпотребсоюза. Виктор наскоро собрал вещи и отправился туда.

Во дворе райпотребсоюза, действительно, стояла потрёпанная полуторатонка, в которую грузили какие-то ящики, свёртки, бочки.

Толстенький добродушный человек то и дело замечал грузчикам:

— Вы, ребята, так сказать, полегче,— ведь стекло... Краску, краску под брезент — не дай бог, дождём попортит...

Виктора он встретил приветливо:

— Корреспондент, значит, как говорится? Очень приятно... Вы в кабину садитесь.

Виктор подумал, что самому этому человеку тогда придётся ехать в кузове, и отказался.

— Садитесь, вдруг дождь, так сказать, в дороге...

Но Виктор отказался снова.

— Глядите, вам виднее. Если передумаете,— только постучите в кабину, я мигом, как говорится... Гвозди в этот край, куда потянули? — опять обратился мужчина к грузчикам.

Когда всё было уложено, он крикнул:

— Павел! Поехали!..

Из склада вышел парень лет шестнадцати-семнадцати в кепке с поломанным козырьком, в комбинезоне. Он был светловолос, брови его почти не были заметны — так они, и без того белые, выгорели под солнцем,— над вздёрнутой верхней губой золотились чуть пробивающиеся усы. Павел легко впрыгнул в кузов, предварительно бросив туда стопку книг, перетянутую шпагатом.

Мотор заработал, и машина, выйдя за ворота, медленно поползла по улице, переваливаясь из стороны в сторону на ухабах и рытвинах,— очевидно, шофёр, боясь за хрупкий груз, не решался пустить её быстрее.

Когда подъезжали к станции, к перрону подкатил поезд, всё с теми же маленькими зелёными вагончиками и работягой-паровозиком впереди. Виктор взглянул в ту сторону, но в это время грузовик сильно качнуло, и шпа-

гат, стягивавший стопку книг в руках Павла, лопнул. Парень бросился собирать книги, а Виктор — помогать ему. И поэтому он не увидел, как от станции пошла к городу группа, которая могла бы заинтересовать его,— впереди молодой офицер нёс чёрный чемодан, далее следовали седой мужчина и женщина, тоже пожилая, но сохранившая следы прежней красоты, а между ними — обнявшая обоих за талии и безумолку что-то говорившая маленькая смуглая девушка в светлом демисезонном пальто — Маргарита...

— Спасибо,— отдуваясь, сказал Павел, когда книги были собраны.— Вы к нам?

Услышав ответ Виктора, он оживился:

— Из области? Корреспондент? А писателей вы когда-нибудь видели?

Виктор вспомнил литератора-москвича, приходившего к Михалычу, и ответил утвердительно.

— Кого? — восторженно спросил Павел.— Правда, его? И какой он? Как все?.. И курит, и калоши носит?.. Скажи... Я его книжку два раза перечитал...

Размышляя о чём-то, Павел сдвинул свои выцветшие, почти незаметные брови.

— И как это книги пишут? — вымолвил он, наконец.— Что он, знает их всех, о ком пишет, писатель? А если он сто человек опишет, двести — тоже всех знает?..— и после паузы добавил: — А я вот считаю, если хорошая книжка,— всё же знает. Плохая — другое дело...

— И что, часто, по-твоему, бывают плохие книги? — спросил Виктор.

— Не так чтобы, а есть... Недавно я о колхозе читал... Забыл уж название, ну, и не стоит, чтобы помнить. Читал — не пойму, был тот писатель хоть раз в колхозе или не был? У него там, к примеру, клумбы возле тракторного вагончика устроены. Может, это и хорошо бы — клумбы, так ведь вагончик за весну, да за лето, да за осень с места на место тридцать раз перетаскают. Какие ж тут клумбы?.. Ну, и не только клумбы, ясно, много понакручено, чего не бывает... А хорошую книгу, я вам скажу, прочтёшь — будто ты побывал где. А кто описан — будто друзья твои самые лучшие...

— У тебя, наверное, книг дома много? — указал Виктор на пачку в руках Павла.

— Есть,— отвечал тот.— А это не мои, это Катерина,

библиотекарша наша, просила привезти... У нас библиотека не такая большая в колхозе, но книги почти все интересные... Сейчас Катерина в бригаде вслух читает «Молодую гвардию» — знаете? До того места дочитала, когда Ваню Земнухова арестовали. Я уж наказывал ей, чтоб без меня дальше не читала, да она такая, не вытерпит ещё, самой хочется узнать, что дальше...

— Она же может одна прочитать, если захочет.

— Нет, так Катерина не сделает, я её знаю,— мотнул головой Павел.— Как это — ей одной? И одна она не может читать,— ей всегда, когда она прочитает, поговорить хочется. Она свои концы к книге придумывает, не как писатель, а как она сама бы написала... Интересно придумывает, только всегда у неё счастливо выходит...

— Что же она может в «Молодой гвардии» придумать? — удивился Виктор.— Ведь казнили молодогвардейцев — это давно известно.

— Придумает, она такая... Например, что Красная Армия Краснодон взяла раньше, чем их успели казнить.

— Так не было же так на самом деле.

— Не было? Ну и что? А ведь могло быть? Ну, узнал товарищ Сталин, что в Краснодоне творится, и отдал приказ: немедля взять город. Ну?

Павел вопросительно глядел на Виктора, и видно было: не только Катерине, но и ему самому до предела охота, чтобы случилось именно так...

Навстречу по дороге вылетел юркий, с брезентовым верхом «газик», ловко обогнул грузовик и запрыгал по лужам дальше в направлении Чёмска.

— В области, говорят, легковушки новые ездят — «Победа»? — спросил Павел.— Катерина с курсов вернулась, рассказывала.

— Ездят,— сказал Виктор и подумал: «Что-то часто ты эту Катерину поминаешь, с языка не сходит». И мысли его по тем неписанным законам, которые заставляют при виде ребятишек, гоняющих мяч на улице, задуматься о предстоящем решающем матче на кубок СССР, а при разговоре о цветах вспомнить букет, который ты подарил лучшему другу перед разлукой,— мысли его обратились к Вале.

Они встречались всю зиму, не так часто, но не реже раза в неделю. Ходили в театр, в кино, в читальный зал областной библиотеки, где Валя брала учебник, а Виктор

что-нибудь из беллетристики,— он не любил читать там, где много народу, его обязательно что-то отвлекало, но ради того, чтобы побыть с Валей, всё-таки ходил. Валя знала теперь по рассказам Виктора всю редакцию и справлялась о здоровье Михалыча, жалела Осокина — всё-таки трудная у него работа,— неопределённо пожимала плечами при упоминании о Студенцове,— кто его знает, бывают люди, которых трудно понять,— и корила легкомысленную Маргариту,— есть такие ветреные существа и среди студенток, в голове одни развлечения, а учёба для них — пустое место. Да и Виктор знал всю Валину группу в институте, знал Стёпочкина, того самого Валиного полуопекуна, которого поддержал в трудную минуту её отец. Правда, заочно Виктор представлял Стёпочкина добрым и гостеприимным — это всегда подчёркивала Валя,— но при встрече с ним у Виктора сложилось иное впечатление. Как-то Виктор зашёл к Вале перед спектаклем домой. Стёпочкин был тут же, он едва ответил на приветствие Виктора, а потом стал что-то искать по комнате, выхватил из-под носа у Виктора книгу, которую тот собирался взять, и Валя поскучнела, заторопилась, а на улице на вопрос, почему Стёпочкин в таком настроении, сказала:

— Не обижайся — из-за тебя. И из-за Сергея — Стёпочкин к нему очень хорошо относится...

Валя тоже побывала у Виктора в гостях, и её встретили совсем по-другому. Тётя Даша, счастливо охая, побежала собирать на стол и всё косилась, разглядывая девушку, а Николай Касьянович церемонно спросил у Вали:

— Вы, кажется, живёте в домах ИТР? Приличная жилплощадь? Сколько?.. Весьма...

Виктор мучительно покраснел при этом, но Валя ровным тоном подробно отвечала Далецкому.

О многом переговорили за эту зиму Виктор и Валя и не затронули только одну тему — как раз ту, на которую ему больше всего хотелось поговорить. Он делал осторожные попытки,— может быть, пора,— однако, Валя умела мягко, но решительно повернуть разговор в другую сторону. Так прошла зима, весна, потом у Вали начались экзамены, потом она уехала на практику, а теперь сам Виктор надолго уехал из города. И ему сейчас, словно он видел, как кто-то чужой по-хозяйски роется в его вещах, с обидой представлялось, что Валя в эту ми-

нуту улыбается кому-то другому, шутит с кем-то другим. Мысль о том, а что же тогда должен был чувствовать Сергей, когда Валя была с Виктором, нисколько не успокаивала, ему казалось, что Сергей не может так нежно, как Виктор, любить Валю...

— Наши поля начались,— сказал Павел.

По обе стороны дороги тянулись посевы пшеницы. Мокрые потемневшие стебли пригнулись к земле.

— Полеглый хлеб,— вздохнул Павел.— Тяжело...

— А ты сам кем работаешь в колхозе?

— Трактористом... Да что за работа — час косим, день стоим из-за дождя... Слушайте, товарищ корреспондент,— Павел вдруг живо повернулся к Виктору.— Вот пишут в газетах о токарях-скоростниках. Они новаторы, им премии дают, они большое дело сделали. Сразу у них получилось или нет? То есть, что я хочу знать,— сразу им позволили работать, как они сейчас? Или им мешали?

— Не сразу, конечно, сначала мешали им всякие...— Виктор хотел сказать «рутинёры», но, запнувшись — не поймёт ещё,— стал отыскивать слово попроще.

— Отсталые люди... Рутинёры, короче говоря,— докончил за него Павел.

— Ну да,— чуть смутившись за себя, подтвердил Виктор.

— Верно, и я так думаю... А теперь вот что,— в моторе можно сделать так, чтобы вал вращался быстрее. Будет тогда скоростной трактор... Хлеб надо убирать скорее,— он погнить может на корню. Пусти такую машину — сколько она скосит!

— А ты... А вы знаете, как это сделать? — с волнением спросил Виктор.

— Ясно, знаю,— это ж простая вещь... Да всё рутинёры проклятые! — погрозил Павел кулаком в пространство и, передразнивая кого-то, процедил: — «Технические правила надо соблюдать строго — на то они и даны».

Виктор внимательно всматривался в сидящего перед ним парня. Ничего особенного — козырёк поломан, нос облез, заплатка на комбинезоне. Так что же, разве новаторы не такие же простые люди? Разве они какие-то сверхъестественные существа, как Павел думает о писателях? И дыхание Виктора участилось, сердце забилось быстрее,— в нём родилось предчувствие значительного материала.

Сколько раз Виктор читал статьи о том, как бюрократы губят ценные начинания, кладут под сукно замечательные предложения рационализаторов. И вот перед ним — деревенский парень, обыкновенный, но в то же время — это рационализатор, которому мешают бездушные люди.

— Что же делать? — беспомощно спросил Павел.

— По-моему... пробовать,— хрипло проговорил Виктор.

— Без разрешения? — почему-то шёпотом задал вопрос Павел.

— Если уверен — пробуй!

Зад машины высоко подбросило, непрочный шнурок в руках Павла лопнул, и книги снова посыпались в кузов...

Вечер в деревне

Председателя колхоза Бородина Виктор узнал сразу,— он ничуть не изменился за год, минувший с тех пор, как Виктор познакомился с ним в областном земельном отделе. В той же гимнастёрке с двумя планками орденских ленточек (одна из них стала шире,— он уже получил медаль «За взятие Берлина») и гвардейским значком — только на плечи была накинута шинель, а бритую голову покрывала военная фуражка с тёмным пятном на месте звезды — Бородин выскочил из правления колхоза навстречу машине. Не обращая внимания на сидящих в кузове, он окликнул вылезающего из кабины мужчину:

— Филипп Артемьевич! Гвозди привезли?

— Так точно, Константин Лукич! И гвозди, и краску, и известь, и прочее, как говорится. А послезавтра цемент обещали...

— Провод?

— Триста метров, оформили всё, только получить.

— Ну, молодец на этот раз, постарался...

— И ещё гостя привёз к нам, корреспондента.

— А, очень рад, Бородин,— сунул руку председатель стоявшему в стороне Виктору, видимо, не припоминая его.— Вы подождите, я скоро... Филипп Артемьевич, ролики не забыл?

— Всё по вашему списочку, точно, хоть ревизию устройте, Константин Лукич.

— Отлично!.. Тогда сгружайте здесь краску, известь и что там ещё, а потом живо — на гидростанцию... Да,— сказал председатель, обладая, очевидно, счастливым умением думать одновременно о нескольких вещах сразу.— Надо товарищу устроить с квартирой...

— Пусть к нам идёт,— подал голос Павел.

— К вам? Хорошо,— быстро оценил что-то в уме Бородин.

— Константин Лукич, спрашивал я в МТС,— воспользовался Павел тем, что внимание председателя обращено на него.

— Не разрешили?

— Нет... Константин Лукич, а, может, всё-таки...

— Кончено, Павел!

К правлению спешил старик в сильно поношенном кожане с топором в руках.

— Товарищ Куренóк! Вам сегодня праздник,— крикнул ему председатель,— гвозди привезли.

— От правильно! — восхищённо крякнул старик.— Теперь будет тебе школа точно по плану. Дай-ка мне, Константин Лукич, лёгкого табачку по такому случаю.

Он начал сворачивать цыгарку, но тут же спохватился и, рассыпая табак, засеменил к грузовику:

— А гвозди покажи, какие?

Посмотрел и только потом доклеил и закурил цыгарку.

Послышался топот копыт, и на разгорячённой лошади к правлению подскакал молодой парнишка.

— Константин Лукич! — запыхавшись, проговорил он.— Просят вас во вторую бригаду, у нас хлеба много на току — бричек нет...

— Ах, чтоб вас, не подумали раньше,— торопливо стал вдевать руки в рукава шинели Бородин.— Извините, мы, пожалуй, только совсем к ночи сможем встретиться. Вы лучше пока отдохните с дороги, перекусите,— обратился он к Виктору.

— Константин Лукич! Так как же? — простонал Павел, видя, что председатель вот-вот исчезнет.

— Павел! Я сказал,— произнёс председатель без всякого нажима, но Павел сразу поник и тронул за рукав Виктора:

— Пойдёмте...

Они пошли по деревенской улице мимо бревенчатых домиков, мимо невысоких плетней, напоминавших стенки

большой корзины; кое-где лесины в плетнях ещё жили и выбросили по нескольку пучков зелёных листьев,— от этого сходство с корзиной терялось, и ограда превращалась в такую же естественную часть пейзажа, какова, скажем, поросль ивняка на берегу реки. Вечернее солнце, добравшись уже до самого горизонта, напоследок собрало всё-таки силы, раздвинуло тучи и рассыпало по траве серебристые бисеринки; лёгкий, почти прозрачный дымок, шедший из труб, щекотал ноздри; мычало стадо, возвращаясь домой; где-то залаяла собака, другая гавкнула ей в ответ два раза и замолкла, и, оттеняя эти звуки, ровно и беспрерывно гудел вдалеке мотор трактора...

Павел заговорил, когда они изрядно отошли уже от правления:

— Видите, что получается. А я точно знаю — толк будет...

Разговаривая с Павлом на автомашине, Виктор испытывал только одно чувство — задор, горячее желание помочь этому парню победить рутинёров. Сейчас, после того, как многое знающий и уверенный в своих действиях Бородин не захотел даже подробно говорить с Павлом об этом деле, прибавилось ещё одно. Оно, это второе чувство, советовало не спешить, всё продумать,— ведь Виктор, давая Павлу совет итти наперекор всем, брал на себя немалую ответственность.

— Что же делать? — повторил свой вопрос Павел.

И победило первое чувство. Ждать неизвестно сколько — неделю, месяц, когда пройдут все сроки? А разве тот же Бородин не может ошибаться при всех его хороших качествах? Разве косность не может одолеть самого положительного человека? Разве она не тот самый враг, о котором говорил когда-то Осокин?

— Пробовать! — упрямо сказал Виктор и, поколебавшись, прибавил: — Если уверен.

— Ну, что ж,— промолвил Павел,— я тоже так думаю...

Они вошли в небольшой двор. Напротив дома стоял низенький хлев с земляной крышей, поросшей зеленовато-белой, словно присыпанной пудрой лебедой, среди которой, как сосна в мелколесье, высился одинокий куст полыни; потемневшая банька приютилась в углу двора, крыша её была увенчана котелком без дна, заменявшим трубу; наполовину вкопанный в землю бочонок возле

крыльца был доверху полон дождевой водой, в которой плавали соломинки, повядшие листья и невесть какими судьбами попавший сюда, в деревню, трамвайный билет.

Павел первым прошёл в тёмные сенцы, где-то за брёвнами отыскал ключ, отпер двери и пригласил Виктора:

— Проходите! Мамка позднее будет, с нею вам тоже повидаться надо — парторг она у нас...

Разделись в кухне с лавками вдоль стен, русской печью, полатями, шкафчиком для посуды и несколькими крынками на окне. Лохматый дымчатый кот, спавший на печи, проснулся, спрыгнул на пол, мяукнул, одним прыжком вскочил Павлу на плечо и стал тереться об его затылок, мурлыча так, что у Виктора зазвенело в ушах.

— Ишь, распелся Михаил! — заметил Павел.— Опять украл чего-нибудь?

Он вдруг проговорил:

— Катерина идёт!

Кот стремглав бросился к порогу и замер в ожидании.

— Я пошутил! — сказал Павел и пояснил Виктору: — Балует его Катерина: как придёт, что-нибудь принесёт, вот и привык...

Они вошли в комнату, где на каждой вещи лежал след не бьющей в глаза, но всё же заметной аккуратности и заботы. Цветочные горшки были обёрнуты розовой бумагой и перетянуты посередине лентами; такая же бумага с затейливыми узорами застилала полку, на которой стояли томики Ленина, Краткий курс истории партии, брошюры, разная художественная литература, в том числе, обратил внимание Виктор, потрёпанная книга о Миклухо-Маклае. На стене висел портрет товарища Сталина в форме генералиссимуса — плакат, оставшийся с выборов,— а над кроватью — увеличенная фотография мужчины, чем-то напоминавшего Павла. На немой вопрос Виктора Павел ответил:

— Папанька... Танкист был. Погиб.

Он произнёс это сухо и отрывисто, как отвечают на вопрос, который отвечающему не хотелось бы затрагивать, но который тем не менее задают очень часто.

Кровать была застлана настолько, чтобы виден был кружевной край простыни, возле двери на двух гвоздях, обёрнутый белой материей, висел велосипед. Небольшой стол под голубой клеёнкой, зелёный сундук, обитый

крест-накрест чёрными металлическими полосками, пузатый комод под кружевной скатертью, круглые с циферблатом из толстого стекла часы да несколько стульев довершали обстановку комнаты.

В сенцах стукнула щеколда, и звонкий девичий голос спросил:

— Хозяева дома?

И Виктор сразу догадался, что явилась та, о которой столько уже говорилось, потому что лохматый Михаил отчаянно закричал вдруг на кухне, а потом, урча и захлёбываясь, стал что-то поедать.

Павел солидно проговорил:

— Заходи, Катерина!

— Ой, приехал! — розовощёкая круглолицая девушка, собственно, почти ещё девочка, с растрёпанными волосами, со сбившейся на шею косынкой, в стёганой куртке, в сапожках, улыбаясь, остановилась на пороге, но, заметив постороннего, осеклась и чинно поздоровалась.

— Заходи,— повторил Павел.— Гляди вон, что тебе привёз...

— Книги, Паня? — мгновенно забыв о Викторе, девушка сорвала с шеи косынку, скинула стёганку, швырнула то и другое на сундук и маленькими, но сильными пальцами разорвала шпагат, стягивавший пачку.

— «В окопах Сталинграда»... «Спутники» — это о чём? Поезд нарисован...— перебирала она книги и неожиданно обиженно вытянула губы и часто-часто замигала: — Это что? Тебе подсовывают, а ты берёшь...

Катерина показала томик «Порт-Артура», через всю обложку которого шла глубокая царапина.

— На машине это, Катя,— пробормотал Павел,— рассыпались...

— У тебя всё так,— дрожащим голосом сказала девушка и отвернулась.

— Ты не серчай, Катя,— просительно проговорил Павел.— Я ж не нарочно... Катя,— просиял парень от удачной мысли,— вот товарищ корреспондент, он, знаешь, кого видел?

Павел назвал фамилию литератора-москвича.

— Ой, расскажите! — с такой же горячностью, как и Павел, набросилась на Виктора девушка. Но обиды своей она не забыла и вскользь заметила парню: — Чтоб я тебя ещё попросила? Да никогда...

Наступили сумерки. Павел поднялся:

— Мне на смену пора. Вы тоже не ужинали — мойте руки, я на стол соберу...

— Сиди! — бросила ему Катерина.— Видали мы таких собирал.

Павел смущённо кашлянул, а девушка, засучив рукава, ловко и споро стала накрывать на стол: достала из шкафчика две больших фаянсовых кружки, тарелки, на которых были нарисованы неправдоподобно красные розы, вилки, сняла с окна крынку, крупными ломтями нарезала хлеб, вынула из печи сковородку с картошкой и салом, которых хватило бы на целую роту, и по-хозяйски пригласила:

— Кушайте...

Виктор и Павел пили густое топлёное молоко, ели картошку, грубоватый, но удивительно вкусный хлеб, Катерина неотрывно следила за обоими и, чуть в кружках кончалось молоко, доливала ещё, а с печи, прищурив глаза, так же неотрывно следил за всеми движениями девушки лохматый дымчатый Михаил...

— Спасибо! — кончил ужинать Павел.— Отправился...

Он заговорщически взглянул на Виктора:

— Так значит?

Виктор только кивнул.

Когда Павел вышел, Катерина сорвалась с места:

— Ой, забыла его спросить!

Она схватила что-то с вешалки и выскочила следом, неплотно прикрыв дверь. Виктор услышал короткий диалог:

— Паня, шарф бы взял!

— Вот ещё!..

— Возьми, Паня, холодно будет...

— Не надо мне шарфа.

— Хорошо, Павел, попомнишь!..

— Ладно, давай уж...

Катерина вернулась и, не глядя в глаза Виктору, объяснила:

— Спрашивала, из райкома комсомола ничего мне не передавали? Кушайте ещё,— добавила она, видя, что Виктор собирается вставать.

— Сыт вот так,— Виктор дотронулся до горла.— И в правление мне надо,— Бородин, наверное, уже там?

— А то бы ещё молочка?.. Ну, идите, если дело. Дорогу найдёте или проводить?

— Ничего, я знаю...

Во мгле начинающейся ночи деревня выглядела както меньше. Домики присели, прижались к земле, некоторые сторожко вглядывались во тьму золотыми глазами окон. А поля, всё пространство вокруг раздвинулись привольно и беспредельно. Небо на востоке, как и днём, было затянуто чернильной пеленою туч,— лишь одинокая звёздочка прокололась в ней,— но в той стороне, куда зашло солнце, светлая полоса над горизонтом стала шире, и там, торжествуя победу, ходили целые хороводы звёзд...

Бородин сидел в своём кабинете, негромко беседуя с худощавой женщиной, обратившей внимание Виктора прежде всего своими глазами — колючими, но не злыми, а просто испытующе-строгими. Она оказалась матерью Павла — секретарём колхозной партийной организации. Звали её Ольга Николаевна.

— Знаем мы вашу газету,— сказал Виктору Бородин.— Читаем регулярно по всем бригадам... Один материал пришёлся очень кстати — это карикатура на колхозника, который отправился на базар вместо работы. У нас тоже был такой случай, правда, не с мужчиной, с женщиной, но всё равно, повлияло... Хотя, простите за откровенность, многого вам ещё не хватает. Мы вправе ждать от представителей областной газеты двойной помощи, тем паче...— Бородин приостановился,— тем паче, что от районной, кажется, пока вообще не дождёмся...

Ольга Николаевна молча слушала разговор, иногда согласно наклоняя голову и сейчас же пальцем закидывая за ухо спадавшую на висок прядь тёмных волос, среди которых виднелись седые.

Виктор объяснил цель своего приезда.

— Передавать наш опыт? — переспросил председатель.— Спасибо за честь. Но мы не святые, предупреждаю,— у нас тоже грехи имеются... Ах, всё, абсолютно всё вы хотите?.. А ведь неплохая мысль, Ольга Николаевна?..

Женщина согласно наклонила голову.

— Тогда, пожалуй,— сказал Бородин,— вам надо начать вот с чего. Напишите о том, что мы наметили с первых дней уборочной и что — худо или хорошо, это со сто-

роны виднее — выполняем. Конвейер... Понимаете, хлебный конвейер — вот что нужно...

Он положил на край стола толстую папку, поясняя свою мысль:

— Это — хлебное поле. Вот это,— Бородин поставил в другом краю стола пресс-папье,— ссыпной пункт. Между ними,— провёл он рукою по столу,— передаточные звенья — комбайн, ток, зерносушилка, возчики... Наша цель — добиваться, чтобы хлеб переходил от звена к звену точно по графику, не задерживаясь нигде ни единой лишней минуты. Почему? Потому, что потерянная минута сегодня — это час завтра, день послезавтра, это неделя через три дня. И это в конце концов — сгнивший, осыпавшийся хлеб, это срыв государственного плана.

Бородин переждал, чтобы Виктор успел записать.

— Как в заводском конвейере, так и в нашем, задержка на любом участке остановит работу на последующих. Поэтому каждый участок должен действовать безотказно. Даже мелочь, помешавшая одним, помешает и всем остальным — вам это ясно? Всё необходимо держать в исправности — машины, транспорт, тару...

— Людей, прежде всего,— впервые вмешалась в беседу Ольга Николаевна.

— Люди, само разумеется, это главное,— согласился Бородин.— Лодырь, бракодел, безответственный человек могут напортить в тысячу раз больше, чем любая неполадка в хозяйстве... Вот в общих чертах наша система. Что в ней особенно хорошо — общая ответственность за дело. Вы видели сегодня — чуть задержались брички, а на току уже бьют тревогу? И так всегда — едва прорыв, как внимание всех переключается туда...

Бородин подошёл к окну и ударом ладони толкнул створки рамы наружу:

— Вы приехали в удачное время... Глядите,— он указал на светлую полосу над горизонтом,— тучи уходят. Из Чёмска передали — неделю не будет дождей. Вот самая боевая пора, вот когда особенно пригодится наш метод...

В голове Виктора родился заголовок первой корреспонденции: «Хлебный конвейер».

— Скажите,— спросил он Бородина, радуясь, что вполне уже разбирается в сельском хозяйстве,— ведь вы могли бы на это время послать на уборку всех людей...

Я знаю, у вас строят сейчас... ну, скажем, гидроэлектростанцию, вот оттуда бы и взять...

Бородин резко повернулся от окна:

— Порочная, вредная идея,— и усмехнулся, видя смущение Виктора.— Так можно было бы поступить, думая только о сегодняшнем дне. А мы ни на секунду не забываем о завтрашнем. Допустим, мы последуем вашему совету. Уберём хлеб,— может быть, нам будет полегче, и что же — останемся с этим хлебом на голой земле? В том-то и трудность, чтобы даже в эти тяжёлые дни не забывать о всестороннем развитии хозяйства...

Бородин взял папку, изображавшую хлебное поле:

— Вот наша пятилетка. Что здесь? Десятки граф — полеводство, животноводство, механизация, электрификация, культура, быт... Вы знаете, кто составлял этот план? Весь колхоз. Дед Куренок — вы его видели сегодня,— между прочим, и настоял, чтобы школу включили на этот год. И мы согласились — он прав несомненно. Плохонькая была старая школа, совсем обветшала за войну. А что такое школа? Это место, где растут будущие колхозники и механизаторы — умные, развитые, образованные... А что такое гидростанция? — спросил председатель, подкручивая фитиль в большой керосиновой лампе «молния».

— Электричество вместо этого? — тронул пальцем лампу Виктор.

— Конечно, и электрический свет в домах... И гораздо больше. Это машины, которые крутят не люди, а ток. Это коровы, которых доит электричество. Вы видели, как работает доярка? Сидит себе на скамеечке — не труд, удовольствие! А какая это физически тяжёлая и, в сущности, малопроизводительная работа. И ничего ещё сейчас, когда коровы дают у нас по шесть-семь литров в день. А когда мы разведём племенное стадо — и обязательно разведём, так записано в плане,— когда коровы будут давать молока вдвое больше?..

Бородин заметил, что Виктор просто слушает его, ничего не записывая.

— Мне кажется, и обо всём этом надо сказать в газете... Встречаются люди, которые думают так же, как... тоже отстало. Люди, полагающие, что кампании нужно отдать всё без остатка, и потому плывущие по воле волн...

Виктор торопливо взялся за карандаш.

— Пятилетний план — это программа нашей жизни. Я не говорил о нём подробно, а там ведь поэма в параграфах и цифрах! Тот же севооборот — мы его восстанавливаем с этого года. «Могучее средство повышения урожайности»,— пишут о нём в статьях. «Революция в земледелии» — вот как можно назвать его иначе.

Бородин положил папку на стол.

— Наш пятилетний план — такой же строгий график, какой мы завели на хлебозаготовках, только гораздо более широкий. Мы его обязаны выполнить и выполним — порукой этому вся жизнь вокруг, колхозный строй...

— И люди,— снова добавила Ольга Николаевна.

— Да, и в первую очередь наши люди... Простите,— обратился Бородин к Виктору.— Я всё смотрю — как будто мы где-то уже встречались?

— В прошлом году, в облзо,— напомнил Виктор.

— Ну вот, чёрт возьми, правильно! А мне совсем другое в голову лезло...

— Что? — поинтересовался Виктор.

— Да так... У вас никто из родственников под Сталинградом не воевал?

— Нет.

— Конечно,— совпадение, да и ясно — Тихоновых в Советском Союзе не перечесть, даже писатель есть Николай Тихонов...

— А в чём дело? — снова задал вопрос Виктор.

— Был у меня в батальоне — я тогда ещё в капитанах ходил — один боец. Тихонов. Боец, как боец, мы считали, не трус, но и не герой... Середнячок, одним словом. И вот, что сделал этот середнячок. Был он с двумя товарищами в охранении, а немцы ночью окружили дом. Тех двоих убили почти сразу. Остался один — Тихонов. Полсуток, понимаете, полсуток он вёл бой. Мы после насчитали возле дома шестьдесят с лишним трупов... Умер он уже у наших на руках. Дом этот потом назвали «домом Тихонова». Посмертно присвоили Тихонову звание Героя Советского Союза.

— Сколько ему было лет... этому бойцу?

— Лет сорок-сорок пять...

— А звали его как?

— Василий... Василий Алексеевич.

...Отчего поплыл огонь лампы? Отчего превратилось в неясное пятно лицо Бородина? Отчего покачнулся стол?..

— Что с вами? — вскочила Ольга Николаевна.

— Ничего,— с усилием ответил Виктор.

В этот момент с треском распахнулась дверь. Бледный, с перекошенным лицом в комнату влетел давешний парнишка из второй бригады:

— Константин Лукич! Трактор стал! У Павла авария...

— Та-ак,— произнёс Бородин.— Неужели он всё-таки...

И, не договорив, грохнул кулаком о стол. Пресс-папье, изображавшее ссыпной пункт, полетело на пол.

Ночь в деревне

И вот опять приняла новый вид деревня,— не такой, как вечером, но и совсем другой, чем когда Виктор, час назад, шёл в правление колхоза. Тьма отступила; дома распрямили плечи, встали в напряжённом ожидании, как часовые, почуявшие тревогу; длинные тени их задвигались вокруг, колеблясь из стороны в сторону, как под ветром; чадящие огни факелов побежали по улицам; звёзды прекратили свои хороводы и собрались в кучки, наблюдая, а из-за туч в предвидении серьёзного дела выплыл их старший брат и наставник огромный горбоносый месяц...

Все четверо — Виктор, Бородин, Ольга Николаевна, парнишка из второй бригады,— они вышли на крыльцо правления. Женщина стала, одной рукой цепко схватившись за перила, а другой прижимая к груди шаль, и глядела остановившимися глазами, как собирается народ. Парнишка всё уже рассказал и, однако, повторял в который раз:

— Сказали, что дня на два ремонта... Сказали, что надо в МТС.

Бородин, к которому после первой вспышки вернулось самообладание, заметил Виктору:

— Вот вам случай, не предусмотренный графиком... Мы, конечно, не полагали, что обойдётся без поломок машин. Но здесь дело не в машине, а в человеке...

Дед Куренок подскочил к крыльцу:

— Неужто правда, Константин Лукич, с трактором?..

— Печальная, но правда...

Куренок дёрнул себя за бороду, тяжко вздохнув:

— А ведь дни какие подошли — косить бы да косить...

— Откуда знаешь, дед, что хорошие дни? — удивился председатель. — Барометр, что ли, купил?

Куренок хлопнул себя по ноге:

— Мой барометр вот — руки, ноги... Кости не ломит сегодня — это уж точно к вёдру...

И опять тяжко вздохнул:

— Ах, разъязви его, Паньку!.. Ну, подгадил, курицын сын!

Куренок спохватился, видимо, что мать Павла стоит рядом, и смущённо предложил председателю:

— Самосаду моего завернёшь по такому случаю?..

Виктор, как в полусне, наблюдал за происходящим. Две неотвязных мысли, переплетаясь, смыкаясь, размыкаясь и снова сходясь, стучали в его голове. Два удара обрушились на него за несколько минут, два тяжких до непереносимой боли удара. Первый — весть об отце. Виктор уже не сомневался, что Василий Алексеевич Тихонов, с котором рассказывал председатель, это его отец, пусть всегда для него далёкий, пусть причинивший столько горя матери, но всё же отец. Слишком много совпадений, чтобы можно было сомневаться, что это он,— имя, отчество, фамилия, возраст, наконец, то, что именно накануне боёв под Сталинградом перестали приходить денежные переводы. Короткий рассказ председателя словно бритвой резнул по тоненькой натянутой нити, трепетавшей в душе Виктора все эти годы,— нити, связывавшей его с далёкими, смутно вспоминавшимися, но бесконечно дорогими днями, когда отец был с ними. Не признаваясь себе в этом, Виктор никогда не забывал, что у него есть на белом свете самый близкий человек, и жил смутной надеждой, что рано или поздно они встретятся. Теперь не на что было надеяться...

Отталкивая мысль об отце, навязчиво лезла другая — о том, что только что произошло с трактором. «Панька, курицын сын!» — корил Павла дед Куренок, не подозревая, что по соседству с ним стоит ещё один, пусть косвенный, но всё же виновник беды, разразившейся над колхозом. «Вот наша пятилетка, вот планы, которые мы обязаны выполнить»,— говорил Виктору Бородин, видя в нём союзника, друга, помощника в большом деле, и не помышлял, что этот союзник в кавычках двумя-тремя непродуманными словами, сказанными в пылу петушино-

го задора, воткнул в колёса налаженной, точно отрегулированной машины не палку, нет, толстенную жердину, от которой затрещали спицы...

Газетчик! Журналист! Большая честь носить это звание. Тебя уважает народ, тебе верят, каждое слово твоё принимается, как умный и дельный совет человека, видящего дальше, чем другие, знающего больше, чем другие, умеющего подсказать верный путь. Огромная ответственность лежит на тебе, журналист. Продумай, всё взвесь, всё оцени прежде, чем принять решение. А если тебе не знаком вопрос, с которым ты столкнулся,— ведь тебе по служебному долгу приходится встречаться с людьми самых разных профессий? Если ты не уверен вполне, на чьей стороне правота, и не можешь решить этого один? Не бойся опереться тогда на честных, знающих людей, на тех простых советских людей, которые окружают тебя всюду. Этим ты не только не потеряешь их уважения, этим ты повысишь свой авторитет. И это поможет тебе до конца использовать оружие, вручённое тебе партией, самое острое и сильное её оружие — печать...

У крыльца правления шумела толпа. Собрались все, кто оставался в деревне,— старики и старухи, женщины с грудными детьми, инвалиды. Проворные ребятишки сновали всюду, не сознавая, что случилась беда, и довольные тем, что в такой поздний час они на улице и никто их не гонит домой, не укладывает спать. Катерина, всё в той же стёганке и цветастой косынке, стояла впереди, только теперь она не была похожа на девочку, скорбные складки на румяном лице сделали её старше.

— Вы знаете, что произошло, товарищи,— сказал Бородин.— Вы знаете, чем это нам грозит,— завтра мы не сможем отправить на элеватор того количества зерна, которое отправляем обычно, потому что косит один лишь комбайн. Я ничего не хочу говорить сейчас сам, я жду вашего слова...

Волной прокатился говор по толпе и стих, даже самые маленькие замолкли и, разинув рты, глядели на председателя.

— Зачем зря время терять, Константин Лукич? — нарушил тишину Куренок.— Что делать — всякому ясно. Указывай, кому куда итти...

Одобрительный гул всех собравшихся подтвердил, что дед выразил общее мнение.

— Комсомольцы... обязуются загладить позор! — изменившимся голосом выкрикнула Катерина и стала затягивать косынку под подбородком.

— Иного я и не ждал, товарищи,— проговорил председатель.— Тогда, действительно, времени терять не будем...

И из человека, только что спрашивавшего совета у людей, просившего поддержки, он сразу превратился в сурового и непреклонного командира, отрывисто и быстро отдавая приказания:

— Комбайн, который стал, перевести на молотьбу... Серпов хватит? Разыскать все до единого... Кто может жать — все на поле. Кто не может — на ток, на подработку зерна... Ну,— за работу!..

Людской поток хлынул по улице. Снова полетели по ветру дымные языки пламени, побежали длинные тени домов, заскрипели ворота, захлопали двери, залаяли потревоженные собаки...

И — словно вымерла деревня. Людской поток вынесло в сторону полей. На деревню опять надвинулась мгла, домики присели, прижались к земле, беспечные звёзды завели свои хороводы, и только месяц, как самый старый и опытный в небесной семье, взялся за дело и лил на землю ровный молочный свет, помогая людям...

Подхваченный общим движением, Виктор и сам не помнил, как очутился на дороге в поле. Рядом шагал Куренок с неизменной цыгаркой в зубах и с косою, увенчанной деревянным трёхзубцем, на плече.

— Тряхну-ка и я стариной,— как давнему знакомому, говорил он Виктору.— Я, брат, в молодые годы кашивал не хуже твоего комбайна. Да и теперь не поступлюсь. А что, право слово?.. Силы хотя и не те, зато сноровки прибыло...

Куренок беспокойно завертел головой во все стороны:

— Где ж старуха моя затерялась?.. Ах, слеп стал, старухи не разглядел — вон она по обочинке двинулась!.. Не пущу, говорит, тебя одного, ты там без меня кости свои растеряешь. Шутница, право слово!.. Я троих молодых за пояс заткну — не сомневайся...

Незаметно подошли к току. Комбайн стоял невдалеке, очевидно, вездесущий парнишка успел прискакать сюда на лошади и передать приказание Бородина. Яркий

прожектор комбайна проложил светлую дорогу на поле. На току пирамидами высились кучи зерна.

Без лишних слов прибывшие из деревни развёртывали из тряпиц дедовские серпы, точили оселками косы. Бородин стоял у комбайна, распределяя людей по местам. Когда все разошлись, Виктор приблизился к председателю. Одно только желание было у него: как угодно, чем угодно, хоть вместо пухлого снопа самому ринуться внутрь шумящего комбайна, но загладить вину перед дедом Куренком, похвалявшимся, правда, своей силой, но дряхлым уже на самом деле, перед его совсем старой женой, перед розовощёкой Катериной, на лице которой застыла скорбная складка, перед всеми этими людьми, выгнанными глупым молодечеством Виктора и Павла позднею ночью из домов в поле.

— А мне куда? — спросил Виктор Бородина.

— О, вы тоже? — обернулся председатель.— Спасибо, лишние руки не помешают. Жать, конечно, не умеете?.. Давайте-ка к веялке...

И руки Виктора легли на толстую рукоятку веялки, ещё тёплую от прикосновения рук женщины, которую он сменил. Вместе со старушкой напарницей он приподнимал рукоятку, а потом всем телом давил её вниз. Тяжёлые решёта веялки двигались из стороны в сторону, машина дрожала от напряжения, как живое существо, струёй лилось из неё зерно. Пшеница издавала какой-то особенный сытный запах; вскоре к этому запаху прибавился солоноватый вкус пота,— он струйками сбегал со лба, собираясь на губах.

Зерно засыпала Катерина. Не глядя ни на кого, она зачерпывала из кучи пшеницу большим конусообразным ведром, одним рывком выбрасывала его наверх, затем, помедлив какую-то долю секунды, перевёртывала ведро вверх дном, изредка покрикивая на Виктора и старушку.

— Пошевеливайтесь!

Тяжёлая работа избавляла от невесёлых мыслей, и на ней одной Виктор сосредоточил внимание. Нажим — рукоятка ползёт вверх, и раз! — она с натугой идёт обратно...

Рассвет подобрался потихоньку, а потом сразу рассеял мглу. Поблёк луч прожектора; лёгкий предутренний туман влажным дыханием осел на одежде, на соломинках, на клочке бумаги, валявшемся под ногами; подул

свежий ветер, подгоняя замешкавшиеся остатки туч. Виктор присел отдохнуть, разглядывая ладони, на которых белели крупные волдыри.

Сзади подошёл Куренок.

— Видал, сколько я вымахал? — спросил он, кивая на частую щётку стерни, оставшуюся там, где совсем недавно колосилась пшеница.— Знай наших!.. Лёгкого бы табачку по такому случаю... Ах, папироска есть? Можем и папиросу...

Старик присел рядом с Виктором, узловатыми пальцами раскрошил папиросу, подсыпал ядовито-зелёного самосада, свернул цыгарку и, глубоко затянувшись, расстегнул ворот рубахи, подставляя грудь ветру.

— Простудитесь,— заметил ему Виктор.

— Эка, простужусь! Век прожил — докторов не знал. А и простужусь, лекарство известное — двести грамм с перцем пополам...

Старик опять затянулся и промолвил, весь окутываясь голубым табачным дымом:

— Великое дело компания, коллектив по-нонешнему...

Один за другим подъехало к току несколько фургонов,— в каждый было запряжено по паре лошадей. Мешки быстро наполнялись пшеницей и ложились впритык друг к другу в дощатые ящики фургонов. Сейчас отправится хлеб в далёкий путь — в Чёмск на элеватор, а оттуда ещё дальше — во все концы страны. И никто не узнает — не напишешь же на зерне,— с каким трудом досталась эта пшеница людям.

Виктор поднялся и направился к деревне: утром Ковалёв ждал от него первую корреспонденцию из колхоза «Красное знамя». Хотя веки Виктора слипались, он знал, что сейчас же напишет корреспонденцию. Теперь у него в запасе был не только заголовок...

Сын

Сидя в углу, Ольга Николаевна смотрела, как комнату постепенно заполняют юноши и девушки — запылённые, в рабочей одежде: они пришли сюда прямо с полей и токов, с ферм, со строительства... Молча рассаживались, молча ждали, иногда разве шёпотом перебрасываясь словом-другим. Их редко можно было видеть

такими: даже после тяжёлой работы они находили силы и энергию для шуток, задорной частушки, весёлого танца, для серьёзного разговора о том, что творится на земле, и для того, чтобы, позабыв обо всём на свете, слушать, как Катерина читает им книгу о делах и днях «Молодой гвардии»...

Они с детства привыкли друг к другу, сходясь в играх, в забавах, в учёбе, в труде, они никогда не чурались один другого, они были своими, и потому сегодняшнее их молчание ещё больше подчёркивало тягостную значительность предстоящего собрания.

Ольга Николаевна глядела на них и впервые замечала то, что раньше как-то ускользало от её внимания: кожаный браслет часов на руке у парня,— наверное, у старшего брата взял или купили ему? — замечала подозрительно покрасневшие и припухшие мочки ушей у девушки — неужели серьги пробовала надевать, дурёха? Она тщательно высматривала все эти мелочи, а потом вдруг поняла: да ведь они все выросли, они стали совсем взрослыми, и чем дальше, тем больше будет и часов, и серёг, и свадьбы загремят по деревне. Они взрослые, а она уже старуха, уже волосы седые перестала выдёргивать — всё равно всех не передёргаешь,— хотя, кажется, вчера заливалась горькими слезами от обиды, что мать не пускает на гулянку — коров-то кто будет доить? — кажется, вчера чуть не заплакала от стыда, когда первый раз поцеловал её у калитки весёлый эмтеэсовский тракторист,— а ведь сердце разорваться готово было от счастья...

Они выросли, и с ними вырос сын её Павел, Павлуша, Паня... Он сидит сейчас у самых дверей, потупившись, вздыхает иногда, как всхлипывает, да перебирает пальцами козырёк своей кепки поломанный,— ах, когда же новую купим, ему и заботы нет, а сама всё забываешь. Да, вырос Павел, вон и усы пробиваются, скоро бритву попросит отцовскую, как-то вроде даже намекал: где, мол, она лежит? Ну и что же, что вырос? А для неё он всё тот же Павлуша, всё тот же пострелёнок-мальчонка, что на речке купался, рыбу удил, деда Куренка просил вырезать свисток получше, гусей дразнил, стёкла бил, дрался, плакал, озорничал,— досада одолевала и — сердце не камень — радость брала, ни с чем не сравнимая материнская гордость за маленького человека, кото-

рый был частицей её самой. В нём всё знакомое, всё родное: и эти судорожные вздохи — так и в детстве вздыхал, когда напроказит, и эта заплатка на комбинезоне — сама пришивала, печалилась, что только другого цвета заплатка нашлась. И ещё, всего роднее,— черты весёлого эмтеэсовского тракториста видела она в сыне, его привычки, его манеры. Вот так же перебирал он козырёк фуражки, объясняя ей, что им обязательно надо пожениться, иначе, чёрт знает, что получится, иначе свет будет не светом, мир будет не миром; вот так же, потупившись, сидел он за столом последний раз, перед уходом на фронт.

Она потеряла его, первого, сильного, ласкового, любимого,— война отняла его. Она до зубовного скрежета, до мучительной боли в сердце в мельчайших деталях помнила, как узнала об этом. Помнила эту самую комнату, синюю с белым горошком рубаху Филиппа Артемьевича, который был в то время председателем колхоза и с которым на чём свет стоит она ругалась — тоже помнилось совершенно отчётливо — из-за двух борон, которые он хотел передать в другую бригаду. Помнила, как в комнату тихо вошла девушка, сельский почтальон, как несколько раз во время перепалки девушка осторожно трогала её за плечо, а она сердито отмахивалась — не до тебя, отвяжись! Как потом почтальонша бережно вложила в её руки маленький треугольный конверт и быстро ушла. Как она вскрыла конверт и, мысленно ещё вся в споре с председателем, не сразу добралась до смысла написанных химическим карандашом строк. И как, когда этот смысл дошёл, она тихо, чуть слышно сказала:

— Бо́роны я не отдам...

А Филипп Артемьевич взмахнул руками, словно собираясь улететь, и торопливо проговорил:

— Хорошо, хорошо, пусть остаются!.. Водички, так сказать, может, хочешь?..

Она шла тогда по улице, не замечая никого, она до крови искусала губы и только дома, бросившись на колени перед кроватью, разразилась рыданиями. Она почти ощутила руками закопчённые обгоревшие волосы, раньше такие же светлые, как у Павлуши,— она так их любила гладить; она увидела страшные ожоги на родном лице и испытывала такую боль, точно на ней самой были эти ожоги... А маленький Панька, ничего не понимая,

сам рыдая от испуга, всё пытался, словно это могло помочь, оттащить её от кровати:

— Маманя, сядь на стул, мама!..

Он сидел сейчас перед нею, маленький Панька, ставший взрослым Павлом. Он ждал суда товарищей, ждал её суда. Он знал свою мать лучше, чем кто угодно, и потому, она была уверена, он не надеялся на пощаду.

Требовать!.. Это слово пришло само собой, когда сгладилась первая боль. Сгладилась? Нет, оно жило в ней, это горе, и сейчас, такое же беспредельное, как и пять лет назад. Она просто сумела спрятать его в самую глубину души, чтобы горе не мешало мстить.

Мстить врагу... Где, на фронте?

Её не отпустили на фронт.

— У тебя сын,— сказали в райкоме.— Ты сейчас единственный коммунист в деревне. Здесь тоже фронт. Мсти врагу отсюда. Мсти трудом...

Она поняла. Тогда пришло это слово — требовать. Если ты мешаешь работе — значит, ты пособник врага. Если тебе простят сегодня — завтра ты повторишь и усугубишь ошибку. Никаких поблажек. Никаких уступок. Никаких скидок ни на что. Требовать!..

И многие узнали её жёсткую, властную руку. Может быть, чересчур? — иногда спрашивала она себя. И сама же отвечала — нет. Нет, потому, что от самой себя она требовала в сто крат больше, чем от других. Была всегда одинаково строгой и уверенной, чтобы другие могли брать пример, хотя и появлялось желание опять упасть на колени, зарыдать, забиться, чтобы в слезах найти облегчение...

Паня, Павлуша, сынок!.. Пойми, не тебя будут бить сегодня — меня. Твоя ошибка — мой грех. Значит недосмотрела, значит мало требовала. Тяжело тебе сейчас, но так нужно. Для того, чтобы ты стал настоящим человеком, чтобы я могла гордиться тобой. Для товарищей твоих, для Катюши...

Ольга Николаевна взглянула на Катерину. Та сидела неподвижно, потупившись, как и Павел, держа в руках исписанный листок.

Девушка, девушка! Трудно и тебе, а ты знаешь, как трудно мне? Для тебя — любимый, для меня — сын. Станешь матерью — поймёшь...

Ольга Николаевна стукнула карандашом о стол, при-

влекая внимание Катерины. Девушка, вздрогнув, подняла ресницы, и Ольга Николаевна мигнула ей: не пора ли начинать? Катерина рывком встала со стула:

— Товарищи!.. Собрание комсомольской организации колхоза «Красное знамя» считаю открытым... На повестке дня один вопрос...

— Погоди,— остановила её Ольга Николаевна,— зачем же сразу повестку? Ты что, собрания разучилась вести?

Катерина непонимающе взглянула на Ольгу Николаевну и спохватилась:

— На учёте в первичной организации состоит...

Когда был избран президиум, Катерина схватила бумажку опять:

— На повестке дня — вопрос о безответственном поступке члена ВЛКСМ, тракториста...

Катерина остановилась и глотнула воздуха. Она всматривалась в листок, на котором, очевидно, была записана её речь.

— Тракториста...— повторила Катерина и вдруг, скомкав листок, швырнула его под стол.— Девушки, Ольга Николаевна, ребята! Я всё думала и придумать не могла, как назвать, что Павел сделал. Он... он, как враг поступил...

Павел откачнулся к стене, словно от удара. Громкий шепоток пронёсся по комнате.

— Ещё стахановцем его считали! — бросил парнишка из второй бригады.

— Я предлагаю,— торопилась девушка, будто боясь, что не хватит слов,— из комсомола его исключить...

Павел вскочил с лавки.

— Исключить?! Это нельзя! Как это — исключить? — бессвязно заговорил он.— Ведь мне... Да я... Кто же я буду, если вы исключите?! — вырвался вопль из груди парня.

— Ты просишь слова, Павел? — ровным тоном спросила Ольга Николаевна.— Дадим ему слово, товарищи?

— Дать! — раздался чей-то одинокий голос.

— Я не враг, нет! — вздохнул, точно всхлипнул, Павел.— Да если бы кто колхозу что-нибудь...— стиснул он кулаки так, что кровь отошла из пальцев,— я его, подлеца, сам бы задушил...

Павел разжал кулаки:

— Я хотел, чтобы лучше было... Я не за премией — мне хлеб чтобы скорей убрать... Когда трактор стал, ребята,— Павел впервые посмотрел в лица товарищей,— во мне как жила какая оборвалась!

— Тебе разрешили ускорять обороты мотора?

Это спросила мать.

Павел снова поник:

— Нет...

— Смотри туда, Павел! — с шумом отодвинула стул женщина, указывая за окно.— Там пшеница, которую ждёт страна. Почему она ещё на полях? Почему стоит комбайн, когда пришли лучшие дни? Это твоя вина, Павел...

Ольга Николаевна оперлась на стол:

— Всю ночь не спали в деревне. Старики, инвалиды пошли жать, а назавтра, без отдыха — опять на работу... Кто виновник всему? Ты, Павел...

Женщина откинула за ухо прядь волос:

— Ты говоришь, что не враг колхозу. Верно,— все тебя знают... Но разве, нарушив дисциплину, ты... на деле... не играл на руку тем, кого наши успехи страшат? Твоя затея всё равно кончилась бы плохо. Почему?.. Потому что ты решил сделать всё один. Пусть бы даже трактор пошёл. Допустим, что, хотя ты многого и не знаешь, сумел придумать что-то новое... Но ведь комбайн, который ты вёл, не смог бы косить на такой скорости... А?

Павел тихо промолвил:

— Так я же... только попробовать...

— Ты до сих пор ничего не понял... ничего не понял, Павел,— с горечью сказала Ольга Николаевна.— Пробовать, когда тебя не раз предупреждали люди во много раз опытнее и старше! Ты не ребёнок, которому можно простить кое-что по неразумению,— голос женщины опять стал жёстким.— Ты комсомолец, Павел, и мы тебе ничего не простим...

Павел всё стоял у стены, и даже из другого конца комнаты Виктору видно было, как бьёт его мелкая дрожь. Виктор не находил себе места. То ему хотелось выбежать из комнаты, то он порывался вскочить и что-то объяснить, и сам же осаживал себя — никакие объяснения не помогли бы Павлу. Ничьи последующие выступления, в которых тоже немало было резких слов, ни путаный рассказ парнишки из второй бригады, который

повторил, как он скакал в деревню, когда случилась авария, и как Константин Лукич велел собирать народ,— парнишка снова бросил Павлу: «Ещё стахановцем считался!», но закончил всё неожиданным выводом: «А насчёт, чтоб исключить, это подумать надо, куда ж ему, правда, тогда?» — ничто не произвело на Виктора большего впечатления, чем две первых коротких речи — Катерины и Ольги Николаевны. Да что они, бесчувственные, что ли? Мать и любимая девушка первыми уничтожают Павла. Виктор пытался поставить себя на место парня, а на место Ольги Николаевны — свою мать. Из этого ничего не выходило,— мать умерла, когда Виктор был ещё совсем мальчишкой. Тогда он подставлял на место Катерины Валю. Милая, далёкая Валя, как бы ты повела себя в таком случае?.. И Виктор ёжился от холодка, бегущего по спине, потому что вдруг убеждался, что и Валя повела бы себя точно так же, разве что не комкала бы исписанный листок и нашла бы другие слова, может быть... может быть, ещё более колючие и злые...

Постановили: вынести строгий выговор, ходатайствовать, чтобы Павел был снят с должности тракториста...

Комната опустела — последним, ступая на цыпочках, ушёл Павел,— и остались только двое — Виктор и Ольга Николаевна. Женщина сидела, чуть сгорбившись, и сразу перестала быть похожей на грозного судью, которым была она несколько минут назад. Виктор осторожно промолвил:

— Простите, Ольга Николаевна...

— За что? — вскинулась женщина.

— Я тоже виноват перед всеми вами...

Выслушав Виктора, Ольга Николаевна сидела некоторое время, в раздумье прикрыв глаза.

— Значит,— сказала она, наконец,— и ваш промах обсуждался сегодня на собрании?

— Да...

— Вы поняли, что совершили ошибку?

— Понял...

В наступившей тишине стало слышно, как где-то далеко ворчит мотор автомашины.

— Скажите,— спросила Ольга Николаевна,— кто вам... Почему вы так расстроились, когда Бородин говорил об этом бойце?

— Потому что... это, кажется, мой отец...

— Кажется? Но разве...

— Он не жил с нами, давно...

— Но вы уверены? Бывают ведь совпадения.

— Нет,— покачал головою Виктор.— Всё сходится... И он — должен быть таким, мой отец...

Да, именно таким — сильным, крепким духом — хотелось Виктору видеть отца. Он должен был быть героем...

— Горе! — с неожиданно высокой нотой в голосе произнесла Ольга Николаевна.— Сколько горя пронеслось по земле... Нельзя, невозможно, чтобы это было ещё раз... Гордитесь, Витя, гордись, сынок, таким отцом. Он умер, чтобы жил ты! И если это и не он, гордись всё равно — он общий ваш отец...

От звонкой дрожи в голосе женщины, от неизмеримо ласкового: «Сынок!» что-то затуманило глаза Виктора. Хотелось броситься к ней, прижаться к её груди, к её материнским рукам...

Мотор машины заворчал совсем рядом и смолк. Ольга Николаевна встала, чтобы взглянуть, кто приехал, но, опережая её, в комнату вошёл Бородин.

— Радуйся, парторг! — весело воскликнул он.— Теперь мы горы свернём! Помощь прибыла — девушки из Чёмска. Иди, встречай!..

Вслед за Ольгой Николаевной отправился и Виктор. Весёлый муравейник кипел возле только что прибывшей машины. Девушки в разноцветных платьях, в куртках, в лыжных костюмах сбрасывали на землю свои вещи. Распоряжалась одна — рослая, с низким, почти мужским голосом.

— Виктор! — раздался возглас из толпы.

Виктор взглянул в ту сторону и попятился от изумления,— к нему приближалась Маргарита.

— Довольно вы меня преследовали,—сказала она.— Теперь моя очередь...

Человек прибыл в отпуск

Всё произошло точно так, как мечтала Маргарита, подъезжая к Чёмску. Лейтенант помог ей надеть пальто и взял чемодан. Маргарита вышла на перрон, на миг увидела родной городок, рощицу возле станции, заметила ползущую к переезду потрёпанную полуторатонку,— она

была нагружена ящиками и мешками, а сверху сидели какие-то двое,— и всё забыла в папкиных, пахнущих табаком объятиях,— мама стояла рядом и с ревнивым нетерпением говорила: «Ну, хватит, хватит, дайте же и мне, наконец!»

Потом они шли через пустырь к городу; лейтенант нёс впереди чемодан, Маргарита с родителями следовала в отдалении, смеялась, обняв своих старичков за талии, безумолку рассказывала о чём-то обоим,— о чём, и сама не понимала... Потом сидели за столом, без конца обедали, пили чай с клубничным вареньем, которое лучше мамы не умел варить никто на свете; папка шутливо грозил: «Черноглазик, заставлю стихи учить, если мало будешь кушать!»,— это было самое страшное наказание в детстве: посадить Маргариту на диван и заставить наизусть учить стихи; мама озабоченно следила, как ест дочь, и повторяла всё время: «Не нравится, да? Ну, сознайся, не нравится?» «Нр-равится! Пр-роглочу!» — грозно рычала Маргарита, и словно детство возвращалось в комнату.

Маргарита ловила внимательные взгляды, которые бросали родные на лейтенанта, сначала не понимала, а потом звонко расхохоталась, поняв,— за жениха принимают!

— Познакомились с товарищем в поезде,— пояснила она, чтобы не доставлять старичкам лишних волнений,— ему ещё на машине километров сто надо ехать на север. В отпуск прибыл, четыре года дома не был...

Видимо, лейтенант не очень торопился домой после четырёхлетней разлуки, потому что досидел до позднего вечера, несколько раз собирался уходить, но каждый раз давал охотно себя уговорить посидеть ещё. На прощание он сунул Маргарите свой адрес:

— Пишите, я буду ждать...

— Ждите,— сказала Маргарита и со вздохом констатировала: ещё один безнадёжный!..

И вечер не прогнал вернувшегося в дом детства. Маргарита сидела на диване, подложив под локоть всё ту же, как и много лет назад, подушечку с вышитой на ней картинкой, изображавшей Красную Шапочку и серого волка,— маленькой она всегда боялась, что проснётся как-нибудь утром и окажется, что за ночь волк съел Красную Шапочку; «трик-так!», «трик-так!» — тикали

старинные стенные часы,— раньше она думала, что они дразнятся: «Рит-ка!», «Рит-ка!»; папка, склонившись над столом, проверял тетради; мама штопала чулок, натянув его на большую деревянную ложку. Маргарите самой захотелось заняться рукоделием, она вспомнила, что надо пришить пуговицу к жакету, достала из шкафа деревянный грибок со всякой всячиной, сняла с него головку, высыпала содержимое грибка на диван и, подыскивая нужную пуговицу, перебирала давным-давно знакомые вещи, от которых тоже пахнуло далёкими годами,— сломанный пионерский значок, серебряный полтинник с изображением кузнеца, увеличительное стекло с отбитым краем, перо восемьдесят шестой номер,— им одним заставляли писать в школе, а Маргарита любила «уточку» — узконосое перо «копиручёт»,— и папка сердился: «Испортишь почерк, черноглазик!»

Следующий день Маргарита посвятила путешествию по городу и по домам старых знакомых. Побывала у Чёмки, повидала дедушку Игната — «директора моста», он долго не узнавал её, и хотя сказал потом, что узнал, но она решила — всё-таки не вспомнил. Сходила к памятнику Красному Командиру, поправила увядшие букеты на постаменте — носят цветы, вот и её сколько нет в городе, а кто-то носит. Дошла до городского сада, по-прежнему обнесённого дощатым забором, побелённым известью, разыскала доску, отодвинув которую можно было проникнуть в сад без билета,— так она и делала раньше, не от нужды, а из-за безотчётной лихости. Доска отодвигалась и сейчас, Маргарита хотела пролезть и не смогла, — велика стала, матушка!..

Обход старых школьных друзей огорчил Маргариту: никого! Кто в институте, кто в армии, кто на работе в других городах. Танюшка, сказали родные, уехала с мужем на Сахалин, у неё уже дочь. Маргарита шла некоторое время по улице ошарашенная. Танюшка, беленькая, похожая на зайчика Танюшка, которой, как отъявленной тихоне, в играх доставались самые незавидные роли — белогвардейца или японского самурая,— эта Танюшка сама уже мама! У ней у самой уже есть другая Танюшка, беленькая, похожая на зайчика....

Маргарита достала из сумки зеркальце и, склонив голову набок, критически начала рассматривать себя:

— Стары становимся!.. Годы...

Склонила голову на другой бок, посмотрела и с симпатией подмигнула своему изображению:

— А в общем ещё ничего!..

Из прежних подруг она разыскала только Натку. Та успела уже закончить институт пищевой промышленности и с инженерским дипломом вернулась в Чёмск на строительство комбината по выпуску масла и сухого молока.

— Маслоделом заделалась, понятно? — басом сказала Натка. Она стащила с Маргариты пальто и насильно усадила её за стол: — Обедать будем, попробуй отказаться, Маргарит проклятый!

Но тут она разглядела фасон Маргаритиной блузки, снова поставила подругу на ноги, стащила с неё и жакет и бесцеремонно стала вертеть Маргариту перед собой:

— Как это сделано, ну-ка?..

С шумом хлебая суп, не прожевав хлеба, Натка бубнила:

— Письма от кого получаешь?.. Таньку не видела?.. Почему это у тебя нет фотографии? Завтра же потащу сниматься...

После обеда начались бесконечные взаимные рассказы, расспросы, воспоминания, и только затем Натка догадалась поинтересоваться:

— Ты зачем сюда прибыла?.. Ого! — хохотнула она, услышав ответ Маргариты.— Хорошенький отпуск в такое время! Ну, ничего, подумаем...

С минуту Натка разглядывала подругу, как бы оценивая, где можно получше её использовать.

— Идея! — стукнула она по спине Маргариту так, что та чуть не слетела со стула.— Едем завтра с нами в колхоз!

— С кем — с вами?

— Ну, с нашими, с комбинатскими. Бригада девушек — я бригадир. Едем в колхоз «Красное знамя», на неделю.

И, точно всё уже было решено, Натка сообщила:

— Собираемся завтра в пять у станции. Стёганка у вас дома есть?

Маргарита оглядела свои лакированные туфли, чулки-«паутинки», узкую юбку с разрезом, свой бледнорозовый маникюр. Ей совсем не улыбалось сейчас ехать в

колхоз, хотя и хотелось побыть вместе с Наткой. Она постаралась отказаться как можно дипломатичнее:

— Старички заскучают... И вообще не могу... Но проводить тебя завтра приду.

Натка присвистнула:

— Вот вы как!.. Ручки боитесь натрудить! Вам бы только сдобные булочки кушать...

— Да нет,— пыталась оправдаться Маргарита, хоть и знала, что переубедить в чём-нибудь Натку — непосильная задача.— Ну, пойми, только приехала — и на тебе...

— Понятно! — фыркнула Натка и демонстративно запела: — До свиданья, Рита, не горюй, на прощанье друга поцелуй...

И пришлось Маргарите, пожелав доброй ночи, быстренько отправляться восвояси, невзирая на то, что она ещё не посмотрела фотографию одного Наткиного знакомого («Собою не так чтобы красавец, а дельный парень!»).

— Покедова! — нарочито грубо сказала Натка.— Можете не провожать, там грязь, у станции, туфельки ещё замараете...

Неожиданная ссора с Наткой оставила в душе Маргариты горький осадок, но она вполне оправдывала себя. С какой радости она бы вдруг отправилась в деревню,— у неё абсолютно заслуженный отдых. Можешь, Наталья, сесть верхом на свой комбинат от злости,— отпуск есть отпуск...

Окончательно Маргарита убедилась, что поступила правильно, когда, придя домой, попив чая с клубничным вареньем, она прямо в платье и туфлях бросилась на диван, сунула под голову уже известную подушечку и раскрыла томик «Графа Монте-Кристо» из папкиной библиотеки. «Трик-так!», «Трик-так!» — «Пусть-так!», «Пусть так!» — тикали часы. Не «пусть-так», а обязательно так, не иначе! Не съест Красную Шапочку серый волк. Можете, преподобная Наталья, целоваться со своей карточкой...

Среди ночи Маргарита проснулась. Свет в комнате был погашен, в окно заглядывал деловитый горбоносый месяц,— он поспевал всюду; туфли с Маргариты были сняты, а сама она заботливо была укрыта тоненьким клетчатым одеялом. «Мама... Или папка?» — подумала Маргарита, тихо засмеялась: «Ну, как же я вас брошу,

хорошие мои?», перевернулась на другой бок и опять уснула...

Но что случилось назавтра?.. Почему так неприветливо встретил её в этот раз родной городок?.. Он кричал, не глядя на неё, плакатами со стен домов: «Хлебозаготовкам — главнейшее внимание!» Он презрительно пускал ей в лицо клубы бензинового перегара,— мимо шли грузовики с зерном. Она, в узкой юбке с разрезом, в чулках-«паутинках», была чужой ему, одетому в рабочую одежду... «Но я же в отпуске!» — мысленно воскликнула Маргарита. «Покедова!» — Наткиным грубым голосом фыркнул город.— «Туфельки не замарайте, здесь грязно!».

И городской сад, обнесённый забором, побелённым известью, с укоризной глядел на неё одиноким глазом ворот, закрытых, как гласило объявление, по случаю ненастной погоды.

И памятник Красному Командиру повернулся к ней спиной,— высокая гранитная пирамида со звездой наверху,— ей, звезде, далеко были видны сейчас поля, где трудились тысячи людей.

И дедушка Игнат не поздоровался с ней,— то ли опять забыл, то ли очень был занят, пропуская по мосту колонну автомашин...

А кто это на мосту? Да это же — Ковалёв! Корреспондент областной газеты. Маргарита знала его, потому что он иногда давал корреспонденции для радиокомитета.

— Э-гей! — помахала она рукой.

— Приятная встреча! — просиял Ковалёв. («И этот?» — мелькнула мысль у Маргариты).— Какими судьбами в Чёмске? По делам?..

— В отпуске, гощу у родных...

— Неудачное время для отпуска,— промолвил Ковалёв.

— А вы отдыхать не собираетесь? — спросила Маргарита.

— Ну-у! Пока я в выездной — думать нечего.

— Вы в выездной редакции? Один? — удивилась Маргарита.

— Нет, вдвоём. Ещё Тихонов, может быть, знаете?

Маргарита постаралась вложить в вопрос всё, какое могла, равнодушие:

— Тихонов? Знаю. Он тоже в Чёмске?

— Нет, сейчас в колхозе «Красное знамя»... Куда же вы? — растерянно протянул руку Ковалёв.

Уже на бегу Маргарита крикнула:

— Простите, спешу!.. До свиданья!..

И всё пыталась вспомнить, кто и когда сказал ей эти же, так рассердившие её два слова: «Простите, спешу!»

Она, как вихрь, влетела в дом, схватила с вешалки стёганку, переоделась, натянула старые туфли, натолкала в сумку бельё, полотенце, мыло, чмокнула ничего не понимавшую мать в щёку и с порога крикнула:

— Ждите через неделю!..

Машина возле станции выбросила дымный хвост и медленно тронулась.

— Натка! Натка, крокодил! — что есть силы воскликнула Маргарита, споткнулась и чуть не упала в лужу.

Кто-то из девушек в кузове постучал по крыше кабины, и машина остановилась.

— Ну вот! — подавая подруге руку, как будто всё само собою разумелось, басом сказала Натка.— Чуть не опоздала, Маргарит проклятый!

Маргаритин отпуск продолжался..

Общими силами

Виктор стоял перед Маргаритой, не зная, что сказать

— Терпите, теперь моя очередь! — расхохотавшись, повторила Маргарита.— Идёт мне? — она закуталась в стёганку и повернулась на каблуках так, что они оставили две глубокие ямки в земле.

Это была и прежняя, и другая Маргарита. Те же лукавые глаза, те же непринуждённые манеры и эта рабочая куртка, сближавшая девушку, по крайней мере внешне, с теми, к кому Виктор привык и проникся уважением за короткое время пребывания в деревне...

— Вы тоже корреспондентом? — выдавил он наконец.

— Поднимайте выше — равноправным членом девичьей команды. А вот и наш командир,— указала Маргарита на рослую распорядительницу.

— Ната! — пробасила та и заметила подруге: — Видал, Маргарит,— знакомого встретила, а ещё ехать не хотела...

Она зычно крикнула:

— Девчата! Час — на личные дела, а там — работать!

— Займитесь со мной личными делами, если есть время! — попросила Маргарита Виктора.— Проводите меня в магазин, я впопыхах зубной порошок забыла...

По дороге она рассказала, что приехала в Чёмск к родителям, что Натка уговорила её поехать в колхоз.

И надо же! — воскликнула девушка.— Стоит на крылечке — кто? Виктор... Так в бога поверишь...

В глазах Маргариты мелькнули хитрые искорки, и тут же лицо её посерьёзнело:

— А вы злопамятный, Виктор. Так и не захотели меня послушать тогда — я всё об ошибке. Я не хочу, чтоб вы думали обо мне плохо. Я виновата перед вами, очень, а вы тоже — разве можно так, между прочим узнавать о важных вещах?..

— Ладно... Я не сержусь — дело прошлое,— проговорил Виктор.

Он, и верно, совсем уже не сердился на Маргариту. Из-за этого искреннего тона, оттого, что девушка была сейчас одной из тех, кто должен был помочь колхозу загладить последствия их с Павлом ошибки, потому, что Маргарита являлась живой частицей города, живым напоминанием о том, что было там дорого ему,— она стала просто товарищем. Правда, он не представлял, как она, такая совсем городская, не привыкшая к физическому труду, будет работать наравне с Катериной, со всеми деревенскими женщинами, но одно то, что Маргарита по доброй воле приехала сюда, говорило в её пользу... Виктору захотелось сказать девушке что-нибудь тёплое, чтобы смягчить прежнее, конечно, не совсем деликатное обращение с ней. Но трудно было всё-таки разговаривать с Маргаритой...

— У вас хороший маникюр,— промолвил он.

Маргарита состроила удивлённую гримасу:

— Виктор, вы говорите комплименты?.. Но почему же... почему начинаете с маникюра? Это самое заметное?

— Я — не комплимент,— смешался Виктор.— Я хочу сказать, что поработаете день, и ничего не останется.

— М-м...— разочарованно протянула девушка.— Маникюр, конечно, пропал. Но это, значит, не комплимент? А я-то... Ну, ладно, и на том спасибо...

Девушка вдруг остановилась и шепнула Виктору:

— Хотите, я скажу, что самое хорошее у вас? По секрету...

Виктор насторожился, ожидая подвоха.

— Две вещи,— торжественно произнесла Маргарита.— Во-первых, ресницы... А во-вторых, что вы краснеете, когда говорите ерунду сами и когда её говорят другие.

Виктор машинально тронул рукой ресницы и покраснел.

— Вот видите! — захлопала в ладоши девушка.— Ну, ещё будете утверждать, что я не психолог?

Лицо Виктора совсем залилось краской.

— Ой, перестаньте! — хохотала Маргарита.— А то придётся покупать две коробки порошка — одну мне, другую вам, чтобы мазать щёки.

Трудно было разговаривать с Маргаритой...

Через час Натка выстроила свою команду у правления.

— Девчата, р-равняйсь,— подбоченясь, сурово скомандовала она.— На поле ша-агом... арш!

И сама затянула известную песню:

Первым делом, первым делом самолёты...

Только вторую строчку песни Наткина команда исполняла не так, как обычно:

— Ну, а мальчики? А мальчики потом...

— Это о вас,— шепнула Маргарита Виктору, который шёл за девушками следом: тема о помощи города деревне представляла интерес для газеты...

И вот они оказались на уже знакомом Виктору току. Комбайн больше не стоял рядом: вскоре после аварии из МТС прибыла «скорая помощь» — передвижная механическая мастерская. Это была обычная полуторатонка, только кузов её был оборудован в виде небольшого фанерного домика. Задержавшись ненадолго возле правления, машина затем с фырканьем помчалась в поле, где остался сломавшийся трактор Павла. Ремонтники работали весь день и ночь, а утром того дня, когда состоялось комсомольское собрание, исцелённый трактор увёл комбайн с тока...

Натка быстро расставила девушек.

— А вы,— кивнула она Маргарите и Виктору,— давайте сюда.

И указала на ту самую веялку, у которой Виктор работал позапрошлую ночь. Виктор замешкался.

— Что же вы? — воскликнула Маргарита,— слушайтесь командира!..

Она сбросила стёганку, поправила воротничок платья и первой налегла на тяжёлую рукоятку веялки. Виктор последовал её примеру, сделав это без всякой неохоты: последнее время он ежеминутно испытывал неловкость, когда видел работающих людей, а сам разгуливал рядом с блокнотом. Он чувствовал себя каким-то туристом в эти минуты. Разумом Виктор понимал, что своим пером помогает работающим. Он видел, как в одно мгновение расхватали листовку, где была напечатана его корреспонденция о хлебном конвейере, как вслух повторяли знакомые имена, слышал обрывки фраз: «О Куренке есть... Правильно!», «А и старуху его не забыл корреспондент!»; он представлял, как ту же листовку читают в других сёлах, там, может быть, и не знают Куренка с женой, но рассказ об этих стариках заставляет людей трудиться лучше, укором глядит в глаза лодырю... Разумом Виктор понимал, что делает большое дело, но сердце его не могло оставаться спокойным, если он не помогал людям и прямым участием в работе...

Вверх, вниз! Вверх, вниз — взлетала и опускалась рукоятка веялки. Виктор снова ощутил на губах солоноватый вкус пота. Он взглянул на Маргариту и устыдился за себя: её лицо нисколько не выдавало того напряжения, какое испытывал Виктор. И стояла она так ловко, словно век одним этим и занималась — крутила веялку.

— Где это вы научились? — спросил он погромче, чтоб его было слышно за шумом решёт.

— Что? — не поняла она, а потом, на секунду оторвав руку от рукоятки, приложила её к уху и, разобрав, что спрашивает Виктор, закивала: — Ясно... У меня стаж! — с выдохами в такт оборотам рукоятки кричала девушка.— На веялке.. Снопы вязать... Косить умею даже — да!.. в войну... каждое лето в колхозе... Ещё вас... научу, хоть вы... мужчина...

«Пожалуй, научит!» — подумал Виктор, с завистью глядя на рассчитанные, экономные движения Маргариты. И снова отметил, как быстро меняется его отношение к девушке. Вот так — никогда нельзя судить о человеке по первому впечатлению, какая-то мелочь, бросающаяся в глаза, пустяковая случайность, совсем не то, что со-

ставляет существо человека, заведут на ложный путь. И не в театре, не в посещении кино или концерта, но в жизни, в работе узнаётся человек. Впрочем... Виктору показалось, что эти слова кто-то говорил ему уже. Он вспомнил: Валя! Ну да, Валя, в тот вечер после «Евгения Онегина»...

Виктор поглядел на свою напарницу: Валя и Маргарита! Ничего общего, совершенно: светловолосая спокойная Валя и подвижная смешливая девушка-смуглянка. И всё-таки в Маргарите начали, смутно, едва заметно, проявляться какие-то общие с Валей черты...

Маргарита внимательно следила за Виктором.

— Ого!.. Теперь...— кричала она с теми же паузами в такт оборотам рукоятки,— теперь вы... и на меня... смотрите, как Мефистофель... Но это ничего... я Маргарита в самом деле... не то, что она...

— Кто — она? — спросил Виктор.

— Ваша... Валя Остапенко... из мединститута,— сказала Маргарита и прибавила: — Порошок — в кармане стёганки... Берите — вам нужнее...

— Разговорчики! — сурово прикрикнула на обоих Натка, по-мужски широкими размахами перебрасывая деревянной лопатой зерно.— Чтобы до ужина всю эту кучу провеяли...

Шумели машины, пыль висела в воздухе, к току один за другим подъезжали фургоны... Колхозники, колхозницы, девушки из Чёмска, Маргарита, Виктор — все они смешались здесь, всех их объединила общая цель...

Когда стемнело, Натка, отирая пот со лба, провозгласила:

— Ужин!..

Хотя девушки порядком утомились, она опять повела команду строем.

— Так же легче, дурные! Дисциплинка — от всех усталостей лучшее средство! — пресекла Натка протесты и затянула песню: — «Где ж вы, где ж вы, очи карие...»

На полевом стане они расселись за высоким, похожим на топчан, самодельным столом. Мисок на всех не хватало, и Виктору досталась вместо миски одна из больших эмалированных кружек, которых запасливая Натка взяла несколько штук. Густой, попахивающий дымом кулеш, сваренный поварихой на костре, не стал от

этого нисколько хуже: Виктор готов был сейчас, кажется, съесть целого вола. Не отставала и Маргарита.

— И просто, и здóрово — этот кулеш,— сказала она, выскребая ложкой такую же, как у Виктора, кружку.— А знаете, чтó я хорошо готовлю? Гурьевскую кашу... Про эту кашу есть ещё детский рассказик... Ай-ай-ай, вам бы надо его помнить,— вы же только что вышли из детского возраста. Ну вот, я боюсь уже с вами разговаривать — опять обиделся!.. Виктор, Виктор,— просительно протянула девушка.— Ну, как мне извиниться? Хотите — на колени стану? — вскочила девушка из-за стола, всем видом выражая готовность выполнить своё обещание.

Виктор испуганно схватил её за рукав: попадёшь в смешную историю с этой Маргаритой!

— То-то! — успокоенно промолвила девушка.— А гурьевскую кашу я готовлю всё-таки хорошо... Виктор! — воскликнула она неожиданно.— Заходите к нам домой в Чёмске — вот я вас и угощу этой кашей... Верно, Виктор, вы же там будете. Заходите, Натку позовём, Ковалёва захватывайте...

— Вы его видели? — спросил Виктор.

Кажется, впервые за время их знакомства, Маргарита смутилась и то по неизвестной причине:

— Д-да... Мельком...

Виктор встал, собираясь пойти в деревню: ему ещё надо было повидаться с Бородиным и передать в Чёмск очередную корреспонденцию. Маргарита поднялась тоже:

— Мне охота пройтись, это перед сном полезно...

— Маргарит, долго не задерживаться!—крикнула Натка.— А то не добудишься тебя потом...

— Есть, товарищ командир! — шутливо откозыряла девушка.

— Вообще не к чему... эти прогулки,— пробурчала вполголоса Натка.

Они шли по узкой, уже подсохшей за солнечные дни дороге. Месяц располнел за последние две ночи, он лил всё больше света на землю и застыл в небе, как человек, страдающий одышкой; поля теплом обдували тело; мириады кузнечиков трещали безостановочно и неутомимо, иные серыми ракетами взлетали из-под ног.

— Правда, соберёмся компанией в Чёмске! — болтала Маргарита.— С папкой моим познакомитесь. Знаете, какой у меня чудный папка?..

В голосе девушки прозвучали ласковые ноты:

— Виктор! А какой ваш отец? — спросила Маргарита и тут же воскликнула: — Погодите, не отвечайте, я сейчас его представлю... Он...— девушка зажмурилась и потрясла головой: — Он... такой же бука и сухарь, как вы!..

Толчком Виктора выбросило вперёд, и он почти побежал к деревне...

— Виктор! — раздался за ним крик.

Маргарита догнала его:

— Снова обиделись?.. Я, кажется, всё-таки стану перед вами на колени сегодня. Простите, ради бога...

Виктор обернулся.

— Мой отец,— отчеканил он,— погиб в тысяча девятьсот сорок втором году под Сталинградом, и я три дня назад узнал об этом...

Он опять ринулся к деревне, оставляя Маргариту позади...

— Виктор! — раздался новый крик, и такое в нём сквозило отчаяние, что Виктор невольно остановился.

...Губы Маргариты дрожали.

— В-виктор...— промолвила она. Глаза девушки, большие и тёмные, блестели в лунном свете.

Не только сочувствие, не только самое безграничное раскаяние, но и что-то очень смутившее его увидел вдруг Виктор в Маргаритиных тёмных глазах.

— Идёмте,— отрывисто сказал он и неожиданно для себя взял девушку под руку.

Они не проронили больше ни слова до самой деревни.

Возле строящейся школы склонились какие-то фигуры Виктор догадался, что это — плотники. Они собирали инструмент, направляясь домой.

Немного успокоившись, Виктор, чтобы показать, что он прощает Маргариту, вымолвил:

— У плотников — очень интересный бригадир, дед Куренок. Прямо — тема для очерка...

Он поискал деда и, не найдя, окликнул одного из плотников:

— Где Куренок?..

— Нет Куренка,— отвечал тот.— Простыл, занедужилось деду...

Бессмертие

А Куренок умирал...

Он очнулся среди ночи и отчётливо осознал — смерть пришла. И ничего не поделаешь, так и положено на земле — одни нарождаются, другие умирают, никому не миновать своего часа, как он ни старайся...

Ещё третьего дня, соснув часа два после ночной работы и не почувствовав после этого желанного облегчения, дед не то, что мысли о смерти,— мысли о болезни не допускал. «Заспался, что ли, голова гудёт?» Лишь к полудню, когда тело его покрылось нехорошей испариной, а в глазах поплыли красные круги, он согласился уйти с работы домой. Пришёл и велел старухе затоплять баню да достать из сундука «пол-литру» с белой головкой, ненароком сохранившуюся со дня встречи Бородина.

Но не помогло испытанное лекарство — двести граммов с перцем пополам, не помогла жарко натопленная баня, где трудно было дышать от густого пара, поднимавшегося из маленькой кадушки с водой, куда брошены были раскалённые добела куски железа и камни...

Старик лежал на постели в чистой рубахе, лицо его было покрыто капельками пота, в разгорячённой голове, как серые тучи по ясному небу, плыли одна за другой отрывочные мысли, воспоминания, заботы...

Он видел вдруг: плотники, не подогнав плинтусы, кладут их на пол и прибивают как попало, так что между ними и полом зияют щели в палец толщиной. Он вскакивал с постели и кричал на плотников:

— Плинтусы, язви вас, как кладёте?! Ослепли, что ль?.

— Лежи, какие тебе плинтусы? — тяжко вздыхала старуха, украдкой трогая краем передника уголки глаз.— Кваску, может, дать испить?..

Дед послушно укладывался, некоторое время бездумно смотрел на белую стену, потом тонкая трещина на стене уводила его взгляд к двери, к вешалке, где висел на длинном четырёхгранном гвозде старый Куренков кожан. Тело наливалось силой, без малого тридцать лет отлетало прочь, как сдунутый ветром листок с берёзы в роще под Чёмском, где красный партизан Куренок и его товарищи пробирались, выслеживая карательный отряд колчаковцев. Куренок поднимал берданку, целился, прищуря глаз, нажимал на спуск,— гремел выстрел, падал офицер в зо-

лотых погонах, а тело старика от толчка приклада взмётывалось с кровати:

— Так его, беляка!..

— Лежи! — чувствовал он на лбу загрубелую старухину руку.— Какие тебе беляки — нет их давно...

И верно — не было беляков, не было Колчака, а были... Всё плыло вниз, блестело лаком и никелированным металлом, сияющие круги огней рассыпались по мраморному дворцу...

— Метро! — толкала деда в бок Ольга Николаевна.

— Вот и метрополитен! — подтверждал муж её — весёлый эмтеэсовский тракторист.

— От штука! От тебе рабоче-крестьянское царство!..— глядел и не мог наглядеться на метро Куренок, а потом, спохватившись, озадаченно спрашивал тракториста:

— Так ты живой, поди-ка? Говорили, погиб — болтали, значит?

— Болтали, дед! — смеялся тракторист.— Никогда мы с тобой не помрём — порода такая...

Он хватал деда за руку, и чудом они перелетали в кипящее море красок, пёстрых одежд, воздушных построек, над которыми высились фигуры мужчины и женщины, устремлённые вперёд,— на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку...

Дед ходил в шумной толпе, слов не находя от восхищения, где-то возле казахского павильона он приметил в киоске шерстяную шаль, мягкую, почти невесомую,— от подарок старухе! Купил да и тут же загляделся на крутого барана, с твоего быка ростом,— к ним бы в колхоз такого!... Хватился,— а шали-то нет...

— Потерял-таки шаль! — стал шарить вокруг руками

— Лежи! — поправила на нём одеяло старуха.— Какая тебе шаль — в сундуке она...

Лишь к утру забылся дед в беспокойном сне. Но, когда очнулся, показалось, что дело идёт на поправку,— смог и позавтракать со старухиной помощью, и рыжего пса Полкана, забежавшего со двора, потрепал по загривку,— пёс улыбался и стучал хвостом по полу от восторга...

На предложение Бородина, зашедшего проведать старика, вызвать врача Куренок ответил категорическим отказом:

— Век прожил — докторов не знал!.. Болесть — штука хитрая, сразу не выгонишь... А мы её перехитрим — порода такая...

И прибавил смущённо:

— Уж извините, Константин Лукич, что лежу, лодырничаю...

— Какой разговор! — возмутился председатель.— Лежите до самого выздоровления... Глядите, может, позовём всё-таки врача?

— Век докторов не знал! — повторил дед и в самом хорошем настроении пролежал весь день.

Прислушивался к отдалённым звукам тракторных моторов — опять пошли оба комбайна, дело! Слышал перестук топоров — через неделю готова будет школа. А там, глядишь, и за клуб можно приниматься — досрочно, в счёт будущего года...

Прошёл грузовик — дед послал старуху узнать, кто прибыл.

— Девушки из Чёмска, на уборочную,— вернувшись, сообщила та.

— От хорошо! От спасибо, молодые! Помощники, право слово!..

А к вечеру болезнь схватила старика с новой силой. Сжала, скрутила, навалилась — дыхания не хватало. Не тучами поплыли мысли — рваными клочками понеслись, запутались, заметались... Затрещали плинтусы, опять не так уложенные плотниками, расщепились по всей длине под длинными четырёхгранными гвоздями, заплясали сверкающие огни, пёстрые краски выставки, оглушительно громыхнул выстрел...

Куренок очнулся и совершенно отчётливо осознал — пришла смерть. И ничего не поделаешь, так и положено на земле — одни нарождаются, другие умирают, никому не миновать своего часа, как он ни старайся...

Никому?..

Куренок беспокойно задвигался на постели.

— Чего тебе,— спросила заплаканная старуха, думая, что он всё ещё в бреду.— Лежи...

— Ничего,— ясным голосом ответил дед.— Такое дело — помираю, старая...

Старуха, охнув, всплеснула руками:

— Чего мелешь? Чего ворожишь, господи?.. Кваску вот на́...

— Помираю,— упрямо сказал дед и устремил неподвижный взор в стену.

Сверчок поёт, и завтра будет петь, а деду не слыхать больше сверчка...

Трактор гудит, и завтра будет гудеть, а деду не видеть больше трактора...

Трещинка, тонкая трещинка на стене привлекала стариково внимание. Замазать бы, заделать бы, да и весь дом ремонта требует...

О чём думаешь, старый? Один у тебя теперь дом...

Один?

Отчего-то вспомнилось деду, как давно, ещё в войну, ездил он со школьником из города за дровами. Как учил парнишку: «Берёзу выбирай посуше, гибнет которая Оно — и топить легче и лес сохраннее...» Как же имя тому парнишке?..

— Звать его... как? — хрипло выговорил дед.

— Кого? — плакала старуха.

— Парня того,— шевельнул рукою дед.

Выбрала, костлявая, старую берёзу! Выбрала берёзу, которой час пришёл!..

Но нет!..

Куренок опять беспокойно заворочался. Всхлипнув старуха бросилась к мужу:

— Лежи...

— Погоди, погоди,—остановил её дед. Он насторожённо вглядывался в тёмное окно...

Новая школа, не видать её сейчас, ночь... Вот-вот отделают, покрасят, и побегут туда детишки с сумками. Зашумит, оживёт новый дом и затихнет,— начались уроки. Не увидит этого дед, но кто строил школу? Он, Куренок..

Гидростанция стоит над Чёмкой. Тянутся от неё провода — к избам, к фермам, к токам. Кто плотину помогал делать, кто лес возил на столбы? Он, Куренок...

Поля, поля, без краю и конца, скот на лугах — не перечесть, машины всюду — каких не видел ещё никто.. Выросли детишки, хозяевами пришли на поля и луга, сели на машины. Жизнь у них — и не снилась никому такая. Кто им жизнь эту готовил? Он, Куренок...

Нет! Будет жить Куренок — в памяти людской, в том, что сделано им...

Напрягая все силы, старик поднялся на постели:

— Не помру! Порода не такая!..— крикнул он врагу

И медленно опустился обратно...

Одним хорошим человеком стало меньше на земле.

Что прочёл Виктор во взгляде Маргариты ночью по дороге в деревню? Что смутило его? Да нет!.. Ничего не было, всё это показалось ему, конечно. Просто девушка смутилась от своей бестактности. А сейчас, утром, она опять стала прежней...

— Вы с нами, равноправный член девичьей команды? — крикнула Маргарита Виктору.

— Нет, сегодня не смогу,— отрицательно мотнул он головой.— Дела...

Виктор отправился в контору. Необычно мрачный Бородин вёл с Филиппом Артемьевичем разговор о каких-то досках и кумаче и едва ответил на приветствие. Виктор присел в уголке, дожидаясь своей очереди. Но только председатель кончил с Филиппом Артемьевичем, Виктор увидел в окно, как к правлению подкатила щегольская лакированная тележка, в которую был запряжён сытый гнедой жеребец. Ошибиться было нельзя — Толоконников. Действительно,— открылась дверь, и заведующий райземотделом собственной персоной появился в комнате.

— Привет председателю! — бодро воскликнул он.

— Здравствуйте! — всё так же мрачно сказал Бородин.

Толоконников заметил Виктора:

— А, и пресса тут! Доброго здоровьица, товарищ корреспондент.

Внимание заведующего райзо удивило Виктора: видел всего один раз, мельком, а запомнил.

Толоконников обратился к Бородину:

— Докладывай обстановку...

Слушал и одобрительно кивал:

— Угу, понятно... так... Словом, дела на мази?.. К двадцать пятому план выполните? — удовлетворённо погладил Толоконников свои колючие усы.— Видно, что во главе боевой человек! Фронтовая закалка — великая вещь...

Толоконников достал из кожаной сумки пухлую записную книжку и, перелистнув её, сказал:

— У меня только одно замечание...Объехал сейчас твои владения — всё хорошо, не придерёшься, но сено, там, у Савкиного лога, ты малость пораскидал. Да и мелковаты стожки, как бы их ветром не разнесло...

— Верно! — удручённо согласился Бородин.— Немедленно переметаем... Чёрт его знает, как я упустил, думал ещё об этом. Сена там, правда, пустяки, но всё равно...

— Гляди! — шутливо погрозил ему пальцем Толоконников.— Хоть вы и передовики, хоть и сами с усами, а на районное руководство рукой не машите — оно кое-что подскажет...

— Я разве когда-нибудь это отрицал? — вскинулся председатель.

— Ну-ну, шучу... Константин Лукич,— спохватился Толоконников,— коли уже речь зашла о сене, у меня к тебе такое дельце...

Он оглянулся на Виктора, что-то быстро оценивая в уме, потом, как бы ответив сам себе, кивнул и повернулся к председателю:

— Просила ходатайствовать перед тобой МТС... Насчёт сена. Люди, тебе известно, они рабочие, о личном хозяйстве подумать некогда, зима нынче будет нелёгкая... Одним словом, продай им центнеров с полста — у тебя ведь излишки. Можно как раз вот это — у Савкиного лога, с твоих плеч забота долой, и им возить два шага...

Бородин постукал пальцами по столу.

— Так как же? — спросил Толоконников.

— Подумаем,— уклончиво ответил председатель.— Ещё что у вас?

— Ещё...—Толоконников опять бросил быстрый взгляд на Виктора и лёгким кивком ответил на свой собственный вопрос.— Есть и ещё... Относительно той же МТС. Люди они рабочие, нуждаются в поддержке... Что у вас на будущий год по севообороту засевается на Малинкиной гриве?

— Клевер.

— Сколько?

— Восемьдесят га...

— У-у! — поднял брови Толоконников.— Размах у тебя, прямо скажем, генеральский, хоть ты и подполковник... Ну, при таких масштабах ты мелочиться не будешь... Короче говоря — малую толику секанём?..

Толоконников ребром ладони срезал угол стола:

— Пять гектаров?

— Зачем? — насторожился Бородин.

— Под индивидуальные огороды для работников МТС...

— Ни в коем случае!

Толоконников поморщился:

— Да ты знаешь, как остро стоит вопрос об индивидуальных огородах?

Он повернулся к Виктору, ища поддержки. Тот, соглашаясь, опустил веки: действительно, газета много писала о развитии индивидуального огородничества.

— Но не за счёт колхозных земель,— сказал Бородин.

— Так ведь о чём речь? О пяти гектарах. Пять,— Толоконников растопырил пальцы на одной руке.— Ты понимаешь, всего пять гектаров. Столько же дают твои соседи — они без разговоров согласились. МТС — большое подспорье, а вам это — тьфу, при ваших тысячных площадях.

— Общественная собственность — не отрежем ни сотки. Поведение соседей не одобряю...

— А! — крякнул Толоконников.— Хороший ты мужик, но есть в тебе эта чёрточка — формализм... Колхозная земля, общественная собственность,— воздел он руки к потолку и рывком опустил их: — Приземистая позиция!

Бородин поднялся из-за стола и, открыв шкаф, достал оттуда большую папку с золотыми буквами на обложке. «Акт о передаче земли в вечное пользование...» — успел прочитать Виктор.

Председатель молча протянул акт Толоконникову. Тот досадливо отмахнулся:

— Приземистая позиция, повторяю... Глядишь со своего председательского пня, дальше носа не видишь. Поднимись выше, на районную гору, на государственные высоты!.. Для кого стараются в МТС — для себя? Для вас — вот вы о них и заботьтесь...

— Демагогия! — бросил Бородин.— Вот государственная позиция,— он потряс актом, укладывая его на место.

— С тобой говорить — котёл каши прежде надо съесть! — расстроенно произнёс Толоконников.— Ну, шут с тобой, это дело терпит, как-нибудь тебе докажем, полагаю... А о сене распоряжайся-ка сейчас.

— Подумаем.

Толоконников вскипел:

— Тебе что — год надо думать?.. Бери бумагу и пиши — могу продиктовать, если тебе два слова связать не под силу: «Продать пятьдесят центнеров сена...»

— Вопрос о сене будет обсуждать правление,— сказал Бородин.

Толоконников окончательно вышел из себя.

— Бюрократ! Ещё Устав сельскохозяйственной артели приплети! — загремел он.— Не член партии, а... а..

Бородин изменился в лице.

— Товарищ заведующий райземотделом! — процедил он.— Партийности моей прошу не задевать. От линии партии я никогда не отступал...

— По-твоему, я, что ли, отступаю? — Виктору показалось, что усы Толоконникова встали, как иголки у ежа. Но тут же Толоконников сменил тон.— Пойми, горячая голова, что...— он на мгновение обернулся к Виктору: — Это, конечно, сугубо между нами, товарищ корреспондент...

Толоконников говорил размеренно, словно читая лекцию:

— Снабжение работников МТС — первостепенное дело. Я об этом даже в газету собирался писать, помните? — опять обратился он к Виктору.

Тот кивнул, припоминая разговор у райисполкома.

— По-моему, самое первостепенное — позаботиться об интересах государства,— заметил Бородин.— А от этого, между прочим, будет зависеть и снабжение механизаторов...

— Хорошо, перестанем спорить,— махнул рукой Толоконников.— Я о другом... Сено продать всё-таки можно — ты согласен? А во что выльются эти правленческие словопрения? Выльются в то, что какой-нибудь кулачок в душе возьмёт да и ляпнет: неча на сторону сенцо сбагривать! И ещё базу подведёт: страховой, мол, запас кормов нужен... Собьёт всех с толку, вызовет нехорошие суждения... А у тебя в правлении есть такие людишки старой формации. Например, дед этот, как его, птичья такая фамилия... Утенóк?

— Куренок? — подсказал Виктор.

— Да, да, он самый... Человек — целиком из прошлого...

— Вы .. отдаёте отчёт в своих словах? — с запинкой спросил Бородин.

— Ещё бы не отдаю... Помню, как он взъелся на меня однажды, когда я уполномоченным райкома был здесь, в войну. Не распоряжайся, мол, у нас для этого пред-

седатель есть — это уполномоченному-то!... Явный кулак...

— Вон! — тихо сказал Бородин.

— Что? — опешил Толоконников.

— Я сказал: вон отсюда!

— Ну, это слишком... Ты шутишь или... Ты эти командирские замашки брось!..— растерянно заговорил Толоконников.

— Я в третий раз повторяю: пошёл вон! — грохнул кулаком о стол Бородин.

— Ладно! — ринулся к двери Толоконников.— Теперь у нас один с тобой разговор — в райкоме...

Он рванул ремешки сумки, зацепившиеся за дверную ручку:

— Вкатим за милую душу!.. Не поглядим на фронтовые заслуги...

Сапоги Толоконникова загремели по крыльцу, и через полминуты лакированная тележка запылила по дороге.

Виктор сидел, испытывая то неприятное чувство, которое всегда остаётся после скандала, даже если ты и не был прямым его участником. Бородин прошёлся по комнате.

— Чёрт! Нервы! — произнёс он и пояснил Виктору: — Это — после контузии...

Он поглядел в окно в ту сторону, куда уехал Толоконников, и вдруг пристукнул костяшками пальцев по подоконнику:

— Вот он — один из тех больных вопросов, о которых я вам говорил в день вашего приезда!.. Вот где нужна помощь газеты!.. Захребетники! Хищники! Против них направьте удар — они мешают нам двигаться вперёд, не будь их — насколько лучше и легче шла бы работа... Откуда они берутся только? Давно знаю Толоконникова — был хороший парень и дельный работник... и вот... Закабинетился, оторвался от народа, боится народа! Привык считать себя богом — это же и есть то самое, капиталистическое! Это диверсией идёт к нам оттуда...— Бородин махнул рукой куда-то в пространство.

Он вспомнил:

— Между прочим, печальная новость — сегодня ночью скончался товарищ Куренок. Очень виню себя — послушался его, не вызвал врача... М-да...

Так вот отчего так вспылил Бородин! Вот о каких досках и материи шёл разговор до приезда Толоконникова... Умер Куренок! Виктор пытался представить старика мёртвым и не мог. Старик сидел с ним рядом и, дымя цыгаркой, говорил:

— Великое дело компания, коллектив по-нонешнему..

Уйдя от Бородина, Виктор отыскал за деревней небольшую рощицу и присел под деревом, чтобы тщательно всё обдумать и твёрдо всё решить. Сцена, разыгравшаяся в кабинете председателя колхоза, заслуживала внимания журналиста — несомненно. Но с какой точки зрения? Кто был прав? Конечно, симпатии Виктора целиком были на стороне Бородина. Но это был его личный, субъективный взгляд. Взвесить, сравнить шансы обеих сторон, дать объективную оценку — вот чего хотел Виктор.

Итак, Бородин... Он не согласился отдать эти пять гектаров, он ссылался на то, что нельзя разбазаривать колхозные земли,— всё правильно. Бородин не стал решать вопрос о сене единолично — тоже правильно, колхоз не вотчина председателя, хозяева его — все колхозники. Бородин говорит, что проводит линию партии,— всё как будто подтверждает это.

Толоконников... В сторону то, что может повлиять на беспристрастность решения,— и льстящее Виктору внимание заведующего райзо (в конце концов он не просто посетитель, а работник областной газеты), и неуместное замечание о Куренке (Толоконников ведь не знал о его смерти). Что же остаётся? Толоконников заботится о механизаторах, которые так помогают колхозу. Правильно это? Правильно... Толоконников говорит, что в иных случаях надо поступиться формальностями. Верно ли это? Конечно, верно... Толоконников опасается, что разговор о сене на правлении может вызвать нехороший отзвук (откуда это выражение — «нехороший отзвук?» — подумал Виктор и вспомнил — так сказал Малинин, беседуя с Ковалёвым). Что же, Толоконников прав и тут: голос одного человека, заботящегося только о себе,— не Куренка, конечно, Толоконников вообще, наверное, плохо его знал, но какого-то другого,— мог решить всё не так, как это действительно было нужно для дела. .

Чаши весов оставались в равновесии. Правы были обе стороны.

Виктор сорвал травинку и стал жевать её мясистый стебель. Сок травы был безвкусный, ни кислый, ни сладкий,— так сказать, нейтральный, какими оставались и мысли Виктора...

И главное, оба они, Толоконников и Бородин, были уверены в своей правоте. Оба с одинаковой горячностью доказывали друг другу совершенно противоположные вещи.

Виктор бросил разжёванный стебелёк, сорвал новый и вдруг стал отплёвываться: так едок был сок новой травинки. И таким же едучим соком ворвалась новая мысль...

В том-то и дело, что Толоконников ни в чём не был уверен! В том-то и дело, что он просто боялся!..

«Оторвался от народа, боится народа»,— сказал о нём Бородин. Именно так — Толоконников боялся советоваться с людьми — с Куренком, с другими колхозниками. А разве партия боялась когда-нибудь этого?. Можно было найти десятки самых ярких примеров в прошлом, но зачем было далеко ходить, когда два дня назад Виктор сам был свидетелем одного, пусть в общем и не так большого, но выразительного примера... Разве Ольга Николаевна побоялась привести на суд комсомольцев родного сына? Разве она не советовалась с ними, как поступить с Павлом? А ведь она могла сделать всё втихомолку, и Павел, наверное, меньше бы пострадал...

А Толоконников страшился обсуждения. И не потому, что мог помешать какой-то чуждый человек,— смешно было думать, что один голос сбил бы всех с правильного пути. А потому, что он был неправ, потому, что общее решение почти наверняка пошло бы вразрез с тем, чего добивался Толоконников.

Сено? Излишки его были необходимы колхозу, потому что росло стадо...

Земля? Она входила в севооборот, о котором Бородин сказал: «Революция в полеводстве...»

Сено, земля — всё это было частицами пятилетнего плана, программы жизни колхоза. И люди смели бы всякого, кто попытался бы — вольно или невольно — помешать выполнить эту программу...

Вот почему боялся Толоконников!

Виктор прилёг на траву и раскрыл блокнот.

Всё было ясно, и никакие личные отношения не повлияли на оценку событий...

Ковалёв, записав по телефону корреспонденцию Виктора, заметил:

— Вот это — правильно!

— Но, правда, не касается хлебозаготовок,— оговорился Виктор.

— Ничего, одно за другое цепляется... Даю в набор,— сказал Ковалёв.

Ошибка

Редактор районной газеты Малинин ещё раз перечитал заметку «Из последней почты» в свежем номере областной газеты. Он взглянул на стол у дверей, над которым пришпиленная кнопками висела уже пожелтевшая бумажка с надписью: «Выездная редакция здесь». Стол был пуст: Ковалёв отправился куда-то по делам... Автор заметки, конечно, он. Но Малинин не испытывал особой неприязни к Ковалёву. Он безропотно принял удар — так и надо, Ковалёв областной, а он, Малинин, районный, Ковалёв вроде бы начальство, а он, Малинин... Другое гораздо больше волновало сейчас Малинина. Как догадались эти областные — и Ковалёв, и второй, Тихонов, который едва ходить начинал, когда Малинин уже работал в газете? Как угадали они раньше других то, что теперь стало совершенно ясно в длинных столбцах постановления? Как умеют они отыскать верный путь и не впасть в ошибку?..

— Ошибка! По-ли-ти-чес-ка-я ошибка...

Ещё мальчишкой Малинин залез как-то на высокую сосну. Тонкая вершина уже качалась, сучья гнулись, а он упрямо лез вверх, мечтая достать рукой до единственной щётки хвои на самом конце дерева. Вдруг громко треснуло, земля опрокинулась набок, колючая ветка больно хлестнула его по щеке... Всё обошлось благополучно: он успел задержаться на толстых нижних сучьях. Но с тех пор Малинин испытывал болезненный страх перед высотой. Когда поезд проезжал по мосту над рекой, он не смотрел в окно: его мутило от вида бездны, разверзшейся внизу. Стоя на балконе большого дома, он до боли стискивал руки на перилах.

Нечто подобное ощущал Малинин и при мысли о возможной ошибке в своей газете.

Ошибка подстерегала всюду: в неточном обороте речи, в не на месте поставленном знаке препинания, в перепутанной подписи под фотографией... Малинин сам тщательно перечитывал газету, не доверяя корректору, иногда уже ночью вскакивал с постели и бежал в типографию весь в поту: ему казалось, что в заголовке передовой осталась опечатка, имеющая нехороший смысл,— убедившись, что это не так, он всё-таки лишний раз просматривал всю статью.

Но беда была в том, что ошибки, и более грозные, могли таиться в другом — в постановке кардинальных вопросов, острых тем. А их требовали, этих вопросов и тем, их постоянно требовали от редактора...

Давно, ещё во время коллективизации, он, как ему казалось тогда, поднимал острые темы. «Обобществить весь мелкий скот и домашнюю птицу!», «Ударить по единоличнику — вот наша задача!» — кричали заголовки его статей. А потом появилась статья Сталина о головокружении от успехов...

С того времени Малинин сжался и увял. Бурное море острых тем было не по нему: пусть этим занимаются другие, пусть бросаются в кипящие волны, если им не дорого собственное спокойствие.

И они бросались, они даже Малинина пытались увлечь за собой. Корреспондент областной газеты Осокин предлагал ему соавторство в статье о хищениях в совхозах. Статья должна была ударить по людям не только районного, но и областного масштаба и даже по одному человеку из Москвы. Малинин ощутил дрожь в теле от этого предложения. Он передал Осокину все известные ему факты о хищениях, но от соавторства открестился начисто... Потом начался так называемый «осокинский процесс», на котором корреспондента областной газеты обвиняли в клевете. Малинин сто раз на дню благодарил судьбу за то, что во-время отказался от опасного предложения. Он боялся теперь одного — чтобы Осокин случайно не проговорился на суде, что часть фактов взята им у Малинина. А потом ход процесса круто изменился — сами обвинители сели на скамью подсудимых. Малинин ощутил некоторую досаду — ведь и он мог вместе с Осокиным стать разоблачителем шайки. Но тут же

утешил себя: очевидно, Осокин был человеком иного, широкого полёта, ему и карты в руки. А он, Малинин, что ж, он районный...

Так и жил Малинин. Переходил из редакции в редакцию — то сотрудником, то ответственным секретарём. Годы бежали, стаж журналистской работы накапливался. Общее мнение о Малинине было: «Звёзд с неба не хватает, а так... ничего...» И когда с началом войны много журналистов ушло в армию, Малинина назначили редактором районной газеты в Чёмске: кадров не хватало.

Всё было бы хорошо — испытанные, проверенные заголовки, передовые, которые он мог продиктовать, хоть разбуди его среди ночи,— только пропуски бы оставил, чтобы позднее вставить факты. Но эти острые темы, которых всё время требовали от редактора, нарушали его покой.

Легко было в праздники — статьи, присланные из Москвы, юбилейные заметки, и никто не требовал критики, бичевания недостатков,— следи только, чтобы не было опечаток.

Легко было после выхода постановлений — центральных или из области; день выхода их являлся как бы личным праздником Малинина. Становилось просто и ясно, пункт за пунктом в постановлении было расписано всё, за что и с чем должна была бороться газета.

Но были периоды без постановлений, самые трудные и беспокойные, потому что темы приходилось искать самому.

Фельетон на подвал о грубияне продавце? Он писал такой фельетон, цитировал Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова, и сам фельетон назывался «Унтер Торгашеев». Он смаковал острые фразы — сатира!

А ему говорили — зубоскальство и мелко. Копнуть бы глубже...

Он старался копнуть поглубже. Писал статью о плохом состоянии дорог, критиковал, невзирая на лица, но и не сгущая красок, цитировал «Правду», «Известия» и областную газету.

А ему говорили — тема большая, но сглажены углы... Сглажены? Не мог же он добираться до самого председателя райисполкома...

Малинин метался в этом замкнутом кругу. Порой приходило желание: бросить всё и искать тихую, спо-

койную работу, где бы его никто не беспокоил и он никого. Но намерение это тут же исчезало: журналистика была его профессией, к которой он привык.

Он искал других путей. И находил,— чего не найдёшь при острой нужде...

Он успевал во время заседания бюро райкома написать статью на обсуждаемую тему и переслать её в типографию, так что наутро она появлялась в газете.

И тогда говорили — ого, газета живо откликается на злободневные события!..

Он копался в материалах судебных процессов и беспощадно бичевал уже осуждённых преступников,— ведь мало кто знал, что они уже осуждены.

И тогда говорили — ого, газета начинает разоблачать!..

Малинин расцветал от похвал, почва твёрже становилась под его ногами. Все эти апробированные материалы вытесняли другие, неапробированные,— письма, которые шли в редакцию и заставляли редактора мучиться в сомнениях: дать или не дать, не будет ли ошибки?..

Так и жил Малинин. Бежали годы, рос его редакторский стаж. Рос бы и дальше, если бы...

Малинин перечитал заголовок заметки в областной газете: «Редактор — покровитель нарушителей Устава».

Он — покровитель? Нет! Он просто районный. Он... тот, кто «звёзд с неба не хватает». Мог ли он знать, что будет это постановление? А они как-то догадались, както почувствовали, они, областные...

У него была раньше мимолётная мысль: напечатать письмо о жеребце, забранном Толоконниковым в колхозе. Но знакомое ощущение высоты сразу перебило её. А когда он прочёл в листовке выездной редакции статью, критикующую заведующего райзо, как нарушителя Устава сельхозартели, он усмехнулся в душе: что же, заваривайте кашу, вам виднее...

И что же, через два дня, всего через два дня, появилось это... Едва Малинин пробежал тогда заголовок: «О мерах по ликвидации нарушений Устава...», он почувствовал прилив энергии. Теперь — держись, Толоконников! Малинин был вооружён теперь — пунктами, параграфами, точным расписанием всего, что должен был делать. Он полез в стол и долго перебирал старые папки, так что Ковалёв заметил наконец: «Ну, распустил пыли-

щу! Годовой отчёт, что ли, составляешь?» Он нашёл письмо о жеребце — из сомнительного оно превратилось теперь в апробированное. Он дал его в газете жирным шрифтом. Он захватил этот номер, собираясь сегодня на бюро райкома, где слушался вопрос о Толоконникове,— письмо было козырем редактора.

И вот — маленькая заметка «Из последней почты» в областной газете. «Только после опубликования постановления редактор решился напечатать...»

Но кто же мог знать?.. Ковалёв — вот кто... Да, он знал! Даже намекнул однажды: «Не проморгал ли ты чего в этой истории с сивым мерином?» Знал и молчал...

С шумом вошёл Ковалёв. Мурлыкая песенку, стал собирать со стола какие-то бумаги. Малинин из-под приспущенных век следил за ним. Ковалёв заметил это.

— Сердишься? — спросил он.

— Нет... Почему?..— криво усмехнулся Малинин.— Критика — я понимаю...

Он вдруг вскочил и, подойдя к Ковалёву, понизил голос до полушёпота:

— Не обо мне речь... Скажи, положа руку на сердце, ведь знал ты раньше?

— О чём? — недоуменно взглянул на него Ковалёв.

— О постановлении.

— Вот тебе раз — вместе же с тобой читали.

— Нет, раньше! Иначе — как же вы... подгадали?

Ковалёв опять недоуменно взглянул на Малинина и, поняв, расхохотался.

— Вопрос твой прямо гамлетовский,— посерьёзнев, сказал он.— Теперь мне твоя беда ясна. Ты, брат, всё время в обратную сторону шёл и пришёл... сам знаешь, куда. Ждал постановлений и не догадывался, откуда они берутся! Не сами собой они берутся, от нас они идут, от народа — простое же дело!.. А знать заранее,— Ковалёв рассмеялся.— Что у меня — с Москвой прямой провод?

— Как думаешь... снимут? — спросил Малинин.

— Кого — Толоконникова?

— Нет... меня...

— Простое дело,— сказал Леонид и пристально посмотрел на Малинина.— А ты — чудак! Большую ты совершил ошибку...

— Ошибку? — вздрогнул тот.

— Ну да, в жизни... Кой чёрт тебя дёрнул пойти в газету — давно хотел тебя спросить. Ты же любишь тишину, покой — шёл бы себе в архивариусы или, того лучше, в музей. А ты — в газету! Самая ж беспокойная профессия на свете...

Ковалёв стал накручивать ручку старинного, похожего на полированный шкафчик телефона:

— Станция, станция, заснула, что ли?.. «Красное знамя» мне. Ко-олхо-оз?.. Кто говорит?.. Привет, товарищ парторг! Там моего Тихонова поблизости нет?.. Тогда у меня большая к вам просьба, Ольга Николаевна. Передайте ему, чтобы срочно выезжал в Чёмск. Скажите, редакция отправляется в другой район...

Расставание

Виктор встал и тихо, стараясь не помешать Ольге Николаевне, взял с полочки книгу, которая привлекла его внимание ещё в день приезда,— потрёпанный томик записок Миклухо-Маклая. Но женщина, заслышав шелест страниц, всё же оторвалась от бумаг.

— Миклуха?..— чуть улыбнулась она.— Любимая книга у Павла. Подарил ему её школьник из города, был у нас в войну, Серёжа Иванов, может быть, случайно знаете?

— Иванов? — оживился Виктор.— Знаю, как раз Сергея.

— Ваших лет...

— Да-да! Он сейчас учится в строительном институте...

— В строительном? Нет, вроде не получается. Сергей, помнится, Паня рассказывал, собирался учиться на режиссёра.

— Тогда — не тот,— пожал плечами Виктор.

— А с книжкой этой так было. Прочёл её Паня — и всех одолел. Надо, говорит, у папуасов колхоз устроить. Вон они какие хорошие да работящие. Их только капиталисты гнетут, надо им на всё глаза раскрыть... Я даже присматривать стала: не сбежал бы в Новую Гвинею. С ним бы сталось!

Ольга Николаевна опять улыбнулась:

— А то ещё лучше, знаете,— тоже из-за книжки.

Гляжу — мой парень старую жесть собирает, на кузнице увивается, болтики выпрашивает, мастерит что-то. Ну, я не вмешиваюсь,— мастери, это хоть не в Новую Гвинею. Потом, на тебе — поймала! Растрясает патроны от отцовской двустволки. Я — ему: «Ты что, с ума сошёл, такой-сякой? С чем балуешься?» Молчит. «Лучше отвечай, не то не знаю, что с тобой сделаю!» Молчит. «В последний раз спрашиваю, какую ты гадость задумал?» Тут он обиделся. «Не гадость,— говорит,— это, а ракета для межпланетных сообщений!» И показывает мне книгу Циолковского, откуда он чертежи для ракеты взял. Я только руками развела. Теперь, выходит, не в Новую Гвинею, а вообще неизвестно куда собрался! «Ты что же,— спрашиваю,— сам хочешь лететь?» «Нет,— Паня — мне,— это ещё пока модель, человека она поднять не сможет. Я туда Михаила посажу». Михаил, знаете,— кот наш. «Да как тебе,— говорю,— не стыдно так над животным издеваться?» А у него вдруг сразу вид такой учёный: «Никакая, мам, опасность коту в полёте не угрожает, расчёты точные. А чтобы не умер от голода, будет снабжён запасами продовольствия и воды».

Ольга Николаевна безудержно расхохоталась, и Виктор тоже рассмеялся, заражаясь её весельем.

— Ой, какой бедовый, какой фантазёр был! — отёрла женщина проступившие слёзы, а потом задумчиво стала накручивать на палец прядь тёмных, с ниточками седины волос.— Что — был? И сейчас фантазёр. И это очень, очень неплохо. Но...

Она замолчала, и Виктор так и не дождался окончания фразы. Он взглянул на часы с циферблатом из толстого стекла:

— Мне, наверное, пора уже итти...

— А? Да, время,— встрепенулась женщина.— Значит, давайте прямо на стан, там и найдёте возчиков. Павел тоже с ними. И... вот что,— она откинула прядь волос за ухо.— Езжайте с ним. Именно на его подводе. Вы виделись с ним после собрания?

— Да нет, как-то не приходилось. Ночью он на работе, а днём — или я в поле, или нет его где-то...

— В этом и дело. И ни с кем он старается не встречаться, даже с Катей. Только разве на работе. Стыдится, болеет всей душой,— гордый он. Но езжайте с ним, понимаете?

— Так,— напряжённо кивнул Виктор.

— Дорога длинная, времени хватит. Поговорите обо всём. И обязательно о том, что ошибка дело дурное, а откалываться от всех — ещё бо́льшая ошибка. Вам легче других, потому что...— Ольга Николаевна помолчала, отыскивая выражение поделикатнее,— потому что к этому делу вы имеете некоторое отношение.

— Хорошо, товарищ парторг!

Сейчас Виктор мог назвать её только так, а не просто по имени.

— Ну, желаю успехов в работе! — протянула ему руку Ольга Николаевна. И спохватилась: — А вы хорошо поужинали? Может, ещё немножко? Давайте, я быстро всё сделаю...

— Что вы, не могу, некуда!

— Счастливого пути! — снова пожала руку Виктора Ольга Николаевна и, задержав её в своей, добавила: — А о том — не печальтесь. Мало ли бывает совпадений.

Виктор понял, что это — об отце...

Вечер был тёмный, звёзды спрятались за тучами,— возвращались дожди. Виктор пожалел,— эх, ещё бы немного, ведь всё так хорошо наладилось в эти недолгие тёплые дни! Совсем немного,— и колхоз выполнил бы свой план. Да он и так, конечно, выполнит, но как, наверное, радостно нагрузить и отправить последнюю подводу с хлебом погожим, солнечным, а не слякотным и хмурым утром, когда по лужам скачут капли дождя и влага пробирается через набухшую одежду до самой кожи. А впрочем... Может быть, это ещё радостнее,— вот, победа, несмотря ни на что...

От школы, как и в каждый вечер, расходились плотники. Они представлялись во мраке неясными фигурами. И Виктор на мгновенье приостановился от мелькнувшей в голове сумасбродной мысли — вдруг вот сейчас среди этих людей покажется и знакомая фигура старика в потёртом кожане. Но тут же, рассердившись на себя, быстрее зашагал вперёд. Чтобы отогнать грустные воспоминания, он старался перестроиться на сугубо деловой лад. Успеют ли плотники без прежнего бригадира закончить школу в срок? И одним мастером меньше, и, что ни говори, ведь Куренок был для бригады самым лучшим руководителем. А поверх этих деловых рассуждений на-

кладывалось совсем другое: «Так и не дождался дед! Эх, ещё бы немного. Хоть бы взглянул, как в первый раз придут в школу ученики...»

Виктор снова мысленно прикрикнул на себя: хватит хныкать! Ну, верно, хороший был человек дед Куренок, так что же теперь делать! И к чему ему, Виктору, так детально копаться в будничных делах этого колхоза, одного только колхоза? Виктор вспомнил карту области в кабинете Осокина, всю усеянную кружками населённых пунктов. Сколько колхозов в области? Тысяча? Или больше? Через несколько часов он будет за два с лишним десятка километров от колхоза «Красное знамя», а завтра ещё дальше, в другом районе. И там будут другие дела, другие колхозы, к чему же столько думать об этом, этот — лишь небольшой и уже пройденный этап его работы.

Но тут же Виктор понял — нет, он не забудет, долго не забудет людей, которых он узнал в этом колхозе, и всё, что произошло с ним за каких-нибудь десять дней. Или... Неужели только за неделю? Он пересчитал по пальцам. Да, всего за неделю. А он долго ещё будет жить интересами тех, с кем расстаётся, думать об их делах так же, как они сами. Почему это? И почему никогда не писалось ему так легко, как здесь, хотя он уставал, изматывался физически? Ответ возник сам собой,— потому что он всё увидел своими глазами, всё ощутил своими руками. Одно — сидя в мягком кресле, слушать рассказ геолога о трудной экспедиции. И совсем другое — самому в этом колхозе... ну, покрутить хотя бы рукоятку веялки. Экспедиция — это, конечно, в сто крат интереснее, и всё-таки сейчас — Виктор чувствовал — он лучше напишет именно о работе на веялке...

На току Виктору сказали, что возчики отдыхают в избушке. Виктор направился туда. Дверь избушки была открыта настежь, и одинокий девичий голос доносился изнутри:

— «...А в это время их дети проходили самые последние и самые страшные из испытаний, выпавших на их долю.

Земнухов, покачиваясь, стоял перед майстером Брюкнером, кровь текла по лицу его, голова бессильно клонилась, но Ваня всё время старался поднять её и всё-таки поднял...»

023—1

Виктор догадался: Катерина читает «Молодую гвардию». Чтобы не мешать, он остановился на пороге. Вся молодёжь была в сборе, не было одного Павла, того самого Павла, который с жаром говорил Виктору о «Молодой гвардии»!

Девушка читала:

— «...Что, не можете?..— сказал он.— Не можете... Столько стран захватили... Отказались от чести, совести... а не можете... сил у вас нет...

И он засмеялся.

Поздним вечером двое немецких солдат внесли в камеру Улю с запрокинутым бледным лицом и волочащимися по полу косами и швырнули к стене.

Уля, застонав, перевернулась на живот.

— Лилечка...— сказала она старшей Иванихиной.— Подыми мне кофточку, жжёт...»

Странно,— Виктор хорошо знал роман, и читала Катерина далеко не блестяще — куда там! — запиналась иногда, сбивалась. И всё-таки Виктор почувствовал какое-то особенное волнение. Его породила та обстановка, в которой происходило чтение,— маленькая избушка, освещённая керосиновой лампой,— слушатели в рабочей одежде, на лицах которых отражалось всё, о чём читала Катерина,— гордость за несгибаемого Ваню Земнухова, боль за измученную Улю. Образы романа неожиданно превратились для Виктора в реальность,— Ваня мог быть похож на парнишку из второй бригады, крепко стиснувшего зубы во время чтения и сжавшего в руках кнутовище так, что, казалось, оно вот-вот переломится. И Уля,— почему ей обязательно было быть высокой, темноволосой, разве маленькая, светловолосая Катерина не могла стать такой, как она?...

— «Лиля, сама едва двигавшаяся, но до самой последней минуты ходившая за своими подругами, как няня, осторожно завернула к подмышкам набухшую от крови кофточку, в ужасе отпрянула и заплакала: на спине Ули, окровавленная, горела пятиконечная звезда...»

Катерина вдруг замолчала, быстро закусила палец и словно оцепенела. Вздох, похожий на всхлипывание, донёсся из темноты, почти рядом с Виктором. От неожиданности Виктор вздрогнул. Он повернулся и лишь сейчас заметил: скрытый в тени, прислонившись к бревенчатой стене, стоял возле двери и Павел.

Слушатели терпеливо переждали паузу. Катерина снова взялась за книгу:

— «Никогда, пока не сойдёт в могилу последнее из этих поколений, никогда жители Краснодона не забудут этой ночи...»

— Э-гей! — раздался громкий крик с тока.— Возчики, кончай отдых! Запрягать!

Избушка сразу наполнилась гомоном. Загрохотали отодвигаемые скамейки, зазвенели уздечки в руках возчиков. Павел, ссутулившись, уже быстро шёл к току. Виктор с трудом нагнал его:

— Здоро́во, Павел!..

— Здравствуйте,— не глядя, буркнул парень и ещё больше, показалось Виктору, втянул голову в плечи.

— В Чёмск сейчас? — Виктор задал этот лишний вопрос только потому, что не знал, как начать разговор.

— Угу,— попрежнему несловоохотливо ответил Павел

— Я вот тоже в Чёмск, вызывают...

Павел неопределённо хмыкнул.

— С тобой можно поехать? — спросил Виктор.

— А что — других возчиков нет? — насторожённо обернулся парень.

Виктор на мгновенье смешался:

— Других? Ну.., если не хочешь, чтоб я с тобой, пойду к другим...

Павел помолчал.

— Почему — не хочу?.. Я так просто. Только...— Павел отвернулся, и в голосе его Виктору почудились нотки надежды на то, что Виктор всё-таки откажется.— Только ехать-то не придётся, лошади гружёные, вещи разве что положить... А так — всю дорогу пешком за подводой...

— Я о том и говорю, чтобы вещи только положить,— решительно сказал Виктор, хотя раньше имел в виду не одно это.

Павел запряг лошадей, сурово покрикивая на них и рывками затягивая супони, затем стал грузить зерно. Когда, сгибаясь под тяжестью мешка, он подошёл к телеге, Виктор отставил в сторону свой чемодан:

— Давай помогу...

Резким движением плеча Павел бросил мешок в телегу и с неожиданной дрожью в голосе проговорил:

— Я сам! Ясно? Без помощников...— потом шумно вздохнул, как всхлипнул, и уже другим тоном добавил: — Нечего помогать, в первый раз мне, что ли?..

Поскрипывая колёсами, подводы выезжали на дорогу. Виктор сунул чемодан где-то между двумя мешками и тут вспомнил о Маргарите: неудобно уезжать, не попрощавшись. Попросить Павла задержаться на минуту? Но, взглянув на каменное лицо парня, Виктор отказался от своего намерения.

Лошади тяжело ступали по дороге. С передних подвод доносился негромкий говор возчиков; Павел упорно хранил молчание. Пробежал ветер, бросил в лицо Виктора одну каплю дождя, другую... Виктор в последний раз оглянулся на деревню,— в сумрачной темноте ненастной ночи она казалась уже горсткой огоньков,— колеблющихся, мерцающих, затухающих. Обоз поднялся на бугор, и — лошади зашагали быстрее. Огоньки качнулись, а затем исчезли, скрывшись за неровною тёмною линией горизонта...

Павел легко вскочил на подводу.

— Садитесь,— впервые после отъезда заговорил он.— На спуске можно...

Виктор присел на подводу. И опять Павел замолчал. Виктор подумал о совете Ольги Николаевны — поговорить о том, о сём, дорога длинная. Поговори, когда слова из него не выдавишь! А поговорить нужно было, обязательно, и не только потому, что это советовала Ольга Николаевна. Какую-то тяжесть на душе ощущал Виктор при виде замкнувшегося в себе парня,— не просто угрызения совести, но именно тяжесть... Нет, нельзя было распрощаться с Павлом — и всё, надо было внести полную ясность. И без всяких обходных путей! Прямо!..

Виктор посмотрел на Павла. Тот кончиком бича чертил что-то на мешке и — а может быть, Виктору это только показалось в темноте — шептал что-то одними губами.

— Подвёл я тебя, Павел,— сказал Виктор,— очень подвёл. Ты прости, виноват я перед тобою...

Павел, не отвечая, продолжал чертить бичом на мешке. Вдруг он подскочил:

— Получится! Всё понял!..

На глазах Виктора произошло мгновенное превращение. Вместо угрюмого и замкнутого, рядом с ним опять

сидел живой, словоохотливый Павел, такой, каким он был тогда, на машине.

— Будет как надо! — восторженно выкрикнул Павел.— Что нужно сделать? А вот что...

Павел принялся было снова строить на мешке одному ему понятные чертежи, но махнул рукой:

— Тут не покажешь... А толк будет! Как я промазал тогда!..

И снова лицо его стало другим: рядом с Виктором сидел угрюмый, замкнутый парень:

— А насчёт, кто виноват, бросьте... Я один и виноват, чего спирать. Трактор мой, голова, руки мои,— я и отвечаю...

Павел понукнул лошадей и продолжал:

— Я ж понимаю, вы мне худа не хотели, когда сказали — пробуй. Если уверен — вы говорили. А я тогда не совсем уверен был. Я одной штуки боялся и всё-таки попробовал. Ну и... А вам, корреспондентам, разве ж всю технику на свете освоить? Так что зря на себя вину не берите...

Виктор смущённо кашлянул: стороны поменялись ролями, теперь уже получалось, Павел успокаивал его. И, решив, что пришло время, он осторожно спросил Павла, стараясь не задеть его самолюбия:

— Ну, а как у тебя теперь в колхозе будет — с ребятами, с девушками? Я гляжу, ты на отшибе от них. Если обиделся, то ошибаешься.

Павел отвечал медленно и отрывисто:

— Чего обижаться? Правы они кругом... Я б, если кто другой трактор сломал, я б ему...— и он сделал выразительный жест кулаком, не оставлявший сомнения в том, как поступил бы он с таким человеком.

Соскочив с подводы, Павел извиняющимся тоном проговорил:

— Тут опять пойти надо будет — подъём...

Он уже сам вернулся к прежней теме:

— Вот рассчитаю всё точно, чтобы комар носу не подточил, тогда...

— Один будешь рассчитывать? — спросил Виктор.

— Один...

— Посоветоваться лучше было бы.

— Ясно — лучше,— без колебаний согласился Павел и понизил голос до полушёпота: — А как я к ним пойду?

Кто со мной разговаривать будет? Они... вон Катерина «Молодую гвардию» читает... Улю Громову фашисты мучают, звезду вырезали на спине... Понятно?

— Понятно,— кивнул Виктор, хотя ему ещё ничего не было понятно.

— Ну, а я...— Павел криво усмехнулся,— я вроде бы Стаховича теперь.

Виктор хотел возразить Павлу, но тот продолжал:

— А ещё хуже, знаете, что? Дедушка Куренок умер, так ведь получается — из-за меня.

— Как? — недоуменно спросил Виктор.

— Простыл он в поле. А в поле пошёл почему?..

Тяжело ступали лошадиные копыта, скрипели колёса; порыв ветра донёс чуть слышный паровозный гудок.

— К Чёмску подъезжаем,— сказал Павел.

— Напрасно ты,— проговорил Виктор.— Никто тебя Стаховичем не считает, поди и всё расскажи ребятам... К Катерине пойди.

Павел приостановился:

— К ней?.. Никогда!

— Почему?

— Она и говорить со мной не станет.

— Будет говорить!

— Не будет,— упрямо мотнул головой Павел.— Что я её не знаю?

— Не знаешь! — резко бросил Виктор.— Да Катерина сама давно хочет поговорить. Она мне так сегодня и сказала.

— Вам сказала?..

Ложь вырвалась неожиданно для самого Виктора, но отступать было поздно.

— Мне и сказала — чего же особенного?.. Мы с ней долго о тебе сегодня говорили...

— Ну... и что?

Виктор, очертя голову, бросился в водоворот фантазии:

— Ругала она тебя, ох, и ругала!..

— Ага,— с совершенно не подходящей к этому сообщению радостью кивнул Павел.— И что?

— А потом говорит: «Парень он всё-таки хороший...»

— «Хороший» — сказала?

— Ну, да... «Я,— говорит,— давно хочу с ним во всём разобраться, чтобы он не был от всех отдельно, так он сам не хочет...»

— Я не хочу?! — воскликнул Павел.— Да я разве...

— Ладно,— оборвал его Виктор,— разберётесь. Но смотри...— Виктор нашёл, наконец, уловку,— о том, что я тебе о нашем разговоре рассказал,— ты ни гу-гу! Разговор у нас был секретный...

— Ясно! — радостно воскликнул Павел и вскочил на подводу: — Садитесь, чего ноги зря трудить!

— Подъём ведь, — указал Виктор на дорогу.

— Ничего, уже к Чёмску подъехали,— ответил Павел.— Садитесь.

Ветер осыпал их мелким дождём.

— Когда изобретут такое, чтоб нажал кнопку — дождь идёт, нажал другую — ясная погода? — спросил Павел.

— Изобретут... Кое-что делают уже, я недавно читал в журнале,— сказал Виктор.

— Что — расскажите,— загорелся Павел.

И пока Виктор рассказывал, незаметно въехали в Чёмск. На перекрёстке Виктор спрыгнул с подводы:

— Ну, пока, Павел! Спасибо...

— До свиданья,— ответил Павел и, уже отъехав немного, крикнул: — Вам спасибо!

— За что? — спросил Виктор, но так и не дождался ответа.

Виктор немного постоял, глядя вслед обозу. Верно сказала Ольга Николаевна о сыне: фантазёр! Раньше ракетами интересовался, теперь о дождевальной машине думает. А с трактором... пожалуй, добьётся своего, такие всегда добиваются... Виктор вдруг сообразил, что Сергей Иванов, подаривший Павлу книгу Миклухо-Маклая, это тот самый Сергей, которого он знает. Ведь он говорил однажды, что был в войну в колхозе «Красное знамя». Догнать Павла, сказать? Хотя — зачем?..

Но как Павел на самого себя: «Я теперь вроде Стаховича!» Это же хуже, чем если бы он обругал себя самыми последними словами. Чувствует свою вину и, значит, сумеет её загладить...

Виктор взглянул в последний раз на поворачивающий за угол обоз и пошёл.

На станции загудел паровоз,— отходил последний ночной поезд.

Со следующим, утренним, Виктор и Ковалёв отправятся продолжать своё путешествие...



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ

Старые знакомые

Громко пропели фанфары, и грянул марш. На площадь, к трибуне, двинулись войска. В такт музыке гудел асфальт под сотнями блестящих сапог. Солнце зайчиком вспыхивало на обнажённой шашке, перепрыгивало на медную солдатскую пуговицу и останавливалось в глядящем на парад объективе кинокамеры...

Сейчас, когда войска проходили почти рядом, Виктор мог хорошо рассмотреть бойцов. Он обратил внимание: офицеры, сержанты в большинстве были с орденами и медалями,— значит, побывали на фронте. А у солдат увидишь разве что комсомольский значок. И лица совсем молодые. Этим уже не пришлось воевать.

А где же те, тоже рядовые, которые два года назад штурмовали Берлин? Те, которые всего два года назад завоевали самое дорогое для людей — мир?..

Немало их стояло на трибуне, рядом с Виктором. Их уже нельзя было отличить по кителям с петельками для погон, по фуражкам с выгоревшим следом звезды. Кители сменились пиджаками, военные фуражки — кепками и шляпами; пиджаки, кепки, шляпы пообмялись, всё стало

совсем мирным, штатским, и только пёстрые орденские ленточки на скромном гражданском пиджаке напоминали о недавнем прошлом их владельца...

Виктор знал многих из этих людей, — вот учитель, депутат Верховного Совета республики, вот штукатур, тоже депутат, портреты обоих несколько месяцев назад, во время выборов, печатались в газете. А вон — геолог, лауреат Сталинской премии, Виктор не раз брал у него материал для заметок, и когда узнал, что геологу присуждена премия, как-то долго не мог освоиться с мыслью о том, что такой обычный с виду человек, не раз запросто с ним встречавшийся, стал теперь лауреатом...

Парад заканчивался. Последним, развернувшись и заняв чуть не половину площади, прошёл оркестр. Виктор спрятал блокнот в карман, всё было завершено. Они так договорились с Михалычем: о параде пишет Виктор, демонстрацию же берёт на себя Михалыч, — он сейчас был где-то на другом крыле трибуны.

Пауза оказалась недолгой. Снова раздалась музыка, и в глубине улицы заколыхались десятки знамён: началась демонстрация. Знаменосцы приблизились, и за огромными, трепещущими по ветру полотнищами Виктор увидел кусочек плаката, который несли демонстранты: «Завод...»

— Наши! Наши открывают! — прозвучал сзади знакомый голос, и кто-то толкнул Виктора, продвигаясь вперёд.

Виктор обернулся и... лицом к лицу столкнулся с тем, кого совсем не желал встретить, — с бригадиром комсомольско-молодёжной бригады имени дважды Героя Советского Союза Ильина Геннадием Никитиным.

Более полуторых лет минуло после появления в газете злополучного отчёта Виктора о несостоявшемся выступлении Никитина на городском слёте стахановцев. Это был немалый срок, но и до сих пор Виктор не мог избавиться от тягостного ощущения стыда и желания обругать, уязвить самого себя, когда вспоминал подробности злосчастной «летучки», слова Студенцова, коротенькую «Поправку» в самом низу четвёртой полосы. И, конечно, он никак не хотел увидеться с Никитиным, — что мог он сказать в своё оправдание и вообще о каком оправдании могла итти речь? Дважды за это время Виктор счастливо избежал встречи с Геннадием. Один раз он увидел его на

улице и успел во-время перейти на другую сторону. Во второй раз было хуже, — Виктор увидел Никитина в кино, причём сидел тот почти что рядом, через несколько мест. На счастье, Геннадий был увлечён разговором со своей спутницей — полненькой, смешливой девушкой, которую Виктор немного знал, — это была Нина Спицына, в войну она тоже работала в бригаде «ильинцев». Виктор отвернулся тогда от них в сторону и до тех пор, пока в зале не погасили свет, глубокомысленно изучал красную надпись «Выход» над дверью.

Но сейчас, на праздничной трибуне, встречи избежать было уже невозможно.

— Эге, старый знакомый! — сказал Геннадий. Он сунул Виктору руку: — Привет! — и снова чуть подтолкнул его плечом: — Пусти взглянуть — наши идут...

Заводская колонна приближалась. Впереди неё шёл грузовик с откинутыми бортами. В кузове, устланном ковром, стоял небольшой и необычный на вид станок. Он был бы похож на токарный, если бы некоторые детали не делали его похожим на фрезерный. Но это не был и фрезерный станок, потому что всякий мало-мальски сведущий человек нашёл бы в нём также признаки шлифовального и сверлильного станков.

— Смотри! — хлопнул Геннадий Виктора по плечу. — Красавец, а? Фрезерует, точит, шлифует, сверлит — что тебе ещё надо?..

Виктор понял, что на машине — тот самый универсальный станок, над которым в предпраздничные дни работал почти весь коллектив завода, — газета неоднократно писала об этом. Выпуск по плану намечалось начать только в конце сорок седьмого года, но завод приступил к нему досрочно, накануне праздника... И вот на демонстрацию вывезли первый такой станок — небольшой, сверкающий тщательно отполированными деталями. Знакомый с производством, Виктор отлично представлял, насколько важен и ценен универсальный станок: где-нибудь в МТС, может быть, даже в той, которая обслуживает колхоз «Красное знамя», он заменит сразу несколько машин. Небольшой, он с успехом уместится в маленькой мастерской. Недорогой, простой по устройству — всё это ещё больше поднимало достоинства станка...

Что-то похожее на зависть почувствовал Виктор к Геннадию. Как это радостно — глядеть на новый станок.

которым любуется сейчас весь город, говорить: «Красавец!» и сознавать, что в создание «красавца» вложен твой труд, что ты сам обтачивал его сверкающие рычаги, туго затягивал ключом его гайки, в первый раз, раньше всех включил его и, слушая ровный гул мотора, первым на заводе, в городе, на свете повёл резец или фрезу к болванке, зажатой в новорождённом станке... И ещё — как радостно стоять на почётной первомайской трибуне, рядом с геологом-лауреатом, рядом с депутатами Верховного Совета, генералами, стоять, как равный с равными. Правда, Виктор тоже был на трибуне, и в кармане его лежал служебный пропуск с надписью из угла в угол: «Пропускать всюду!», — у Геннадия, наверняка, пропуск был не такой, а обычный. И всё же Виктор попал сюда не за собственные заслуги, не он — так другой сотрудник редакции был бы на его месте, а Геннадий Никитин, тот самый Генка, с которым Виктор вместе работал когда-то на заводе и учился в вечерней школе, был тут потому, что его знали, уважали, ценили, выделяли...

Ощущение стыда при воспоминании о злополучном отчёте вспыхнуло вдруг с новой силой. Объясняться с Геннадием по поводу этого случая здесь было втройне неприятно. А что такое объяснение будет — Виктор не сомневался. Геннадий не мог забыть, он вспомнит, обязательно вспомнит обо всём, как только внимание его не будет отвлекаться другим.

Виктор хотел бы незаметно скрыться, но не мог: его стиснули со всех сторон, и, кроме того, Геннадий крепко держал его за плечо, повторяя:

— А где же мои, чего-то я моих не вижу...

Но тут он сорвал с головы фуражку и замахал ею изо всех сил. Видно было, что ему хочется крикнуть и не кричит он лишь потому, что несолидно всё-таки кричать с трибуны. Но его заметили и без того, — из колонны вскинулись десятки рук, отвечая на приветствия Геннадия. Виктор посмотрел: молодые ребята, знакомых нет. Только одного, невысокого, с тёмными вьющимися волосами, он узнал. Это — Кочкин, как его? Кажется, Сеня... И чуть позднее Виктор заметил ещё одно знакомое лицо — Нину Спицыну, ту, с которой Никитин был в кино.

— Она что, всё у тебя в бригаде? — спросил он Геннадия.

— Кто?.. — откликнулся тот.

— Спицына...

— Нет, сама уже бригадир, — ответил Геннадий и вновь замахал фуражкой вслед уходящей колонне.

Завод прошёл. Геннадий нахлобучил фуражку на голову и обратился к Виктору:

— Ну, как делишки?..

«Вот оно», — мелькнуло в голове у Виктора. Ему казалось, что он слышит иронию в словах Никитина — как, мол, делишки, попрежнему врёшь? И Виктор решил: надо итти напрямик, за последнее время он всё чаще убеждался — итти напрямик самое лучшее.

— Дела ничего... Я вот что хотел тебе сказать... — Виктор помялся. — Получилось всё тогда по моей глупости. Ну, начинал ещё, толком и не знал всего...

— О чём ты? — недоуменно посмотрел на него Геннадий.

— Да со слётом как вышло...

— А! — расхохотался Никитин. — Это верно, здорово вышло — я и на заводе был, я и на слёте выступал. Что твой метеор — везде поспел... Одним словом, вышел порядок! Мы тебе даже по телефону хотели звонить — благодарность вынести за помощь...

Теперь удивляться настала очередь Виктора.

— За помощь? — переспросил он.

— А то? Ещё как помог!

— То есть... чем помог? — Виктор не понимал — издевается над ним Геннадий или говорит всерьёз.

— Да с конструкторами... Забыл, что ли? Там в речуге моей было, что конструктора задерживают чертежи. Ну, хоть на слёте я и не выступал, а как в газете напечатали, они зашевелились. Сразу всё дали, как из пушки...

Виктор растерянно опустил глаза: какая всё-таки необычная вещь — газетная работа! Даже ошибка иной раз может быть не то, что полезной, но...

— Как ваши дела в бригаде? — уже без стеснения посмотрел он на Геннадия. — Может, новое что-нибудь есть, для газеты?

— Новое?.. Нет, вроде ничего особенно нового, — пожал плечами Никитин.

— Рационализация? — добивался Виктор.

— Так, мелочь пока, — проговорил Геннадий, потом вдруг сжал кулак: — Есть одна очень интересная мысль, только...

Журналистская жилка проснулась в Викторе:

— Какая мысль?

Никитин нахмурился:

— Тут не хвалить надо, а бить. Мы бы сейчас такое сделали, если бы...

— Расскажи, это тоже интересно,— продолжал настаивать Виктор.

— Коротко всё не расскажешь. В общем, думаем мы со сменщиками, у них Спицына бригадир, — ты спрашивал...

Докончить Геннадий не успел. К нему пробилась смуглая девушка с живыми чёрными глазами:

— Товарищ Никитин! Вы куда скрылись? Хотите нам всё сорвать?

— Здравствуйте, Маргарита! — сказал Виктор.

— О, приятель, физкульт-ура! — воскликнула девушка и схватила Геннадия за рукав: — Скорей!.. Выступление с вами?..

Протащив его шага два, Маргарита остановилась и поманила Виктора:

— Вы тоже! У меня к вам важное дело...

Виктор отправился следом. Они подошли к горисполкому. Маргарита распахнула массивную дверь и, указав на спутников, заметила милиционеру:

— Это — со мной!

Милиционер посторонился...

На площадке второго этажа девушка прижала к губам палец и прошептала:

— Теперь — тише...

На цыпочках они вошли в просторную приёмную и по знаку Маргариты опустились в кресла. Из-за двери кабинета доносился мужской голос:

— Завод за заводом проходит по площади... Рабочие, инженеры, техники, как и весь советский народ, полны горячего желания досрочно выполнить послевоенный пятилетний план...

Где Виктор уже слышал этот голос?

— Следом за станкостроителями идут металлурги, обувщики, кирпичники...

Виктор сообразил: по радио. Конечно же, чуть не каждый день он слышит этот голос по радио. И понял, что из кабинета, откуда хорошо должна быть видна площадь, ведётся радиорепортаж о праздничной демонстрации.

Раздалась музыка. Дверь кабинета приоткрылась, и оттуда высунулась взлохмаченная голова:

— Рита! Ну?..

Маргарита потянула Геннадия за рукав:

— Вот он!

Голова кивком пригласила Никитина в кабинет. Дверь захлопнулась, музыка оборвалась, и диктор заговорил снова:

— Сейчас у нашего микрофона выступит...

Маргарита шепнула Виктору:

— Идёмте в другую комнату, там поговорим...

В соседнем кабинете она водрузилась за письменный стол и строго пригласила:

— Садитесь, подсудимый!..

Переждав, пока Виктор усядется, Маргарита тем же тоном продолжала:

— Итак, вам предлагается ответить. Почему вы, как это было условлено, не явились в гости к известному человеку в Чёмске? Больше того — позорно бежали из деревни... Больше того — не изволили даже попрощаться...

Виктор развёл руками:

— Я же объяснял, Маргарита, как получилось. Честное слово, самому неудобно, что так вышло...

Маргарита заметила:

— Суд учтёт ваше чистосердечное раскаяние... Ожидайте приговора...

Она достала блокнот, вырвала из него листок и, написав на нём что-то, протянула Виктору:

— Получите...

Виктор, не понимая, взглянул на записанный на листке адрес.

— Стоп! — спохватилась Маргарита.— Ещё не всё. Верните-ка на минуту.

Схватив листок, она быстро приписала: «Явка строго непременна, в 8.00. Форма парадная. Дамы не обязательны».

— Это — мой адрес,— решив не мучить больше Виктора, разъяснила Маргарита.— В восемь ноль-ноль у меня праздничный бал. Один раз вы уклонились от посещения, больше не выйдет... Правда, приходите, Виктор! Или сейчас придумаете, что куда-нибудь уже приглашены?

— Нет,— качнул головою Виктор,— никуда... Но у вас будут другие гости...

— Вас это не устраивает? — с большим вниманием спросила Маргарита.

— Да не то,— смутился Виктор.— Я же никого не знаю...

— Батюшки! — ужаснулась Маргарита.— Никого! Я значит, стала уже пустым местом... И кроме меня будет ещё один человек — вы его тоже знаете... Придёте?

— Что же, приду.

— «Что же!» — передразнила Маргарита.— Что надо сказать, когда приглашают?

— Спасибо, приду.

— То-то...

В комнату вошёл долговязый нескладный человек — тот самый, что приглашал Геннадия к микрофону. Он бросил мимолётный взгляд на Виктора, молча налил из графина воды, выпил, потом промолвил, глядя куда-то в сторону;

— Рита, ведь есть же правило: посторонним в радиостудию...

Маргарита откинулась вместе со стулом к стене и, покачиваясь, произнесла:

— Во-первых, не совсем посторонний, а товарищ из редакции газеты... Во-вторых, не в студии, а рядом... В-третьих, надо быть вежливее... А в-четвёртых, чего ты, собственно, злишься?..

Долговязый взглянул на потолок:

— Ещё бы минута,— и вся передача вверх тормашками...

— Ах, из-за Никитина? Но ведь нашла?

— Ну, нашла...

— О чём тогда разговор?.. Значит, только из-за Никитина?

— Из-за чего же ещё? — пробурчал долговязый.

— Слава богу, тогда это пройдёт. А то ты такой кислый, нам весь вечер можешь испортить... Знакомьтесь!

— Олег,— назвался долговязый.

— Местный Левитан,— дополнила Маргарита.— От московского отличается возрастом и голосом...

— Знаешь, Маргарита! — вспыхнул Олег.

— Не кипятись, Олежек, — ласково сказала девушка.— Я же не говорю, у кого получается хуже. Я только говорю: голоса не похожи. Ну, ответь, похож твой голос на левитановский?

— Ну... нет,— согласился Олег.
— Вот видишь, не разберёшься, а сердишься,— с укоризной сказала Маргарита.
Когда Олег, ещё немного потоптавшись, вышел, девушка заметила Виктору:
— Тоже ваш старый знакомый. Вы-то его во всяком случае знаете хорошо,— каждое утро ругаете, что спать не даёт... Так что знакомых у вас будет целая куча... Я бегу! Значит, не забывайте — восемь ноль-ноль.

«Пустой процент»

Разговаривая с Маргаритой, Виктор грешил против истины. То, что он попадёт в незнакомую компанию, даже привлекало его. Всегда интересно знакомиться с новыми людьми. Вот только ещё встретились, и пытаешься составить впечатление о каждом исключительно по внешнему виду, потому что первые вежливые фразы о погоде, о том, кто какой предпочитает сорт папирос, может быть, о международном положении ровно ничего не раскрывают в характере собеседника. Но почти всегда внешние впечатления оказываются ошибочными. Когда собираются все, когда веселье налаживается, угрюмый и очень серьёзный с виду человек становится вдруг очень остроумным, причём усиливается это ещё тем, что шутки он произносит, сохраняя свою прежнюю серьёзность. Такие, скрытые по началу, качества обнаруживаешь в каждом новом знакомом, и весь вечер напоминает процесс проявления в фотографии,— сперва в ванночке лежит совершенно чистый лист фотобумаги, постепенно на нём появляются тёмные полосы и точки, а затем как-то сразу на листке вспыхивает изображение — чёткое, ясное, законченное.

Впрочем, так бывает не только с незнакомыми, но и с теми, кого знаешь давно, но лишь по работе. И тогда сюрпризы бывают ещё более поразительными: столько лет знал человека, как вечно занятого и деловитого, и не подозревал даже, что он отличный запевала в хоре...

Нет, Виктора нисколько не смущала перспектива оказаться в незнакомой компании. И нисколько не обижался он на Олега, так негостеприимно отнёсшегося к нему в радиостудии: диктор был на работе, если бы что-нибудь не клеилось, Виктор и сам мог поступить точно так же.

Было ещё одно обстоятельство, которое делало Маргаритино приглашение заманчивым вдвойне. Пойти к ней в гости — значило по вполне основательным причинам не быть дома, когда к Далецкому соберутся его штатные визитёры. Виктор, чем дальше, тем больше, ощущал, что, когда приближаются праздники, его охватывает тоскливое чувство в ожидании того, что скоро опять наступит день, когда Митрофанов протянет к нему волосатую руку с рюмкой, Верочка воскликнет, томно прикрывая неестественно длинные ресницы: «Ах, мне не надо полную, я совсем опьянею!», а Николай Касьянович, вытягивая губы трубочкой, процедит что-нибудь вроде: «Достоинства виноградных вин широко известны... Весьма...» Однообразие тягостно вообще, в праздники — тем более. Но что может быть хуже, когда однообразие это заключается в том, что ты должен внимательно вслушиваться и даже вставлять реплики в разговор, который противен тебе от начала до конца, улыбаться, когда хочется выругаться, и если не соглашаться, то во всяком случае молчать, когда собеседники высказывают органически чуждые тебе мысли и стремления. И всё из-за вежливости, из-за древнего свода условных законов, под защитой которых равны все — хорошие и дурные, добрые и злые, желанные люди и незваные гости...

Виктор, конечно, пошёл бы против всех этих неписанных правил, он совершенно избегал бы встречаться с друзьями Далецкого, но просительное: «Витенька! Что же люди-то скажут?» тёти Даши обезоруживало его. И всё же — хватит. В конце концов сегодня он вправе ответить тёте Даше тем же самым: «А что скажут люди? Пригласили его, а он — на́ тебе, обманул!»

Гости у Николая Касьяновича уже собирались. Ещё в передней Виктор услышал голос Митрофанова. Что-то, какой-то оттенок в этом голосе, удивило его.

— Может быть, подождать, Николай Касьянович? А? Может быть, понемногу, легоненько, столько сразу — как бы...

И когда Далецкий сухо и резко бросил: «М-да... Ерунда!», Виктор понял, что удивило его в голосе Митрофанова,— оттенок просьбы. О чём бы ни шла речь — всё равно это было странно. Это никак не вязалось с манерами Митрофанова — бесцеремонного, лезущего всегда напролом, тем более, что он, знал Виктор,— непосредственный

начальник Николая Касьяновича по службе. А ещё необычнее был сухой ответ Далецкого, который хотя и не заискивал перед Митрофановым, но никаких резкостей по отношению к нему тоже себе не позволял...

Виктор вошёл в комнату. Кроме хозяина и Митрофанова там, оказывается, была и Верочка.

— Виктор Васильевич пожаловал! — поднялся Митрофанов.— С праздничком вас!.. Наработались? Беда вам — и в праздники работаете, не то, что мы, грешные...

Виктор сразу почувствовал, что ошибся,— гремящий бас Митрофанова, как всегда, был до раздражения бодр и напорист. Скорее уж можно было отметить непривычную серьёзность Верочки, с нервной миной на лице теребившей бахрому скатерти. Обилие косметики не смягчало эту мину, а, наоборот, вместе с нею напоминало о том, что стремилась забыть Верочка,— оно напоминало, что Верочка давно уже не Верочка, а Вера Степановна и что куда лучше было бы Вере Степановне, смыв косметику, нянчить маленьких внуков, которых у неё могло быть, пожалуй, не меньше двух, если бы... если бы у Веры Степановны были дети.

~~Верочка давно уже не Верочка, а Вера Степановна и что~~

Она выдавила улыбку и проговорила:

— Ужасно болит голова, ужасно... Я, кажется, сегодня буду совсем не в духе...

Нет, и Верочка была прежней...

Виктор прошёл на кухню. Там в жару и чаду тётя Даша стряпала к обеду пирожки и ватрушки, печенья и такие хитроумные штуки, что им и название трудно было подобрать,— на этот счёт она была великая мастерица. Сначала тётя Даша, и верно, повздыхала, что Виктор уйдёт из дому, но потом согласилась:

— Дело молодое, чего ж со стариками — поймут люди...

И сорвалась с места:

— Пойду, сорочку тебе поглажу...

— Я сам,— хотел остановить её Виктор.

— Где уж тебе самому! Кто это видел, чтобы мужик хорошо гладил! — вздохнула тётя Даша, схватила тарелку, набросала в неё разных своих изделий и поставила перед Виктором: — Попробуй тогда, коли уходишь...

Затем, с необычной для своей полноты подвижностью, она побежала гладить сорочку. Вернулась тётя Даша

на кухню с коробкой, в которой лежали мельхиоровые ложки, ножи и вилки из нержавеющей стали:

— Мой-то, гляди, раздобрился, подарочек сделал к празднику.

Виктор усмехнулся в душе: Николай Касьянович оставался верен себе. Подарок, может быть, и тёте Даше, но такой, что пользоваться будет им и он. А вернее всего — не будет никто, ножей, вилок и ложек в доме хватало без того. Стиль у Николая Касьяновича был твёрдый,— если уж дарить что-нибудь жене, так зеркальный шифоньер, ковёр, настольные часы, словом, чтобы самому тоже не остаться в обиде. Только в отношении Виктора Далецкий изменил своему правилу, преподнеся ему накануне праздника новенькую автоматическую ручку «Золотое кольцо». Принимая подарок, Виктор смущённо поблагодарил и подумал, что, может быть, он не совсем справедливо относится к Николаю Касьяновичу,— ведь вот не забыл же тот о своём племяннике. А Далецкий заметил между прочим:

— Импортная вещь,— семьдесят пять рублей... Весьма...

После этого Виктору захотелось либо вернуть подарок, либо выложить на стол семьдесят пять рублей. Он не сделал ни того, ни другого лишь из-за тёти Даши, которая в тот момент места не находила от счастья.

Глядя сейчас на блестящие ножи и вилки, Виктор не высказал своих мыслей по той же причине. Пусть радуется, тем более, что — Виктор был уверен — тётю Дашу гораздо сильнее радует не появление в доме новых вещей а внимание мужа. Он, кстати, за последнее время всё чаще стал оказывать ей такое внимание. У Николая Касьяновича были кое-какие сбережения, точную сумму их Виктор не знал, но что они были, и немалые — он не сомневался. По каким-то соображениям Далецкий пустил их сейчас в ход. По каким — Виктор не мог, да и не хотел знать. Но раз это косвенно доставляло удовольствие тёте Даше — тем лучше...

Из дому, извинившись перед гостями, Виктор вышел задолго до срока, назначенного Маргаритой. Поэтому он не спешил. Медленно шагая по улице, Виктор косился на магазинные витрины, как будто разглядывая товары, а на самом деле рассматривая своё отражение в стёклах,— ка-

ков он в парадном костюме, не косо ли надет галстук? В общем... он остался доволен

Виктора окликнули. Он с удивлением подождал догнавшую его Верочку,— всего несколько минут назад она, похоже, никуда не собиралась от Далецких.

— Я на минуту в аптеку... купить что-нибудь от головной боли,— пояснила женщина.— Увидела вас и догнала. Простите, у меня к вам дело...

Нет, всё-таки с нею что-то случилось! У Верочки — дело!..

— Если вы не очень спешите,— сказала Верочка.

— Пожалуйста,— пожал плечами Виктор.— Отойдёмте,— указал он в сторону бульвара,— здесь много народа...

Они присели на скамейку. Верочка начала не сразу.

— Это даже хочу узнать не я, а... одна знакомая. Как вам посылают письма в редакцию?

Виктор слегка улыбнулся наивности вопроса.

— Как любое письмо — по почте.

— И... не теряются? — спросила женщина.

— Не знаю,— может быть, и теряются некоторые на почте. Хотя, едва ли...

— А в редакции?

Виктор помотал головой:

— Никогда... Каждое письмо регистрируется, так что уж потеряться не может.

— А на почте может потеряться?

Виктору начинал надоедать пустой разговор.

— Ну, если ваша знакомая так боится за письмо, пусть занесёт его в редакцию сама. С десяти утра до шести, вечером — с восьми до одиннадцати...

Верочка замялась:

— Моя знакомая очень занята... у неё годовой отчёт...

— Хорошо,— нетерпеливо сказал Виктор.— Вы с нею часто видитесь, со своей знакомой?

— Каждый день...

— Тогда договоримся так. Пусть она отдаст письмо вам, вы передадите мне, а я — куда надо.

— Вы? — Виктору показалось что Верочка изменилась в лице.

— Могу и я, какая разница!

Верочка расстегнула сумку, выложила из неё на скамейку записную книжку в зелёном переплёте, покопалась

ещё, быстро взглянула на Виктора, подумала, достала из сумки зеркальце и, посмотревшись в него, поправила причёску. После паузы она с запинкою спросила:

— Разбирать это письмо... будете вы?

Виктор поморщился:

— У меня и без того достаточно дел. Этим занимается отдел писем. Некоторые письма идут, правда, в другие отделы, если тема касается их... О чём пишет ваша знакомая?

Верочка опять смутилась:

— Я, право, не знаю... Она мне...

Виктор прервал её:

— Деталями я не интересуюсь. В общем о чём? О квартире? О трамвае? О том, что плохо сшили платье? Чего это касается?

— Оно... о театре...

«Ах да,— вспомнил Виктор,— Верочка ведь имеет какое-то отношение к театру». Он резюмировал:

— Тогда — это в отдел культуры и быта. Значит, если хотите, я передам.

Женщина снова расстегнула сумку. Осторожно, точно не решаясь, она вытянула оттуда запечатанный конверт без адреса.

— Э, так оно с вами, чего же вы молчали? — Виктор почти выхватил конверт из рук Верочки, торопясь закончить опостылевшую ему беседу.— Можете не беспокоиться — после праздников сейчас же передам...

— Я хотела спросить у вас ещё...— промолвила женщина.— Письма у вас разбирают быстро?

— Не задерживают... Чем важнее письмо,— подчеркнул Виктор слово «важнее»,— тем быстрее.

Но Верочка не поняла намёка. Она ещё раз взглянула на себя в зеркальце и, не оглядываясь, пошла по бульвару. Виктор задумчиво усмехнулся. О чём может писать в газету такая вот... Ну, пусть не она сама, её знакомая,— едва ли знакомая Верочки очень отличается от подруги. И ещё беспокоится — не пропадёт ли, скоро ли разберут!

Виктор встал и вдруг увидел на скамейке записную книжку в зелёном переплёте. Вынув её из сумки, Верочка так и не положила её обратно. Верочка уже скрылась из виду, и Виктор хотел сунуть книжку в карман, но любопытство взяло верх. Он раскрыл книжку.

«Серцу хочется ласковой встречи
И хорошей большой любви»,— было записано на первой странице.

«Серцу!» — хмыкнул Виктор.— Описка? Хотя «серцу» — это похоже на Верочку.

«Петру Сем. Универмаг позвон. 7 го»,— читал он дальше.— «Кто-то вспомнит обо мне и вздохнёт украткой...»

Следующие две страницы занимали рисунки платьев, сплошь усеянных пуговицами. Виктор перелистнул их, не разглядывая.

«Для того чтобы не выпадали волосы нужно перед мытьем за несколько часов смазать голову косторкой...»

Виктор зло захлопнул книжку. «Косторкой!» Он не раз недоумевал, откуда берётся в редакционной почте, хорошо, хоть очень незначительный, процент пустых, надоедливых писем. Кто они — те, что возмущаются строительством детского сада по соседству с их домом,— их может побеспокоить детский крик, те, что отнимают время у многих людей склоками, сплетнями, слухами, дрязгами?..

Виктор взглянул на записную книжку в зелёном переплёте, на конверт, который всё ещё держал в руках. Да вот же он — «пустой процент»!

Званый вечер

Маргарита, открыв Виктору дверь, сразу же посмотрела на часы:

— Ого! — и сказала зловеще: — Полторы минуты опоздания! — Она тяжко вздохнула: — Проходите уж... вы всё равно только второй...

В маленькой комнате, куда провела девушка Виктора, действительно, был один Олег. Уткнувшись в книгу, он сидел у раскрытой на балкон двери.

— Располагайтесь,— пригласила Маргарита.— Я вас на минуту покину: у меня ещё дела по хозчасти...

Поскольку Олег при появлении Виктора продолжал читать, тому ничего больше не оставалось, как разглядывать комнату. Впрочем, посмотреть было на что. И даже не посмотреть, а исследовать, каким образом ухитрились на такой небольшой жилищной площади разместить такое большое количество мебели, причём так, что комната всё же не казалась перегруженной вещами. Верно,— стол,

кушетка, кровать, этажерка с книгами, туалетный столик, крохотный гардероб, стулья... Но, очевидно, над размещением всего этого думали много и обстоятельно, ибо каждая вещь стояла там и так, где единственно и как единственно можно было её поставить,— не иначе. У Виктора было то трудно уловимое ощущение, когда, появившись впервые в доме, чувствуешь себя всё же так, будто бывал здесь уже много раз и всё здесь давным-давно тебе знакомо. Что создавало это ощущение? Виктор догадался не сразу, но, наконец, понял — вышивка. Мастерская, тонкая вышивка в самых разных видах — на салфетках, уложенных возле приборов, на уже накрытом столе, на других салфетках, которые лежали на этажерке и туалетном столике, на подушечках, разбросанных по кушетке. Пёстрые «анютины глазки», которые издали можно было принять за живые, вид на море с белокрылым парусом вдали, Иван-царевич на Сером волке — копия с известной картины,— всё это в одном стиле, многоцветное и радостное. Одна только вышивка по выполнению резко отличалась от других,— чёрный силуэтный портрет Максима Горького, висевший на стене. Но и она гармонировала с остальными, потому что тоже была сделана очень хорошо...

Маргарита вернулась в комнату, когда Виктор разглядывал как раз этот портрет.

— Завидно? — спросила она.

— Кто это вам сделал? — поинтересовался Виктор.

— «Кто»! Сама. Да-да, не думайте, могу даже пяльцы показать. Я достойная ученица своей мамы, а лучше моей мамы, как известно всему свету, кроме, может быть, вас, вышивать никто не умеет. И вообще...— Маргарита мимоходом передвинула тарелку и переставила перечницу с края стола на середину, —талантов мне по наследству достался целый ворох, сама путаюсь, сколько их. Начиная от вышивки и веялки и кончая чем угодно. Опять не верите? Олежек, подтверди!

— Да-да,— промолвил Олег, так и не отрываясь от книги.

— Этот портрет,— указала Маргарита на стену,— всё хочет стащить у меня Натка. Помните — командир девичьей команды? Ну, стащит — не стащит, а подарить, наверно, придётся, чует моё островосприимчивое сердце, что Наталья скатывается к свадьбе...

Маргарита спохватилась:

— Я же вам не сказала — Натка у меня гостит. Сейчас побежала за своим Сашей. Понимаете — без моего совета, без моего материнского благословения, взяла и выбрала себе некоего Сашу. А я, как взглянула на его карточку, так и ахнула...

— Почему? — ухитрился, наконец, Виктор вставить словечко в поток Маргаритиных речей.

— Вы ещё спрашиваете! Потому что её Саша носит очки. Не понимаете? Люди в очках — самые подозрительные люди. Человек без очков — что? Взгляните ему в глаза и всё прочтёте, как на бумаге. Вот, например, вы... Маргарита вперила пристальный взгляд в глаза Виктора. Тот отвёл их, чувствуя, что начинает краснеть.— Всё понятно,— удовлетворённо сказала девушка,— совсем недавно, может быть, по дороге ко мне, вы совершили нехороший поступок... Это — человек без очков. Человек в очках — другое дело. В глаза ему вы заглянуть не можете. Стёкла блестят, и что за этим блеском скрывается... Хм, — Маргарита обратила вдруг внимание на Олега, — читает себе, и до других ему нет никакого дела. Удивительный хам и невежа. Олежек, подтверди!..

— Да-да,— откликнулся Олег и перелистнул страницу.

— Самокритика? — вскричала Маргарита.— Да ты не заболел ли от невоздержанного чтения?

Подскочив к Олегу, она выхватила из его рук книгу:

— Читальный зал закрывается...

— Рита! — растерянно приподнялся со стула Олег.— До конца главы...

— Никаких глав — сегодня праздник,— отрезала девушка.

В коридоре раздался звонок.

— Слава богу, явились пропащие,— сорвалась с места Маргарита.

Слышно было, как она открыла дверь, и сейчас же в коридоре наперебой заговорило несколько голосов.

Олег и Виктор безмолвно стояли в комнате.

— Курите? — нарушил, наконец, молчание Виктор.

Олег, не глядя, взял папиросу из пачки и даже не поблагодарил. Никогда Виктор не предполагал, что самый говорливый по роду занятий человек может быть настолько неразговорчивым в жизни.

Дверь распахнулась, и вошла Натка. Она встретилась

с Виктором так, словно последний раз видела его вчера-позавчера, самое большее, неделю назад: по-мужски сильно тряхнула ему руку и укоризненно пробасила:

— Сидели — консервы не могли открыть! Других заставляете...

Столько было в её голосе огорчения за тех «других», что Виктор, хотя ему никто ничего и не сказал прежде о консервах, почувствовал себя пристыженным.

В комнату нахлынули гости: был тут и лётчик, и девушка в речной форме, и разные другие люди,— круг Маргаритиных знакомств был широк. Этих всех Виктор не знал, но когда появился последний, Виктор удивлённо пожал плечами: положительно ему везло сегодня на старых знакомых. Появился Бахарев, прежний бригадир «ильинцев» Александр Бахарев, которого Виктор не видел уже очень много времени и, конечно, не ожидал встретить здесь...

Гости, как всегда это бывает, в ожидании начала занялись кто чем мог. Возник спасительный альбом с репродукциями картин, за ним последовал ещё один альбом — с семейными фотографиями,— неизвестно для чего больше держат такие альбомы в домах,— для того ли, чтобы действительно хранить в них репродукции и фотографии родных или чтобы развлекать гостей. Бахарев, который, как понял Виктор, тоже знал немногих в компании, причесал волосы тонкой прозрачной расчёской из пластмассы и присел на кушетку, осторожно отложив в сторону атласную подушечку с вышивкой. Виктор опустился рядом.

— Дела! — сказал Бахарев.— Гора с горою не сходится... Что, работаешь всё там же, в редакции?

— Там же,— ответил Виктор, не представляя, откуда Бахарев знает, что он работает в редакции.

Словно догадавшись об этом, Бахарев пояснил:

— Что ты в редакции, мне давно известно... С тех пор...— он хитро сощурился,— как в сорок пятом году был слёт стахановцев...

Будто говоря о чём-то приятном, Бахарев продолжал:

— Я ведь и в редакцию звонил тогда, опровергал. Зло меня взяло: понасажали, думаю, лоботрясов на такое важное дело. А потом прихожу на завод, мне Никитин и говорит, кто этот лоботряс... Ты не обижаешься? — с той же хитрой усмешкой прервался Бахарев.— Я ведь не знал, что это ты...

— Нет, не обижаюсь,— ничего иного не мог ответить Виктор и постарался поскорее переменить тему: — Значит, бываешь на заводе, помнишь о своих?

— Ого! Забудь-ка их! — воскликнул Бахарев.— Неделю не выберешься на завод, сами бегут в райком: «Ты что же, такой-сякой, комсомольский работник, от масс отрываешься?» Вот и в тот раз, когда в газете напечатали о слёте...

— А я сегодня видел Никитина,— быстро перебил его Виктор: кажется, он начинает уже жалеть, что пошёл к Маргарите.

— Явились всей гурьбой прямо ко мне в кабинет...— точно и не слыша, рассказывал Бахарев.

— На параде я видел Никитина,— совсем невпопад вторично перебил его Виктор.

Бахарев, наконец, решил перестать мучить собеседника.

— Говорил с Геннадием? — спросил он.

— Очень недолго, нам помешали,— оживился Виктор, радуясь, что всё-таки сумел перевести разговор на другую колею, и стараясь скрыть эту радость от Бахарева.

— Хм...— задумался вдруг Бахарев.— А он... ничего не рассказывал тебе о том, что они сейчас решили со сменщиками делать?

— Начинал что-то, но я ж говорю, нам помешали. Вызвали его выступать по радио...

— По радио, по радио,— машинально продекламировал Бахарев, как иногда это делают люди, ум которых занят важным вопросом.— Знаешь, я тебе скажу: вам обязательно надо встретиться. Во что бы то ни стало... Об этом нужно написать в газету — что они придумали...

— Но я понял, что ничего у них не получается,— возразил Виктор.— Геннадий сказал — не хвалить надо, а бить...

— Совершенно точно, бить! — кивнул Бахарев.— Кое-кого побить, это непременно, а главное, раскрыть всю суть их дела. Чтобы учились и перенимали опыт. Тут, знаешь, целое движение будет... Геннадий сказал — ничего не получается, так ты ему не верь. Получится, и не такие горы сворачивали. Что-то он нос только повесил в этот раз — не узнаю его. Разве потому вот, что Григорий Михайлович?.. Чтобы тебе было понятно, я немного объясню. Бригады Геннадия и Нины...

— Спицыной,— вставил Виктор.

— Да, Спицыной,— подтвердил Бахарев.— Как знаешь? Геннадий говорил? Хотя, по секрету, вполне вероятно, что она скоро станет тоже Никитиной... Так вот, эти две бригады внесли, если можно так сказать...— он приостановился, словно решая, можно или нельзя,— внесли рационализаторское предложение. Но не простое. Ну, что такое рационализаторское предложение вообще? Это когда, например, сделают приспособление к станку. Или поставят новый резец. Или ещё что-нибудь изменят в технике. А тут техника даже ни при чём. Здесь всё — это полное доверие друг к другу, уверенность, что никто не подведёт. Положим, стоит на станке деталь, которую целиком обработать за одну смену нельзя...

— Ключ,— неожиданно возникла откуда-то Маргарита.

— Почему — ключ? — недоуменно поднял на неё глаза Бахарев.— Что-нибудь покрупнее,— например вал...

— Я говорю — дайте ключ, которым вы открывали консервы,— сказала Маргарита.— Вы, по-моему, прихватили его с собой.

Бахарев растерянно вскочил, шаря по карманам.

— И верно,— вынул он ключ.— Извините, честное слово, случайно...

— Это мы ещё проверим,— заметила Маргарита.— Можете продолжать беседу. Хотя... О чём вы тут говорили, если не секрет?

— Я рассказываю об одном рацпредложении...

— Товарищи! — вскричала девушка.— Товарищи! — печально повторила она, когда шум стих.— Знаете ли вы, кто проник в наши ряды? Вот они,— Маргарита указала на Виктора и Бахарева,— агенты скуки, враги веселья. На первый взгляд,— как будто бы обыкновенные люди. А между тем это — почти вылитые герои плохого романа о заводской жизни. На званом вечере, в праздник, они не нашли ничего лучшего, как разговаривать о своих делах. Заслуживают ли они наказания?..

— Заслуживают! — было общим ответом.

— На первый раз наказание будет мягким,— сообщила Маргарита,— мы вас просто разлучим. Встаньте,— приказала она Виктору.— А теперь,— девушка обращалась к Бахареву,— поищем вам достойного собеседника.

Маргарита поманила к себе девушку в речной форме:

— Сделай-ка одолжение... О, стой! — Маргарита переменила решение.— Ты же секретарь комитета комсомола. Секретарь комитета, работник райкома — не подходит...

Она снова поискала:

— Олежек!

Олег мрачно вышел с балкона.

— Олежек, развлеки товарища, прояви свой юмор!

Олег покорно сел возле Бахарева...

Маргарита на ходу шепнула Виктору:

— Оказывается, иногда Наткин Саша ходит без очков,— это уже легче...

— А где он? — спросил Виктор.

— Наткин Саша? Виктор, что с вами?.. Ау, иду,— сорвалась Маргарита с места, услышав сердитые оклики с кухни...

Рассесться за столом — это всегда почему-то долгая церемония, которая обставляется так, будто решаются вопросы мирового значения. Каждый спешит высказать соображения, почему такого-то и такую-то обязательно надо посадить вместе, а такую-то и такого-то — непременно рассадить... Тем более Виктор удивился, когда Бахарева без всяких споров посадили рядом с Наткой и Маргарита заметила: «Тут, слава богу, нечего и решать — прекрасно!» А затем он снова удивился, увидев, что твердокаменная, непоколебимая Натка в этот момент смутилась,— смущение это выразилось, правда, своеобразно: Натка потупилась и ни с того, ни с сего спросила: «Маргарит, с билетами меня не подведут, как бы не опоздать завтра на поезд!» — но все поняли, что Натка смутилась. И лишь тогда Виктора осенило: пресловутым Наткиным Сашей был не кто иной, как Бахарев, что давно было пора уже сообразить Виктору. Несколько растерянный после такого открытия, Виктор стал было размышлять о том, насколько же подходят Бахарев и Натка друг к другу, и вообще о человеческих отношениях, но долго размышлять ему не дали. «Садитесь сюда!» — указала Виктору на место рядом с Маргаритой снова принявшая обычный тон распорядителя Натка. Олег сам хотел сесть рядом с девушкой по другую руку, но Натка сказала: «Ишь, какой быстрый, а туда вот не хочешь?», и Олег перекочевал на противоположный конец стола. Что его это совсем не устроило, догадаться было нетрудно,— с чего бы иначе было

ему так шумно двигать стулом и с подчёркнутым безразличием барабанить пальцами по столу?..

После первой рюмки, выпитой за праздник, поднялась чуть раскрасневшаяся Маргарита:

— Следующий тост мой,— я как-никак хозяйка. Будете со мною спорить?

Никто не спорил, и Маргарита торжественно подняла рюмку:

— Выпьем, друзья, за умных и трудолюбивых — за журналистов!

— Эге! — возмутилась Натка.— Почему такой почёт? Почему бы не за инженеров?

— Нас за столом больше всех,— Маргарита указала на себя и на Виктора,— двое...

— Нет, семейственности не будет! — решительно сказала Натка.— И что это значит — самые умные, самые трудолюбивые? Ещё вопрос — кто из нас трудолюбивее, не говоря о личностях...

— Хорошо,— согласилась Маргарита.— Пьём за всех по очереди, но первыми за нас.

— Тогда — поправка у меня,— вскочил Бахарев.— Пить за всех по очереди — это или для всех вина будет слишком мало, или для некоторых... чересчур много. А потому, товарищи, выпьем за всех сразу — за журналистов, инженеров, лётчиков, водников... и за комсомольских работников тоже. И будем считать, что все мы трудолюбивы и честны, умны и добросовестны на своих участках. Выпили?

— Сдаюсь,— сказала Маргарита и залпом выпила рюмку.

— Ох, чтоб тебя, Маргарит! — воскликнула Натка.— Чокаться надо!

— Извините великодушно — поспешила,— развела руками Маргарита.— Я налью себе другую, можно?

Она налила новую рюмку, до самых краёв, ужаснулась при этом: «Неужели я себя так люблю? Ну, эгоистка!» и протянула руку к Виктору:

— С вами первым, коллега!..

Виктор потянулся, чтобы чокнуться и с Олегом, но тот, глядя в сторону, проделал рукою какой-то ловкий пируэт, и чокнуться с ним Виктору так и не удалось...

Виктор понемногу начинал чувствовать действие вина, очевидно, и остальные тоже, потому что речи стали ожив-

лёнее, жесты свободнее. Натка негромко, но горячо втолковывала что-то Бахареву. Один Олег молчаливо высился на своём конце стола. Он смотрел в сторону, и всё же Виктор чувствовал на себе его косой взгляд...

Маргарита вдруг сказала басом, очень точно передавая интонации Наткиного голоса:

— Нат, завидно!..

— Ну, чего тебе? — недовольно оторвалась от разговора подруга.

— Завидно! — повторила девушка.— Вы всё сидите и воркуете, мы всё сидим и смотрим... Братцы! — схватила она графин с вином и стала наполнять рюмки,— я предлагаю ещё один тост — за счастливую пару, за Сашу и Наташу! Ура!

Был принят и этот тост, и Натка снова смутилась,— теперь это выразилось в том, что она приняла страшно деловой вид и спросила: «Маргарит, ты котлеты посолила?», но все поняли, что дело не в котлетах, а в том, что Натка смутилась...

Виктору вдруг как-то сразу пришло в голову, что он очень остроумен, что стоит ему сказать хотя бы одно слово, и все будут поражены. Он всё отыскивал это слово, но никак не мог найти и потому только с загадочной улыбкой смотрел на окружающих.

А Маргарита посидела немного и опять сказала Наткиным голосом:

— Нат, завидно!..

— Чего тебе? — откликнулась подруга.

— Завидно, Нат, у тебя Саша умный, Саша тебя любит, а меня... Т-с,— Маргарита неожиданно приложила палец к губам.

Виктор совершенно точно знал, что может сейчас сказать что-то очень остроумное, но никак не мог вспомнить, что именно...

Натка встала из-за стола и подошла к Маргарите:

— Милая моя, да ты же пьяная! Так тебе и надо — четыре рюмки подряд... Говорил Саша, что будет много...

— Нет, я не пьяная, я совсем ничуть не пьяная,— промолвила Маргарита и расхохоталась: — Так разве говорят — «совсем ничуть»? Виктор, выправьте!..

Маргарита поднялась и бодро двинулась по комнате, повторяя:

— Я не пьяная, я всё понимаю, я знаю, что надо делать...

Она сняла со стены вышитый портрет Максима Горького, свела Натку и Сашу вместе и, протянув им портрет, сказала:

— Вот вам мой подарок, только это на двоих, обязательно на вас двоих...

Маргарита вернулась на место:

— И мне что-нибудь подарите — на двоих... Или нет — не дарите. Мне никогда ничего не нужно будет дарить на двоих... Правда, Виктор?..

Виктор никак не мог оставить вопрос без остроумного ответа. Он мучительно напряг отчего-то перепутавшуюся память, и тут в ней отчётливо осветилась искомая остроумная фраза:

— А гурьевскую кашу вы готовить не умеете!.. Ещё в колхозе говорили...

Маргарита хлопнула себя по лбу и выскочила из комнаты. Через минуту она вернулась и поставила перед Виктором тарелку:

— Вот вам...

Виктор поблагодарил, а потом ел что-то хрустящее и сладкое, оно было, повидимому, довольно вкусным, но что это такое и действительно ли оно так вкусно — над этим Виктор не размышлял, потому что все его усилия были направлены на то, чтобы не упустить ускользающую фразу насчёт каши...

Пили ещё. Натка перед этим прихлопнула ладонью Маргаритину рюмку:

— Она — больше ни капли!..

Виктор выпил своё, и фраза вдруг улетучилась. И вообще произошло что-то непонятное со временем и окружающей обстановкой. Что касается времени, то его прошло совсем немного, так по крайней мере казалось Виктору. Но обстановка почему-то заметно переменилась: комната почти опустела, и за окном было уже совершенно темно. От раскрытой двери на балкон тянуло холодком, и Виктор почувствовал вдруг, что ему душно. Он вышел на балкон. Опершись на перила, там стояла Валя. Виктора не удивило, что она оказалась здесь. Он окликнул её:

— Валя!..

Девушка обернулась, и... Виктор окончательно пришёл в себя. Он смущённо закашлялся, потом проговорил:

— Простудитесь, Маргарита,— свежо...

Девушка не ответила.

Помолчав, Виктор непринуждённо сказал:

— Почему это ваш Олег был весь вечер в плохом настроении? Неужели всё из-за Никитина?..

Маргарита неожиданно спросила:

— Виктор, вы любите... Валю?

От этого прямо поставленного вопроса остатки хмеля вылетели из головы Виктора. Ему стало зябко и неуютно. Он поискал папиросу и нарочито долго раскуривал её.

Маргарита махнула рукой:

— Впрочем, не отвечайте...

Она опять оперлась на перила, потом резко оттолкнулась от них:

— Виктор!..

Словно стояли они сейчас не на балконе, а снова на узкой просёлочной дороге, — те же интонации, тот же блеск Маргаритиных глаз и даже больше — то, что было тогда только намёком, теперь уже не вызывало сомнений.

— Да? — негромко спросил Виктор, не зная, что ему делать, как себя вести.

Маргарита ещё несколько мгновений смотрела ему в глаза, затем встряхнулась, как будто избавляясь от чего-то навязчивого:

— Идёмте пить чай, Виктор...

За чаем Виктор вспомнил:

— А гурьевскую кашу так я у вас и не попробовал.

— Кашу? — безучастно спросила Маргарита. — Вы же съели её целую тарелку.

— Выпил — вот и забыл,— вдруг подал голос Олег.

И, кажется, он пришёл, наконец, в хорошее настроение...

Вопреки воспоминаниям

Отчего иногда так бывает: вспоминаешь большое событие в своей жизни, но на память приходит не главное, а какие-нибудь мелочи?

Хочешь вспомнить, как первый раз пришёл в школу, а в голову лезет совсем другое: как уже после занятий встре-

тил одного мальчишку, с которым были старые счёты, и в каком плачевном виде после этой встречи оба разошлись по домам. Хочешь снова представить проводы старшего брата в армию,— он был призван за два года до войны, срок свой до начала войны отслужить не успел, а с фронта так и не вернулся,— хочешь представить его проводы, и всего только две вещи приходят на ум,— что брат, сняв густую шевелюру машинкой нулевой номер, стал не похож на себя да что перед уходом он подарил на память свой чёрчый складной нож со многими лезвиями и этот подарок — предел мечтаний и желаний человека в том возрасте — отвлёк внимание от всего остального...

Впрочем, по характеру своему Геннадий Никитин не любил воспоминаний и в другой раз счёл бы просто позорным для себя тратить на них время. То, что прожито,— прожито. Геннадий жил настоящим, жил будущим, прошлое же было для него интересно лишь постольку, поскольку в нём содержалось кое-что, что могло послужить уроком в настоящем и в будущем,— не больше. И если сейчас он всё-таки изменил своему правилу, припоминая то, что не имело практического значения, то это потому, что Григорий Михайлович занимал слишком значительное место в жизни Геннадия и, думая о нём, нельзя было не припомнить многое.

Когда точно Смирнов стал их соседом, Геннадий ответить бы затруднился, он был ещё мал в то время, но что занятия и привычки нового обитателя «Логòвки» стали ему известны очень скоро,— за это он мог ручаться: в «Логòвке» вообще быстро узнавали людей.

«Логòвкою» именовалась окраинная часть города, раскинувшаяся по склонам большого оврага, образованного речушкой, которая носила то же название и вытекала неизвестно откуда,— даже старожилы не знали этого. Маленькие домики — бревенчатые, дощатые, мазанки — без счёта и порядка лепились на склонах, как сакли в кавказском ауле,— те, что жили повыше, всегда видели, что делается в нижних дворах, но и в их дворы мог заглянуть любой прохожий, находившийся на краю лога. Возникла «Логòвка» в те годы, когда строительство Великой сибирской магистрали неожиданно превратило безвестную деревушку в город и этот новорождённый город стал расти не по дням, а по часам. Неизвестно, чем привлекала людей «Логòвка» — тем ли, что вода была под боком, или бли-

зостью станции,— селились здесь в основном железнодорожники,— но домики появлялись тут, как грибы, сразу кучками, чуть не каждый день. Так, правда, было в те, первые годы. К тому времени, когда Геннадий помнил себя, «Логовка» уже начинала умирать. Как всё поспешное и временное, она теперь никого не удовлетворяла. «Логовку» проклинали,— сами жители, когда весною тихая речушка вдруг взбухала и мутные воды её подступали к самым домам, шофёры, что уцепившись мёртвой хваткой за рукоятку тормоза, вели машину по бугристым дорогам «Логовки», почтальоны, которые изучили «Логовку» вдоль и поперёк и всё же иногда подолгу разыскивали нужный номер...

Да, «Логовка» доживала последние годы. Уже подступили к самому оврагу многоэтажные махины новых зданий, уже звенел наверху трамвай, уже составлены были проекты сноса всех домов в «Логовке» и устройства на их месте большого парка.

Геннадий понимал, что это хорошо, что так и нужно, и и всё-таки ему жаль было «Логовку». Он любил её посвоему, как любят, очевидно, всякое место, где родился и вырос, будь то шумный столичный город или тихое далёкое село. Мальчишкою он, пожалуй, считал своим домом не только собственноручно отстроенный отцом барак, а всю «Логовку» — всю, с её пусть невидными, но бесконечно знакомыми строениями, с досками, перекинутыми через речушку вместо мостов, с крохотными огородами, рассыпанными по всем дворам. Что могло быть лучше, чем летом часами бродить в речушке по колено в воде, опасаясь только стёкол и гвоздей на дне; или забраться на тонкую гибкую черёмуху и до того наесться спелой ягоды, что ставший чёрным язык еле ворочался потом во рту; или смастерить из отрезка медной трубки и куска дерева пугач набить его спичечными головками да на удивление друзей «жахнуть» так громко, чтобы зазвенело в ушах; или зимой выбраться на гору, уже «в город», в чужие края, уцепиться проволочным крюком за грузовик и мчаться на коньках во весь опор,— плохо было одно, мог заметить милиционер, свести к родителям и даже, того хуже, срезать коньки...

Вот в эти беспечные годы и поселился по соседству с Никитиными Григорий Михайлович Смирнов. Мельком Генка видел его — крепкого, скуластого, с огрубевшими

потемневшими руками, по которым безошибочно можно определить рабочего человека, а сведения о нём он почерпнул из разговоров дома: в «Логовке», как сказано, быстро узнавали людей. О Смирнове отзывались с уважением: «Голова! Изобретатель!» Был Смирнов простым рабочим, но за острый ум и смётку его равняли с инженерами: много числилось за ним изобретений и рационализаторских предложений, принёсших большую пользу заводу. Впрочем, личность Смирнова была в высшей степени безразлична Генке,— изобретает, ну и пусть, мало ли чего чудачат взрослые. Гораздо больше интересовала его блестящая толстая проволока, которою новый сосед зачем-то опутал заборчик вокруг своего огорода. Генка и сам не знал, правда, что бы он стал делать с этой проволокой, но сердце его раскалывалось уже потому, что добро, с его точки зрения, пропадало попусту. Сомневаться Генка не любил: пропадает — значит, нужно, чтобы не пропадало. И когда стемнело, он, захватив из дому кусачки, перебрался в соседний двор. Моток за мотком,— и Генкино настроение всё улучшалось. Он почти уже закончил сматывать проволоку, когда тяжёлая рука опустилась ему на плечо. Генка рванулся, но тщетно: рука держала его крепко. Раскатистый голос, нетихий вообще, но в тот момент показавшийся мальчишке просто громовым, сказал:

— А ну, мотай назад!..

И Генка с дрожью в коленях повторил всю только что проделанную работу в обратном порядке. Когда были сцеплены перекушенные концы проволоки, обладатель раскатистого голоса и тяжёлой руки — как нетрудно догадаться, Смирнов — распорядился:

— Айда в хату!..

Генкины мысли мелькали с быстротою молнии. Сказать, что пришёл издалека,— потом всё равно узнает, а сейчас, чего доброго, уволочёт в милицию. Сознаться?.. Генкины уши заныли сами собой при воспоминании об отце. Расплакаться?.. Но кто его знает, какой этот Смирнов,— бывают такие, что когда парень ревёт, становятся ещё злее. И всё же что-то надо было сделать непременно...

Они вошли в дом. Там был полумрак,— наверное, все уже легли спать,— только угол был освещён лампой, прикрытой газетой. На столе Генка увидел чертежи и книги, на стене на дужке зачем-то висел колокольчик, на стуле стояла хитрая машина с обилием колёсиков и рычагов.

— Садись,— переставил хозяин машину со стула на стол, сдвинув чертежи и книги в сторону.— Ты чей?..

— Соседский,— промямлил Генка.— Никитиных...

— Звать как?

— Геннадий...

— Так... Зачем же ты проволоку хотел смотать? Продать думал?

Генку вдруг осенило. Прикинувшись казанскою сиротою, он запричитал:

— Дяденька, вы не считайте... Это нам в школе, для кружка... Радио мы проводим...

Генка попал в точку,— Смирнов улыбнулся:

— Вот оно что... Тогда — дело другое. Только чего же ты тайком,— пришёл бы ко мне, я б без всякого дал.

— Я... этого...— замялся Генка.— Всё равно же она у вас зря на заборе...

— Зря, говоришь?.. Это как сказать!..— Смирнов вдруг с досадой крякнул: — Садовая голова! Радио проводить, а проволоку без изоляции брал. Техник!..

— Не видно в темноте,— схитрил Генка.

— На ощупь можно узнать...

Смирнов открыл шкафчик.

— Проволоки я тебе дам, сколько надо, подходящей..

Он протянул Генке большой моток.

— Спасибо, дяденька,— растерянно проговорил Генка

— Григорием Михайловичем меня зовут...

Смирнов неожиданно громко расхохотался и тут же осекся, чтобы не разбудить спящих.

— Ну, попался бычок на верёвочку! Сам доложился: я тут, хватайте меня скорей!..

Он указал на колокольчик:

— Видишь?

И объяснил нехитрое устройство, с помощью которого всякий дотронувшийся до проволоки сигнализирует о себе в дом.

«Изобретатель!» — почти со страхом подумал Генка

Он чинно поднялся:

— Спокойной ночи, Григорий Михайлович!

— Пока! — сказал хозяин.— Да гляди в другой раз ночью по двору не шастай, нето пушку против тебя приспособлю: влепит пареной репой, своих не узнаешь...

Подарок Смирнова Генка выгодно выменял на сло-

манный фонарик с «динамкой» и через пару дней забыл о происшествии. Но не забыл о нём Смирнов.

— Орёл! — окликнул он однажды Генку.— Радио вы там у себя провели?

Генка не сразу даже сообразил, о чём идёт речь.

— Ах, радио? Провели, как же...

— А теперь чем заняты?

Генка не знал, как выкрутиться: чем же ещё, кроме радио, может заниматься выдуманный им кружок?

— Мы... того... не работаем,— с трудом вышел он из положения.— Руководитель заболел...

— Жаль,— посочувствовал Смирнов.— Ну, идём ко мне, техник, покажу тебе одну вещь.

В доме он подвёл Генку к уже знакомой тому хитрой машине и включил моторчик. Тоненькая проволочка потянулась в машине, сбоку к проволоке подходила шёлковая нитка. Моторчик гудел, и проволока на ходу одевалась в нитяной покров.

— Как понимает, смотри! — радостно расхохотался Генка.— Ну, игрушки...

— Горе луковое! — обиделся Смирнов.— Высказался тоже — «игрушки». Эти игрушки, брат, миллионами пахнут.

— Ой, ты! — не поверил Генка.

— А ты как думал? Это, Геннадий, вот что. Электромоторы ты, понятно, знаешь. Есть они повсюду — на заводах, на фабриках, в шахтах. Мотор — штука ценная. Но вот запятая,— как у него катушка сгорит,— так его сразу в лом. Не могут новую катушку сделать, и только. А теперь...

Генка осторожно дотронулся до проволочки и отдёрнул палец.

— Кусается? — засмеялся Смирнов.— Ох, помучила она меня, дорогая,— он любовно погладил машину.— В сутки, поверишь, по три часа всего спал. С женой скандалов было! Раз мне срочно нитки были нужны, и нет их под рукой. Что делать?.. Решил... как ты тогда: взял и распустил у неё чулки. Тоже для дела, понимаешь?..

Генка деликатно опустил глаза.

— А теперь точка! Письмо вот получил... из Совнаркома. Поздравляют и всё такое прочее.

— Ну да! — снова не поверил Генка.

— Гляди...

Он подал большой серый конверт.

— «Пра-ви-тель-ствен-ное»,— запинаясь, прочёл Генка.— Верно...— шёпотом произнёс он.

Минуту Генка раздумывал.

— Так может... Сталин это письмо видел?

— Что ж... может быть...

С тех пор сосед неизмеримо вырос в Генкиных глазах. Человек, которому писали из Москвы, из Совнаркома, что-нибудь да значил. Мальчишке, однажды подразнившему маленькую дочку Смирнова, Генка поставил такой фонарь под глазом, что бедный парень неделю ходил с повязкой...

Окончательно Генка подружился с соседом, когда тот быстро починил ему фонарик — тот самый, что Генка выменял за проволоку. (Первоначально Генка хотел даже выменять проволоку обратно, но, оказалось, она уже была израсходована, и Генка решил, что фонарик всё же надо починить,— не пропадать же добру!).

Генка часто теперь наведывался к Смирнову. Хозяин сидел за чертежами или мастерил что-нибудь, а гость терпеливо наблюдал за ним, боясь даже кашлянуть, чтобы не помешать: кто знает, может быть, то, над чем сейчас думает Григорий Михайлович, ещё важнее, чем изобретение с моторами, а ведь о том изобретении знала Москва!..

Начало войны совпало для Геннадия с окончанием семилетки. О техникуме, как предполагал он раньше, думать пока было нечего,— одной отцовской зарплаты было недостаточно. И когда Григорий Михайлович предложил ему поступить на их завод, Геннадий согласился без колебаний.

Смирнов в то время был уже начальником цеха,— одной практикой, конечно, он обойтись не мог и потому заочно учился в машиностроительном институте.

Профессию Геннадий освоил легко, незаметно для самого себя он многое узнал, ещё когда молчаливо наблюдал за работой Смирнова у него дома. И оттого, что он стал равноправным рабочим, а также потому, что Геннадия вообще мало что могло смутить и он очень скоро находил своё место — причём никогда не последнее — в любой обстановке,— от этого всего завод довольно быстро превратился для Геннадия в такой же большой дом, каким была для него «Логовка».

На заводе отношения Геннадия со Смирновым стали более официальными, чем дома,— и Геннадий не обижался, понимая, что так и должен держать себя начальник цеха с подчинённым. Но в душе нередко у Геннадия возникало чувство, будто он всё ещё мальчишка, которого привёл к себе взрослый сосед и втолковывает разные истины: то прямо, то намёком, а то и с издевкой — коротко, но внушительно — Смирнов часто подсказывал что-нибудь, разъяснял самые сложные вещи. И работать, когда всё время за спиной чувствовалась твёрдая поддерживающая рука, было легко и радостно...

Потом родилась бригада «ильинцев». Сошлись пятеро — Никитин, цеховой комсорг Саша Бахарев, недавний школьник Сергей Иванов,— Генка совсем было посчитал его сначала «хлюпиком», а потом получилось так, что самому Генке пришлось его догонять,— Сеня Кочкин и Нина Спицына. Собрались пятеро по отдельности ничем не выдающихся людей и стали вытворять такие чудеса, что сами диву давались.

Если бы тогда Геннадию сказали, что дело не только в том, что он, Геннадий, так же, конечно, как и остальные четверо, трудится, что говорится, на все сто, он возмутился бы. Правда, он отдавал должное поточному методу, освоенному по предложению Григория Михайловича, но всё остальное относил исключительно за счёт напряжения трудовых усилий — и только.

Теперь, когда минули годы, когда Геннадий повзрослел и мог взглянуть на прошлое менее пристрастно, он понял, что не замечал раньше самого первого и главного. Почему, работая по отдельности, они в сумме не делали столько, сколько стали делать, работая вместе? Тут была уже не арифметика, а алгебра. Вместе они взаимно дополняли друг друга. То, чего не хватало одному, было у другого. Там, где нужна была напористость и смелость, выступал Геннадий. Туда, где требовалась выдержка и хладнокровие, направлялся Саша Бахарев. И вот почему, прежде всего, они работали лучше,— дело было не в одном напряжении. Это называлось «индивидуальным подходом, правильной расстановкой сил». И исходило это от того же Григория Михайловича, в чём Геннадий теперь не сомневался, хотя прежде казалось, что всё решают они сами на собрании бригады,— Смирнов умел подсказать иногда и незаметно...

Но воспоминания об этом только обостряли то смешанное чувство и обиды, и недоумения, и разочарования в лучшем и верном друге, которое испытывал Геннадий сейчас...

Получилось это случайно. Недели две назад Геннадий обрабатывал самую сложную и трудоёмкую деталь нового универсального станка. Он торопился: может быть, успеет кончить до пересмены. Но так и не успел. Сменщица Геннадия — Нина — окликнула его:

— Ещё возишься? Кончай, Гена, скорее, задержишь ведь! Снимай!

Геннадий с досадой взглянул на часы: да, пора. Нина поняла его:

— Жалко?..— и пошутила: — А то не снимай, я за тебя кончу...

Отмахнувшись,— тут было не до шуток,— Геннадий стал уже убирать деталь со станка, как вдруг остановился, поражённый неожиданной мыслью. Сама того не подозревая, Нина решила вопрос, который мучил его давно. Именно так,— к чему снимать громоздкую деталь, нести оправки и резцы в инструментальную с тем, чтобы через несколько минут Нина взяла их обратно и тратила время, устанавливая новую болванку для такой же детали!..

— Шевелись, Гена! — снова поторопила его Нина.— Я там у массовика заказала два билета в театр — у меня денег не было, — ты беги к нему скорее, а то уйдёт...

Сосредоточенно думавший Геннадий грубо оборвал её:

— Поди они, эти билеты!..

— Вот что? — вспыхнула Нина и стремительно пошла прочь.

— Стой ты! — чуть не выругался ей вслед Геннадий.— Слушай, какое дело!..

И тут же Нина сама забыла и о массовике, и о билетах. Решено было, что Геннадий немедленно идёт к Григорию Михайловичу.

Геннадий нисколько не сомневался, что предложение его будет сейчас же принято. Сколько раз уже он вот так же приходил в огороженную фанерой клетушку начальника цеха и говорил о новом предложении, родившемся у него или какого-нибудь другого члена бригады. Сколько раз уже Григорий Михайлович внимательно выслу-

шивал его, иногда молча прикидывал что-то на бумаге, потом коротко и точно вносил свои коррективы и благословлял:

— Приступайте!..

И никогда не случалось, чтобы предложение было отвергнуто целиком, использовалась хоть какая-то его частица,— только частица потому, что не всегда оказывалось реальным всё, что возникало в уме. Но на этот раз не могло быть сомнений даже в частностях,— речь ведь шла не о технике.

Поэтому обо всём Геннадий докладывал Григорию Михайловичу, как о деле решённом и только требующем формального одобрения:

— Будем делать так... Каждый передаёт своему сменщику... Выработку увеличиваем на...

Когда Геннадий кончил, Григорий Михайлович против обыкновения даже не раздумывал:

— За инициативу и стремление ускорить работу хвалю...

— Значит? — пожелал услышать окончательное разрешение Геннадий.

— Ясное дело — не разрешаю!

— Как это? — не веря тому, что слышит, спросил Геннадий.

— Так это... Иди, брат, отдыхай, у меня спешная работа...

— Но почему? — недоумевал Геннадий.

— Ты подумай — сам поймёшь, почему. Несерьёзно это...

— Чего ещё серьёзней! — запальчиво воскликнул Геннадий.

Начальник цеха начинал сердиться:

— Я повторяю — несерьёзно! Бахнул ерунду и хочешь, чтобы на неё тратили время...

Геннадий закусил удила:

— Ерунду, я не знаю, кто бахает! А наше предложение будьте добры рассмотреть и обсудить.

Коса нашла на камень.

— Мальчишка!.. Да ты понимаешь, что хочешь сделать? Двое будут работать по одному наряду,— значит, ни у кого никакой ответственности. За дураков всех считаешь? Наряды поумнее тебя люди выдумали, когда ты на свет десять раз ещё не родился...

— Умнее?..— Геннадий не находил слов от обиды.— А ваши моторы как?.. Тоже считали — ничего нельзя сделать...

— Моторы тут ни при чём,— перешёл на мирный тон Смирнов.— Моторы — это техника, а здесь дело в людях... Ну, чем ты ручаешься, что сменщик тебя не подведёт?

— Это Нина? — приподнялся со стула Геннадий.

— Ладно, тебя Нина, может быть, не подведёт,— махнул рукой начальник цеха.— А другие? Откуда ты знаешь — сейчас, пока его держит наряд, человек работает в полную силу, а когда на двоих, даже на троих будет наряд,— в три смены ведь работаем,— как тогда ты поручишься, что из него не полезет лодырь?

Убитый этим аргументом, Геннадий молчал.

— Так-то, орёл!..— уже ласково потрепал его по плечу Григорий Михайлович.— И нечего попусту лезть в бутылку, что ты, меня не знаешь?..

Да, Геннадий хорошо знал Григория Михайловича, и это, пожалуй, больше всего убеждало его в том, что всё, что он задумал, не стоит ни гроша. Когда он вышел от начальника цеха, Нина, уже приступившая к работе, нетерпеливо спросила:

— Делаем?

— А-а... ничего не делаем, всё ерунда,— коротко ответил Геннадий и вспомнил: — Какие там билеты взять?..

Геннадий решил больше не возвращаться к так быстро возникшей и так же быстро умершей затее. Но, странно,— это не удалось. Он даже спал в эту ночь, как никогда, беспокойно. Сны были сумбурные, несуразные, Геннадий часто просыпался, и сразу возникала мысль о том же... Наутро всё уже было ясно Геннадию: впервые аргументы человека, который был для него до сих пор непререкаемым авторитетом, оказались слабыми, ничего не доказывающими. Теперь Геннадий был убеждён в этом...

«Уверен ли? Можешь ли ручаться?» — несколько раз повторил Григорий Михайлович.

За кого, за Нину?

Геннадий узнал её, когда пришёл на завод. Сначала он удивился: девчонка, а туда же, в токари! Потом он признался в глубине души, конечно, в своей ошибке,— в работе девчонка не уступала ему. А потом он увидел, что ошибся в Нине и в других отношениях. Круглолицая,

со смешными ямочками на щеках,— словно она улыбнулась раз, а ямочки так и остались,— Нина могла вдруг стать злой и щетинистой. Она никому не давала спуску, а особенно Геннадию. Сперва он реагировал на это снисходительно, затем это начало его злить и, наконец, он, даже в глубине души, признаваясь себе только наполовину, ничего уже больше не желал, как чем-нибудь уязвить ехидную девчонку... или сделать так, чтобы она перестала его задевать,— он дошёл до того, что был согласен на компромисс. Но ничего не получалось, и Геннадий начал бояться Нины, потому что, будь на её месте парень, он просто свёл бы с ним счёты где-нибудь за углом, но против Нины нельзя было применить и такую сверхдейственную меру. И после того, как однажды он встретился с Ниной на улице, как они долго ходили вместе и разговаривали о чём-то, как в заключение они поцеловались — первый раз случайно, а потом уже не случайно,— после этого Геннадий скорее даже не радовался, а был ошеломлён и напуган...

Нина?.. Геннадий знал её теперь, как самого себя, и, как за самого себя, мог за неё ручаться.

Впрочем, и Григорий Михайлович не сомневался в Нине. Но другие?..

Сенька Кочкин? Этот тоже появился на заводе, как Сергей Иванов,— во время войны, в середине учебного года, прямо из школы. Низенький, маломощный, он был из той породы слабовольных людей, которые всегда нуждаются в уверенном в себе, бесшабашном друге-опекуне. Такого опекуна Кочкин увидел в Геннадии и стал немедленно подражать ему в манерах, даже во внешности, безуспешно пытаясь напустить себе на глаза такой же, как у Никитина, чуб. Шло время, менялся Геннадий, и, отражённым светом, менялся и Кочкин. Он не стал, конечно, похожим на приятеля, это было невозможно, но достаточно было того, что Геннадий мог по нескольким словам определить настроение Кочкина, мог почувствовать и предупредить приближение вспышек непреодолимого упрямства, которые бывали изредка у Сени, как у всех слабовольных людей...

Так, перебирая одного за другим, Геннадий припоминал всех членов своей бригады и, чем больше припоминал, тем больше убеждался, что прав он, а не Григорий Михайлович. Были у ребят недостатки, он и не отрицал

этого, но могли ли они сыграть решающую роль, если Геннадий прекрасно знал эти недостатки, а раз знал, значит, в силах был победить их? И, что самое важное, Геннадий был уверен, что не будет одинок,— как он, члены бригады тоже знали недостатки друг друга и всегда бы пришли на помощь бригадиру...

Всё это Геннадий готовился обстоятельно высказать Григорию Михайловичу Но тот прервал его на полуслове:

— Опять за своё? Ты, точно нарочно, решил у меня время отнимать... Стыдись — взрослый человек, а болтаешь попусту...

— Я хотел рассказать...

— Что рассказать? Что Кочкин — твой друг-приятель, что Спицына... Это ты в компании рассказывай, а не на работе. Документами, расчётами ты можешь подтвердить, что не провалишься и, больше того, не сорвёшь работу цеха?..

Нет, ни документов, ни расчётов не было на руках у Геннадия, да и не могло быть. Было незримое и неощутимое отношение к тому или другому человеку.

— Нету? — спросил начальник цеха.— Так вот договоримся, Геннадий,— беседа наша об этом была последняя...

Смирнов сдержал слово: в третий раз он просто попросил Геннадия выйти.

«Так... так...» — бессмысленно повторял Геннадий про себя после этого. К кому же пойти, кто ещё поймёт его, если не понял даже Григорий Михайлович. И сразу же решил — к Бахареву! К тому Бахареву, чьё хладнокровие и выдержка приходили на помощь, когда мало было одной напористости Никитина.

Александр, выслушав Геннадия, как и начальник цеха, спросил:

— Ни расчётов, ни документов?..

И, протирая очки, радостно засмеялся:

— А это ловко! Рационализация, где техника не играет, в сущности, роли. Где всё решают только люди. Да ты понимаешь, когда ещё, где ещё это могло и может быть? — спросил он с такой горячностью, словно сам уже отстаивал новый метод работы перед Геннадием.

Бахарев остановился:

— Но погоди, надо разобраться подробнее... Людей,

конечно, придётся переставить... К сильным надо поставить сменщиками ребят послабее...

И они заговорили о членах обеих бригад, которых Бахарев знал немногим разве меньше, чем бригадиры.

— Тебе, ясно, Спицыну сменять не к чему,— размышлял Александр.— Вы и сами себя подгоните, если нужно...

Когда перестановка сил была обсуждена, увлёкшийся было Геннадий поник:

— Да к чему это? Григорий Михайлович против!..

Александр внимательно посмотрел на него:

— Так, может... он прав?

Геннадий взорвался:

— Ты что, сам не видишь, кто прав? Ребят я не знаю, что ли?

Бахарев прищурился:

— Так в чём дело? Надо бороться...

— С... Григорием Михайловичем? — спросил Геннадий.

— Разное бывает на свете,— сказал Бахарев.— Не то, что с другом, с самим собой случается бороться...

Опять текущие дела

Собравшись на завод, Виктор только перед уходом вспомнил о письме, которое дала ему Верочка. Он приоткрыл дверь в кабинет Студенцова.

— Чего вам? — отчуждённо спросил Игорь.

Виктор знал теперь, что означает такой тон: Студенцов пишет какой-то материал. Вообще оттенки голоса Игоря распределялись, как звуки в гамме,— от низкого до самого высокого. Если, допуская сравнение из музыки, можно было сопоставить наиболее низкий звук «до» с наиболее добродушным тоном Студенцова, то это был тот тон, каким он замечал Михалычу:

— Ах, нельзя смотреть на жизнь сквозь розовые очки... Многое ещё далеко не совершенно.

В этом тоне рокотало искреннее сочувствие к собеседнику, который глубоко заблуждается во взглядах, и страстное желание искоренить всё плохое, что мешает сделать жизнь до конца чистой, светлой и радостной.

Самому высокому звуку гаммы соответствовал тон, каким сейчас встретил Студенцов Виктора,— в нём скво-

зили и жалоба, и огорчение, и острое нетерпение творящего человека, у которого — ещё минута, и будет оборвана ценнейшая нить рассуждений, с таким трудом натянутая им.

Впрочем, едва ли, конечно, встретится человек, чей голос не обладал бы различными оттенками. Но их не так-то легко уловить, потому что переходы между ними обычно постепенны. Студенцов имел способность пропускать промежуточные тона, отчего контраст был разителен. Игорь мог зазвать человека к себе и, лениво откинувшись на спинку дивана, повести неторопливую беседу тем тоном, что при музыкальном сравнении был тождественен звуку «до». Собеседник, и сам приняв такой же благодушный тон, начинал рассказ о чём-нибудь, как вдруг в наиболее напряжённое место рассказа резкой высокой нотой врывалось замечание Студенцова:

— Всё это хорошо, но дело не ждёт!..

Собеседник смущённо удалялся, обида же на то, что его так неожиданно прервали, при здравом рассуждении скоро проходила, ибо такой резкий переход мог означать лишь одно: человек, каждое мгновение у которого загружено до отказа, допустил небольшую передышку, но вот срок короткого отдыха миновал, и всё постороннее отметается перед главным — делом...

На этот раз, однако, Виктор решил всё-таки зайти к Студенцову, потому что письмо, какой бы оно ни имело характер, было самым важным делом в редакции, что при каждом удобном случае подчёркивал Осокин.

— Вот... для вашего отдела,— промолвил он.

Студенцов на секунду вернулся к своей рукописи, стараясь, очевидно, не забыть то, что хотел он писать дальше, потом разорвал конверт и быстро пробежал несколько листков, отпечатанных на машинке.

— Что за бред? — спросил он, наконец.

Виктор только пожал плечами: он догадывался о содержании письма ещё раньше.

— Бред... И к тому же анонимка, без подписи. Откуда это у вас? — повертел Студенцов в руках чистый конверт.— Почему ко мне?

Виктор пояснил:

— Мне передали и сказали, что это о театре...

— Хм,— сморщился Студенцов.— Вы же не мальчик и должны понимать, что в театре нас интересует искусст-

во, творчество... А тут, чёрт знает, какие-то сплетни, ка-кая-то материя для декораций...

Он протянул Виктору конверт:

— Передайте в отдел писем...

И сразу же углубился в работу, всем видом давая понять, что окружающее больше для него не существует

Виктор взялся уже за ручку двери, когда Студенцов встрепенулся:

— Погодите... э-э, Виктор!.. Дайте письмо...

Он снова повертел листки в руках, потом со вздохом произнёс:

— Всё равно ведь направят к нам...

И спросил:

— Оно зарегистрировано?

— Нет, я сразу понёс к вам...

Студенцов отложил письмо на стопку папок и опять отрешился от мира сего. Виктор постоял немного, не зная, как же ему теперь поступить.

— Ну, что вы? — поднял на него взгляд Студенцов.— Оставьте, я разберусь...

На завод Виктор ехал в трамвае. Девушка в тёмном платье вскочила в вагон с передней площадки, и Виктору показалось, что это Маргарита,— но он ошибся. Вообще Маргарита чудилась ему сегодня повсюду, потому что он никак не мог забыть то, в чём убедился в праздничный вечер. Это не означало, что Виктор стремится встретить девушку, нет, наоборот, он даже боялся этого. Странно устроены люди: им всегда хочется того, чего трудно добиться, а не того, что само идёт в руки. Ну, что если бы на месте Маргариты была Валя, как всё хорошо сложилось бы тогда для Виктора! Или совсем не было бы никакой Вали, а была одна Маргарита. Хотя... этого Виктор всё-таки не желал. Маргарита... Что ж, она и умная, и жизнерадостная, и красивая тоже. Но что мог поделать с собою Виктор, если с Маргаритой он чувствовал себя только просто и весело, не больше. Иное дело — Валя. Однако, нельзя ж было сказать или даже дать понять это Маргарите, разве её это устроило бы? Разве самого Виктора устраивало, когда Валя... Ход мыслей Виктора вдруг резко нарушился. Валя! А что если она относится к нему так же, как и он — к Маргарите? Ведь у него уже появлялось это предположение, давно ещё, после памятного разговора с Валей по телефону. Потом он отбросил та-

кую мысль, причём сам, он сам, в сущности, уговорил себя, что это не так. А на деле?.. Почти два года, и всё попрежнему. Как и раньше, Валя мягко, но решительно уходит от окончательного ответа. Как и раньше, он для неё только попутчик в кино, театр, на концерт, в библиотеку. И даже... Виктор стал перебирать в памяти както сразу возникшие мелочи, на которые прежде он не обращал внимания, но которые сейчас сложились вместе в неожиданную и неприятную картину. Почему за последнее время Валя стала избегать даже этих посещений кино, театра, концертов? Правда, причины каждый раз были как будто основательные,— то Валя сдавала зачёт, то у неё было занятие в спортсекции, то её отвлекали какие-то домашние дела. Виктор верил всему, очень жалел, и Валя тоже жалела... или делала вид, что жалеет? И вот, наконец, случай с праздником. «Встретиться не смогу, приехала тётя, проведу вечер с нею»,— сказала Валя. И Виктор опять очень жалел, опять всему поверил, но теперь его поразила простая вещь, которая сразу не пришла ему в голову. Пусть тётя, пусть праздник надо было провести с нею вместе, но почему Валя не пригласила его? И отчего она поспешила заговорить о другом, как будто боялась, что Виктор сам напросится на приглашение?..

Трамвай вышел на кольцо, пора было сходить, завод уже совсем близко...

Неожиданное волнение охватило Виктора, когда он протянул вахтеру в проходной будке разовый пропуск. На миг Виктору показалось, что на нём опять надета промасленная куртка, а не костюм и светлая сорочка, что он всё ещё рядовой рабочий этого большого завода. Показалось,— и тут же это чувство исчезло, потому что даже первое, что бросилось ему в глаза — площадка перед цехами,— стало иным, чем прежде. Площадка была теперь асфальтирована, а по бокам дорожки тянулись тоненькие деревца, посаженные, очевидно, только этой весной. Изменились и цехи,— они очистились от хлама, став словно просторнее, там и сям виднелись новые станки, каких не знал Виктор...

Виктор смотрел на всё это, как человек, вернувшийся после долгой разлуки домой и с ревнивой гордостью замечающий то, что давным-давно примелькалось домочадцам.

Одно осталось совершенно таким же, как и раньше,— запах масла, но он казался теперь не тошнотворным, а даже приятным. Человеческая память имеет свойство не только сохранять иногда мелочи, но, наоборот, отметать их, оставляя место для самого существенного.

Виктор спохватился, что упускает дорогое время: только что начался обеденный перерыв, и это было всего удобнее для него. Он нашёл Геннадия ещё у станка, и они устроились возле тумбочки, присел на круглые стальные болванки.

Геннадий рассказывал, и Виктор, слушавший его сначала, аккуратно разложив блокнот, записывая и мысленно переводя уже черновые записи в чистовые,— постепенно заразился сдержанным волнением собеседника. Он, не замечая того, из журналиста стал превращаться в такого же токаря, как Геннадий, обсуждавшего новый производственный вопрос,— возможно, этому способствовала знакомая атмосфера цеха.

Он задавал вопросы, не думая больше ни о черновых, ни о беловых записях:

— Ну, хорошо, а чистить станок токарь всё-таки должен?.. Ладно, а как подсчитывать выработку?..

И лишь когда Геннадий подытожил: «Вот всё», журналистские привычки вернулись к Виктору. Он спросил уточняя выражение:

— Иными словами, детали пойдут сплошным потоком?..

— Можно сказать и так,— вдруг словно нехотя ответил Геннадий.

— Молодцы! — воскликнул Виктор.— Поздравляю!

— Нечего поздравлять,— поёжился Геннадий.

— Почему?..

— Потому что ерундистика всё это, говорят! — раздался голос сзади.

Виктор быстро оглянулся. Когда это их с Геннадием успели обступить ребята в спецовках? — он не заметил.

— Документики подай, говорит! Бюрократ чёртов,— гнать бы таких в шею! — горячась, продолжал низкорослый паренёк с жёсткими курчавыми волосами — Сеня Кочкин, узнал его Виктор.

— Ну, это брось! — резко оборвал его Геннадий.— Вояка — «гнать»! Забыл, сколько он с тобой возился,

022—2

пока токаря из тебя сделал? Ты хоть половину того потрудись, сколько он потрудился, тогда гони...

— «Сделал, потрудился!» — не унимался Кочкин.— Когда-то сделал, а сейчас? Метлой надо всех бюрократов...

— Хватит! — стиснул зубы Геннадий, и Кочкин, поперхнувшись, замолк.— Не можем начать потому, что не разрешает начальник цеха... товарищ Смирнов,— Никитин обращался уже к Виктору.

— Да почему?..

— Не верит нам, за лодырей и рвачей считает,— снова не выдержал Кочкин.— Если так, нас и к станку подпускать нельзя.

— А как тебе верить? — ощетинился Геннадий.— Кто мундштук в рабочее время точил? А?

Кочкин встрепенулся:

— Так это когда было?... И, ей-богу, заготовок тогда не хватило, станок всё равно стоял, я ж говорил, Гена.. Этого Смирнова,— он упрямо вернулся к прежней теме,— разделать надо так, чтобы зубы полетели. Чтобы вышибли его с треском...

— Семён! — сжал кулак Геннадий, и Кочкин больше не вмешивался.

Помолчав, Геннадий уже спокойно продолжал:

— По-своему он прав, Смирнов... Мало ли бывает таких — ты ему доверишь, он воспользуется и подведёт тебя, как... Но за свою бригаду, за Спицынскую, я...— подумав, Геннадий поправился: — Друг за друга мы ручаемся... Вот тут-то и надо нам помочь...

Звонок возвестил о конце перерыва. И точно ветром сдунуло обступивших Виктора и Геннадия ребят к станкам. Виктор только головой покачал: «Крепко у них — ни минуты!..»

Станки загудели, с них побежали длинные иссиня-фиолетовые стружки. Виктор наблюдал за Геннадием. Весь уйдя в работу, тот неотрывно глядел на резец, иногда рывками отводя и подводя его,— когда он делал это, желваки начинали двигаться на его лице. Казалось, ничто уже не занимает его, кроме резца и стали, но вдруг он оторвался от работы и крикнул, перекрывая гул моторов:

— Кочкин! Семён! Сколько раз сказано,— когда середину обдираешь, переводи на быстроход...

Виктор решил ещё зайти в райком, к Бахареву. Не потому, конечно, что он сомневался, правильно ли будет отстаивать в газете предложение бригады Никитина. Во-первых, коротко Бахарев уже высказал ему свою точку зрения. А во-вторых, это совсем не походило на происшествие с трактором Павла. Здесь Виктор не шёл на поводу случайного мнения, здесь он во всём разбирался сам,— и, между прочим, опять убедился, насколько это проще и лучше, когда разбираешься... Но всё-таки к Бахареву он решил зайти,— практика убедила его, что лишний совет... никогда не лишний для журналиста.

Виктор мысленно уже представлял свою статью. Особенно острым должен был быть конец: заклеймить, позором заклеймить бюрократа и чиновника Смирнова,— Кочкин, пожалуй, тут прав.

Бахарев согласно кивал, слушая Виктора. Но после того, как был пересказан конец статьи, на лице его появилось сосредоточенное выражение:

— Я, конечно, навязывать своё мнение не хочу, но... К чему же так сильно? «Совершенно отставший от жизни человек...» Это почти — «Долой с работы!», я правильно понял?

— Он губит живое дело,— подтвердил Виктор.

— Он сотворил на своём веку очень много живых дел,— сказал Бахарев.— И одна ошибка не даёт права ставить на нём крест. Ты, очевидно, мало его знаешь?..

Виктор хотел возражать,— место о Смирнове нравилось ему больше всего, а трудно исправлять в статье место, которое нравится самому. И... не сказал ни слова Он вспомнил стихи, которые писал когда-то о колхознике со странной фамилией Шептало...

На прощание Бахарев сообщил:

— Тебе передавала привет Наташа,— она уехала...

— Кто? — спросил Виктор и, спохватившись, смутился: — А-а, спасибо...

Ласковое имя «Наташа» всё-таки не вязалось в его представлении с образом Натки.

Писал статью Виктор дома, решив не откладывать это на утро. И когда, разгорячённый и радостный, он поставил после своей подписи точку, в передней хлопнула дверь: пришли Николай Касьянович и Митрофанов,— Виктор догадался по голосам. Далецкий тоже, очевидно,

был доволен сегодняшним днём. Он возбуждённым тоном докончил начатый раньше разговор:

— За это хвалю, весьма!.. Остальное — в зависимости от обстоятельств...

Как складывались обстоятельства

Больше, чем очень многие люди, Николай Касьянович Далецкий обращал внимание на жизненные обстоятельства. Дело было в том, что долгое время, весьма долгое, они складывались наперекор его чаяниям и надеждам. Пытаясь примириться с ними, Далецкий приспосабливался к обстоятельствам, но едва успевал это сделать, как те, точно в насмешку, складывались ещё неожиданнее и невыгоднее.

Жизненные принципы и цели Николая Касьяновича не были случайными и неестественными, как не может быть случайным, скажем, что из яйца сороки вылупливается будто две капли воды похожий на мать с отцом сорочонок. Твёрдые зачатки этих принципов и целей Далецкий получил ещё в обставленной громоздкими вещами родительской квартире. Они слагались из многих, на первый взгляд разнохарактерных, но, в сущности, однородных деталей,— из уважения к вещам, которые почти боготворились в доме, и привычки к тому, что сесть в будни за полированный дубовый стол, накрываемый исключительно ради гостей, равноценно святотатству; из убеждённости в том, что каждый ближний единственной целью своей ставит как можно ловчее обвести тебя вокруг пальца и что избежать этого можно, только обведя вокруг пальца самого ближнего; из наивысшего презрения и настороженности к излишней мечтательности, благотворительности и чересчур сердечному сочувствию. Последнее допускалось лишь в строго ограниченных рамках, как то: по части мечтательности были приемлемы мечты о благополучии и процветании своего дома, на дело благотворительности выделялось по воскресеньям несколько грошей для нищих у церкви, сочувствие же вообще считалось вещью сугубо официальной, а то, что именуется искренним, сердечным сочувствием, воспринималось, как наиболее хитрый вид маскировки, направленный опять-таки на то, чтобы ловчее обвести своего ближнего вокруг пальца...

Итак, в этой питательной среде и созрели жизненные принципы молодого Николая Касьяновича, которые, говоря коротко, сводились к трём пунктам: 1. Не дать оставить себя в дураках; 2. По возможности оставить в дураках других; 3. Избавиться при этом от всех и всяких сантиментов. Цель характеризовалась ещё короче: подмять под себя возможно больше других, чтобы возможно выше оказаться самому.

Впрочем, следует оговориться — в семье Далецких тщательно избегали таких обнажённо грубых формулировок. Всё облекалось в пышную мишуру высоких фраз, как облечены были в роскошные переплёты пухлые комплекты журнала «Нива», на обложке которого изображена была идеальная благополучная семья,— он, в элегантном костюме, с бородкой и усами в стиле императора Николая второго, дородная и благочестивая она, их отпрыск — существо среднего рода, в котором изобретательный художник сумел сочетать признаки херувима и молодого барашка,— все трое читали тот же журнал «Нива». Пробежав очередные страницы повести Потапенко, Брешко-Брешковского, Ясинского или ещё какого-нибудь модного автора того времени, просмотрев серию картин священного или фривольного характера — то и другое мирно уживалось в журнале,— можно было, наконец, с упоением углубиться в обстоятельную статью о столетнем юбилее всемирно-известной фирмы «Братья Елисеевы», почерпнув из этой статьи хотя бы тот примечательный факт, что лишь за десять лет фирма приобрела заграничных товаров на сумму свыше двадцати пяти миллионов рублей. Можно и нужно было вместе с почтенным журналом восхищаться энергией и предприимчивостью владельцев фирмы, но совсем не к чему было, как и «Ниве», разбираться детально, какими путями достигли они преуспевания и за какие грехи они отгрохали церковь во имя Казанской Божией Матери на Большой Охте в Петербурге. Елисеевы были миллионерами, и этого было достаточно, чтобы простить им любой грех в прошлом, настоящем и будущем. Деньги — новенькие, хрустящие, с изображением двуглавого орла — являлись тем средством, которое позволяло выбиться на поверхность, оставив в дураках всех остальных...

Возможно, именно в те тихие семейные вечера, когда читалась «Нива»,— эти чтения тоже были нерушимой тра-

дицией,— и закалились окончательно принципы и цели Николая Касьяновича. Всё казалось ясным и осуществимым, гарантии этого — прочными и фундаментальными, как массивная мебель в доме...

Но — выступили на сцену обстоятельства, и всё лопнуло с молниеносностью мыльного пузыря, закрутилось, понеслось вперёд стремительно, головокружительно, умопомрачительно, испытанный путеводитель — «Нива» уменьшилась в размерах, прокричала несколько фраз истеричным, невразумительным голосом Временного правительства и сгинула навсегда. Старые пухлые её комплекты скоро за недостатком топлива полетели в чугунную печку-«буржуйку», за ними последовало самое фундаментальное — мебель. И только парадный дубовый стол не постигла эта печальная участь,— его, кряхтя, взвалил на санки спекулянт-мешочник, возместив хозяевам потерю кулём обойной муки...

Мир в представлении Николая Касьяновича рухнул. Разбилось всё, что он с самого раннего детства уважал и боготворил, разбилось, рассыпалось на мельчайшие осколки, и тщетными были усилия тех, кто пытался хоть кое-как собрать эти осколки и склеить их...

А Николай Касьянович и не пытался: он был молод, чтобы разобраться в неожиданно нахлынувшем водовороте событий и, к тому же, одним из дополнительных принципов, тоже основательно усвоенным им, было — не соваться ни во что, очертя голову. Он затих, словно мышь в норе, во всём положившись на обстоятельства.

И вот — обстоятельства переменились. Они как будто улыбнулись ему и таким, как он. Николай Касьянович приподнял голову — сначала осторожно, потом смелее. Наконец, он решился стать во весь рост. Нэп оживил дорогие сердцу Далецкого слова — «акция», «фирма», «биржа» «доход». Чёрт с ним, что сгорела «Нива», что исчез парадный дубовый стол, — сохранились принципы Николая Касьяновича, он спешил, пока не обогнали другие, претворить их в жизнь...

Как свойственно человеку ошибаться! Как рискованно слепо доверяться обстоятельствам! Николай Касьянович убедился в этом, когда чудом избежал суда за некоторые запутанные и далеко не чистые махинации, проделанные им в тот период. Собственно, не чудом, а, ловко свалив всю вину на компаньона,— тут уже Далецкого выручила

его твёрдая заповедь об избавлении от всех и всяческих сантиментов.

Отныне Николай Касьянович стал другим,— ещё осторожнее, но и злее. Цель осталась та же,— он органически не мог представить иной, средства к её осуществлению приходилось искать новые. Обстоятельства опять переменились,— надо было приспособиться к ним.

Уважение, первое место доставалось теперь не тем, кого он чтил раньше, но самым простым людям. Что ж, если не мог похвастать происхождением от сохи или от станка сам Николай Касьянович, почему было не получить это от жены? Далецкий нашёл такую жену,— она устраивала его и происхождением, и слабостью характера.

Но обстоятельства снова посмеялись над Николаем Касьяновичем. Мало было написать в анкете, что жена родилась в бедняцкой семье, надо было самому проявить те качества, которых он с детства привык остерегаться,— самоотверженность, заботу о других, бескорыстие...

Жизнь шагала вперёд гигантскими шагами, воздвигала заводы и фабрики, гудела тракторами, звенела пионерскими песнями, а Николай Касьянович Далецкий опять притих, отскочив в сторону, опять бессильно глядел на окружающее, не найдя, будучи не в состоянии найти путь к заветной своей цели.

Обогатиться, выбраться повыше... Тысячи людей вокруг Далецкого завоёвывали славу и... деньги. Он завидовал тому, что они получали в награду, но не мог подражать им.

Полярники, которых награждали орденами, о которых складывали песни?.. Но они дрейфовали во льдах, они рисковали жизнью, а рисковать жизнью было не в натуре Николая Касьяновича.

Шахтёры, которые вырубали за смену эшелоны угля и зарабатывали очень солидные суммы?.. Но Николай Касьянович считал себя рождённым для интеллектуального труда, это он часто повторял жене, и трудное слово «интеллектуальный» прибавляло ей уважения к мужу.

Учёные, вырастившие новые сорта растений, открывшие новые методы лечения?.. Но с детства профессия учёного связывалась в представлении Далецкого с мечтательностью и глупым бескорыстием. Из него же готовили человека дела, единственное занятие которого делать деньги и превращать их в ещё большие деньги.

Обогатиться... Оставался ещё самый заманчивый путь— выиграть. Едва появлялась тиражная таблица, Николай Касьянович доставал книжечку, где каллиграфическим почерком выписаны были номера облигаций. Обстоятельства, однако, и тут наносили Далецкому удар за ударом. Они бездумно отдавали крупный выигрыш фабричной работнице, безвестному колхознику, студенту, купившему на скромную стипендию одну-единственную облигацию,— всем, но только не Николаю Касьяновичу! Болезненной страстью Далецкого со временем стало подолгу выжидать у свежей тиражной таблицы и, когда появлялся подходящий человек,— подслеповатая старуха, малограмотный старик,— услужливо предлагать:

— Позвольте, помогу,— у меня счастливый глаз...

Если облигации не выигрывали, Николай Касьянович говорил участливым тоном:

— Не повезло вам в этот раз, печально... Весьма....

И не было в эту минуту человека, счастливее его.

Иное дело, когда Николай Касьянович обнаруживал чужой выигрыш. Он больше не задерживался у таблицы, и жене его в этот день приходилось выслушивать бесконечную серию нареканий — на пересоленный суп, на плохо прожаренные котлеты и на многое другое, что всегда отыщется дурным настроением до глубины души уязвлённого человека.

Иметь большие деньги, прибавлять к ним ещё большие... Судьба в издевку предначертала Далецкому иметь дело с чужими деньгами. Пачки, перетянутые бумажными поясками, жгли ему ладони. Приличная сумма, весьма, но он не имел права взять себе хотя бы одну кредитку!.. Растратить, скрыться?.. О нет, Николай Касьянович слишком любил себя, чтобы сталкиваться с Уголовным Кодексом...

Война по началу совершенно выбила его из колеи. Опять перемена, опять что-то новое! Наученный горьким опытом, Николай Касьянович привык бояться перемен. Какой ещё удар прибавят ему сменившиеся обстоятельства?..

И — неожиданный поворот. Счастливая звезда Николая Касьяновича Далецкого засветилась из-за горизонта и поползла вверх — всё быстрее и быстрее. Первый проблеск этой зари воплотился... в патоку, да, в тягучую, как повидло, чуть горьковатую на вкус патоку, бидончик которой Далецкий приобрёл по твёрдой цене у знакомого кла-

довщика крахмало-паточного завода. В те трудные времена, при недостатке сахара, патока была довольно ценным продуктом. Велико было негодование Далецкого, когда через день он увидел, что содержимое бидончика находится уже ниже сделанной им накануне отметки,— вскоре после начала войны Николай Касьянович ввёл себе в правило делать такие отметки на всех банках, склянках и прочей посуде, где хранились продукты. Тётя Даша созналась, что уступила пару стаканов патоки соседке, ох, да не даром, за ту же цену. За ту же цену?.. Преисполненный ярости, Далецкий ворвался к соседке. Было поздно: патока оказалась израсходованной. Но соседка беспрекословно прибавила к уже уплаченным деньгам ещё столько и ещё столько. И спросила: не может ли Николай Касьянович достать патоки снова? Что ж... за такую цену... Занятый новыми мыслями, Далецкий даже не очень долго читал нотации жене.

Патока волновала его недолго. Масштабы действий Николая Касьяновича росли. Сахар и мыло, мука и мануфактура, крупа и патефонные иголки — скоро он на память едва ли смог бы перечислить весь ассортимент товаров, которые проходили через его всеобъемлющие руки. А оседало в этих руках самое заветное — деньги. Если бы Николай Касьянович не боялся раскрыть своей тайны, он обставил бы, как праздник, день, когда собственноручно перетянул бумажками первую сотню сторублёвок, нажитых многосложными операциями...

Внешне обстояло так. Суховатый, но отзывчивый Николай Касьянович по доброте душевной уступал соседу, сослуживцу, знакомому случайно приобретённое им коечто за ту же цену, которую уплатил сам, ни на копейку больше! Правда, эта цена в несколько раз превышала нормальную (и не в три уже, а в иных случаях в десять раз). Но что поделаешь — война, дороговизна...

Впрочем, и внутренне Николай Касьянович не чувствовал себя спекулянтом. Спекулянтами были те, что бились в магазинных очередях, толкались на базаре. Николай Касьянович, боже упаси, никогда не позволял себе этого. Это было недостойно и... м-м... опасно. Куда проще оказать человеку услугу с глазу на глаз, именно услугу, ведь Николая Касьяновича всегда благодарили, делая у него покупки. А если при этом некоторая толика оставалась в руках Далецкого, то ведь услуги никогда не оказываются даром!..

Больше того. Когда тётя Даша, вздыхая, честила при нём спекулянтов, Далецкий поддакивал ей. Зачем бы он стал возражать в этом случае женщине, которая, хотя и была его женою, но абсолютно не была в курсе его дел,— как сказано, доверял Далецкий только себе. Тем более, что от жены кое-что мог узнать и племянник,— совсем неосторожно!..

Николай Касьянович не задумывался над тем, что обстоятельства — впервые! — сложились благоприятно для него как раз тогда, когда несчастливо сложились они для других. Если бы малейшие проявления совести не были старательно вытравлены в нём давным-давно, он, возможно, в иной момент спохватился бы, что удивительно напоминает ворона, который, как известно, живёт и жиреет потому, что умирают другие. Но нет, сравнение это не приходило ему на ум...

Война окончилась, и Николай Касьянович испытал даже некоторое разочарование. Направится жизнь, и никто не будет нуждаться больше в его услугах... Но тут же он утешил себя: это случится не скоро, очень не скоро! И, как бы в подтверждение тому, настал тяжёлый сорок шестой год...

Есть пословица — «аппетит приходит во время еды». Но она не совсем была применима к Далецкому: его аппетиты никогда не ограничивались. Больше — вот что было их единственной меркой. Скорее уж Далецкий просто почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы шире развернуть своё дело,— мысленно он так и называл это — «дело». Конечно, с ростом масштабов росла и опасность, но стоило Николаю Касьяновичу взглянуть на несколько тугих пачек с сотенными бумажками, как осторожные мысли сменялись одной, ненасытной — больше...

Далецкий стал усиленно подыскивать подходящий объект. И, как это часто бывает, нужное решение оказалось донельзя простым. Однажды он вдруг посмотрел на Митрофанова тем взглядом, каким исследователь обозревает подопытное животное.

«Митрофанов... М-да, весьма!.. Главный бухгалтер, ответственное лицо...».

Митрофанов!.. Который год выпивает за счёт Далецкого и мыслит это в порядке вещей, как будто что-нибудь даётся даром...

Но действовать напрямик Далецкий сразу не стал,

Надо было натянуть достаточно крепкие сети, чтобы они удержали даже такую грузную фигуру, как Митрофанов. Он начал с сухонькой злой жены Митрофанова. Он давно замечал, как загораются завистью её маленькие глаза при каждой новой покупке Далецких, — и ему доставляло, между прочим, удовольствие растравлять эту зависть, во всех подробностях расхваливая новую вещь. А теперь он поступал так не только для удовольствия, но и с определённой целью. Он доводил Митрофанову до того, что зависть начинала бурлить в ней, выплёскиваясь через край, как вода из кипящего чайника.

Очень часто повторялись, примерно, такие сцены. Далецкий доставал из шифоньера отрез и замечал:

— Отличнейшая материя, весьма!.. И знаете — уплатил сравнительно немного...

Митрофанова острыми глазками прокалывала насквозь и отрез, и Николая Касьяновича:

— Ничего особенного по-моему...

Далецкий всплёскивал руками:

— Помилуйте, уважаемая, взгляните...

Он, как заправский продавец, развёртывал отрез, мял его в руках, жёг ворсинку на спичке, доказывая, что это настоящая шерсть.

— Не знаю, не знаю, — повторяла Митрофанова, а завистливый взгляд её прочно прилипал к отрезу.

Николай Касьянович добивал её:

— Вам было бы к лицу, весьма...

Он подводил женщину к зеркалу и накидывал на неё материю:

— Полюбуйтесь!..

Митрофанова невольно прижимала материю к себе, но в следующее же мгновение отбрасывала её и вскипала:

— Не знаю, откуда у вас берутся деньги...

— Трудовые сбережения, уважаемая,— свёртывая отрез, вытягивал губы трубочкой Николай Касьянович. — Трудовые сбережения...

Далецкий знал, что Митрофанову не будет теперь покоя весь вечер, а то и всю ночь: в миниатюрной жене его копилось столько желчи, что её с избытком хватило бы на десяток человек.

Такие продуманные точные удары Николай Касьянович наносил несколько раз. Затем, решив, что достаточ-

но, он приступил ко второму пункту программы. Предварительно накалив Митрофанову как следует, он предложил:

— Если желаете, могу уступить вам...

Митрофанова, только что хаявшая очередной отрез, едва не выхватила его из рук Далецкого. Но спохватилась:

— А деньги — сейчас?

Николай Касьянович задумался:

— Пожалуй, в силах подождать, уважаемая. Расписочку только позвольте: дружба, конечно, дружбой, но табачок...

Так же непринуждённо было подсунуто Митрофановым ещё несколько вещей, и ещё несколько расписок спрятал у себя Николай Касьянович, пока, наконец, не убедился: пора! За дружеским ужином он, будто случайно, вынул из кармана лоскуток кожи и воскликнул:

— Забыл, забыл!... Специально принёс показать жене. Вы не видели ещё,— он обратился к Митрофанову, — какую кожу привезли к нам на базу? Прекраснейший товар, весьма...

Он потряс лоскутком:

— Для дамских туфель — лучшего и не придумаешь...

Николай Касьянович вдруг сосредоточился:

— Знаете ли, у меня мелькала мысль... Можно было бы устроить немного кожи вам... и мне...

И сам же прервал себя:

— Хотя, зачем же?.. Пойдут слухи, разговоры... Весьма!

— Покажите-ка, — сказала Митрофанова, чей взгляд уже сосредоточился на лоскутке кожи.

— Милости прошу,— услужливо подал лоскуток Далецкий и промолвил: — Да, конечно, было бы не совсем удобно... Разве вот... Но нет, неловко!..

Николай Касьянович бил наверняка: на следующий день Митрофанов отвёл его в сторону и сам спросил:

— Как вы предлагали... ну, о коже...

Большое бежит за малым. Следующий разговор с Митрофановым Николай Касьянович вёл уже без посредства его жены, и разговор шёл о коже не на две пары туфель, а на несколько десятков пар...

Бывают у человека минуты, когда он понимает, что достиг всего, чего желал. Именно это чувствовал теперь

Николай Касьянович. К радости обладания деньгами прибавлялась доселе неведомая ему радость власти. Они все были в его руках, он сжимал и разжимал кулак,— вот в этом кулаке,— они все — сначала Митрофанов, потом несколько других, наконец, Верочка,— ею занимался уже по поручению Николая Касьяновича Митрофанов, ему было удобнее. Верочка начала с партии материи, предназначавшейся для декораций, а отправленной совсем в другое место...

Они все — Митрофанов, Верочка, прочие — работали на Николая Касьяновича. Он ликовал, он дышал полной грудью, он торжествовал над обстоятельствами. И ни на одно мгновение не появлялась у него мысль о том, что он теперь даже не просто ворон, а вожак целой стаи воронов, которые, как известно, счастливы и жирны тогда, когда несчастливы другие. Одна только мысль омрачала Николая Касьяновича: он изменил своей извечной осторожности. Что если?.. Что если?..

Николай Касьянович чуть бледнел и судорожно потирал вспотевшие ладони:

— В зависимости от обстоятельств!..

Повторение пройденного

Шагая в темноте по деревянной лестнице-спуску в «Логовку», Григорий Михайлович Смирнов по привычке механически отсчитывал ступеньки: до первой площадки их должно быть двадцать семь, затем двадцать две, дальше — двадцать восемь... И в то же время он старался вспомнить: в каком журнале он читал статью, мысль о которой не оставляла его после тех резких слов:

— Не разглядел!.. Видит всё в чёрном свете...

В статье говорилось о дефекте зрения, развивающемся у людей к старости,— глаза начинают постепенно всё хуже воспринимать светлые лучи, и потому нормальными им кажутся уже лучи более тёмные. Приводился пример: за несколько лет до революции какой-то сумасшедший, проникший в Третьяковскую галерею, изрезал ножом знаменитую картину Репина «Иван Грозный и его сын». Картину реставрировали, и для оценки работы вызвали самого художника. Репин, имевший в то время за плечами уже немало лет, остался доволен, но неожиданно по-

желал кое в чём исправить самого себя. Немедленно были доставлены краски, палитра, и художник приступил к делу. Когда же он кончил, присутствовавшие только пожимали плечами и недоумённо переглядывались между собой: художник явно испортил картину, — все красные тона он заменил иссиня-фиолетовыми. И, когда Репин ушёл, решились на крайнюю меру — смыли краски, которые только что добавил художник. Всем было невдомёк, что у престарелого художника уже развился тот самый дефект зрения, когда светлые лучи не воспринимаются. Или, задумался Смирнов, как это формулируется точно: глаз перестаёт улавливать в спектре... Всё-таки оптика осталась для него самой слабоосвоенной областью физики, не то, что механика, термодинамика, электротехника...

— Чёрт! — вдруг выругался он, споткнувшись и едва успев ухватиться за перила: он перестал считать ступеньки.

И тут же понял: ему совсем неважно знать, как точно можно сформулировать тот дефект зрения и в каком журнале писали об этом. Важно было, что, если это сравнимо, такой дефект обнаружился у него, Смирнова, и сегодня на заседании парткома сказали... Но, чёрт возьми, ведь это же не физика, не наука, не техника! И он ещё не старик, чтобы...

Смирнов заметил, что повторяет то же, что говорили ему в парткоме — не техника, — повторяет уже в свою защиту, тогда как там этим обвиняли его...

Что же делать теперь? Всё решено и подписано, значит, он неправ, потому что не было никогда и не могло быть, чтобы оказался неправ весь коллектив, а один человек — прав. Да, надо сознаться, он, Смирнов, стал видеть всё в мрачных тонах...

Смирнов перешёл речушку по широкой доске и, сокращая путь, перемахнул через невысокий забор в свой двор. Осторожно шагая между грядками, он рассуждал сам с собою холодно и бесстрастно. Всё понятно, раз такое дело. Ответственный цех,— и он, рутинёр, во главе цеха. Пришлось и ему попасть в рутинёры, хотя и боролся с ними весь век,— диалектика! Дальше так быть не может. Сейчас же заявление, и... Его давно уже зовут в институт, заведывать экспериментальными мастерскими,— о чём разговор?..

Дома, отказавшись от ужина, он сразу же сел за стол и взял чистый лист бумаги. Чётко, резким почерком написал: «Заявление» и провёл под этим словом жирную черту. Перо побежало по бумаге, скрипя всё сильнее, словно ожесточаясь. «Прошу освободить меня от занимаемой должности начальника цеха в связи...» Перо споткнулось и вырвало клочок бумаги. Смирнов стал очищать его, — из-за коротко остриженных ногтей это долго не удавалось.

«В связи...» А с чем? «С переходом на работу в экспериментальные мастерские института»? Кто поверит? С чего вдруг понадобилось? Разве в цехе не вёл он всё время экспериментальную работу? И разве сам он не предлагал институту, когда они звали его к себе, перенести основные исследования на завод, ближе к производству?..

Смирнов бросил перо и прилёг на кровать. Взгляд его скользнул по настенному календарю. Май, тысяча девятьсот сорок седьмой год... Он усмехнулся: да ведь как раз май! Сколько же это получается — восемнадцать лет... Сошёл с парохода верзила-парень, закинул за плечи сундучок и поплёлся по городу, рот разевая от изумления при виде пяти,— эх, да что там, двухэтажных домов даже не видел у себя в деревне. Пошёл, упрямо разыскивая завод, хотя ещё на пристани какой-то юркий человек оглядел его здоровую фигуру и сказал: «Работать, что ли?.. Давай к нам в грузчики, деньгу сразу зашибёшь, что и не снилось тебе!» Он тогда просто отодвинул юркого человека плечом с дороги и пошёл... Завод — и ничего другого ему не было нужно.

А на заводе спросили: «Специальность есть?» и, услышав ответ, предложили: «Подсобником...» Он сразу же согласился, толком не представляя даже, что такое подсобник. Важно, что на завод...

Жил в большом бараке, вместе с другими холостяками. В бараке было много народу, тесно, потому что и сам завод только ещё отстроили, а за жильё лишь принимались по-настоящему. Так что возиться с тем, что занимало чуть не половину его сундучка, не пришлось, — боялся, будут смеяться. А высмеяли всё равно, — за сундучок. Заметили, что он присматривает за сундучком, как за сыном родным, что висит на сундучке почти пудовый амбарный замок, и пошло: «Григорий, чего бере-

жёшь, золото там у тебя?.. Ты б ещё один такой замок привесил, тогда и бояться нечего,— с места не сдвинут!» Терпел всё, но когда кто-то высказался: «Он там лапти привёз, сорок пар запас, торговлю думает открыть... Дя-ревня!», встал и без слов двинулся на шутника. Больше смеяться опасались,— парень был недюжинной силы. Только никто не мог понять, что так обидело его,— мало ли как шутят! А дело было в одном этом слове «дя-ревня», которое заключало в себе давнишнее, чёрт знает, с каких времён прокравшееся презрение к деревне, уверенность, что ничегошеньки, кроме лаптей, деревня не выдумает...

Постепенно он свыкался с заводской атмосферой, и обязанности подсобного рабочего перестали удовлетворять его. Тянуло к верстаку, к тискам, обсыпанным металлическими опилками, к станку. Но его всё держали на прежнем месте, — возможно, виною были опять-таки его широкие плечи и сильные руки — то, что требуется подсобному прежде всего. И никто не поинтересовался пока, какие замыслы таятся в его крутолобой голове, никто не догадывался, что к сильным рукам он может прибавить и острую мысль...

Тогда он сам решил пойти навстречу: он был не из робких, завод только в первое время оглушил его, привыкшего к тишине деревенских полей. Он решил найти того, кто поймёт его и поможет ему. Он избрал не кого иного, как главного инженера завода, потому что видел, как все с уважением ловят каждое его слово, что сложную технику главинж знает не хуже своих пяти пальцев. Он остановил инженера как-то в цехе.

— Что вам? — спросил тот, не глядя на парня, только чуть скосив голову вбок.

Торопясь и оттого путаясь, вставляя много лишних слов, Смирнов, наконец, объяснил, чего он хочет.

— Значит, вы, как я понял, что-то... м-м... сконструировали и желаете услышать мнение специалиста? Хорошо, я зайду к вам. Где вы живёте? Ко мне? Нет, не надо... Я зайду...

Он не зашёл ни через день, ни через неделю, и потому Смирнов не счёл навязчивым напомнить о себе инженеру, когда тот случайно оказался по соседству с бараками.

— Что вам? — спросил инженер, опять только чуть

скосив голову вбок и, видимо, не узнавая собеседника.— Ах, это?.. Да, припоминаю... Могу зайти... где вы живёте?..

Обитатели барака стихли, когда появился главный инженер. Кто-то быстро оправил смятую постель, кто-то сунул под койку валявшиеся в проходе сапоги, кто-то предупредительно пододвинул инженеру табуретку, обтерев её прежде рукавом. Но тот не сел, а стоял, чуть откинув голову назад, отчего казалось, что он смотрит мимо людей, и нетерпеливо барабанил пальцами, пока Григорий доставал сундучок и открывал тяжёлый амбарный замок.

Инженер мельком взглянул на то, что поставил перед ним парень, ковырнул пальцем слюдяной круг и едва заметно скосил голову в сторону.

— Электрическая машина, да будет вам известно, изобретена очень давно... Тяга к знаниям, конечно, похвальна, но... В школу вам надо, в школу, если хотите... м-м... конструировать. Всего доброго!

Первым движением Григория, когда инженер вышел, было изломать, разнести вдребезги свою машину. Но сильные пальцы, едва коснувшись холодных её частей, ослабели. Григорий с трудом поднял голову, ожидая увидеть на лицах соседей по бараку издевку. Он ошибся Вид у всех был такой, словно их самих постигло то же разочарование, что и Григория.

Некоторое время молчали.

— Сука он, инженер! — грубо и громко сказал вдруг один рабочий.— Мало ли что — давно изобрели...

Другой, чуть ли не тот, «дя-ревня», ласково потрепал Григория по плечу:

— Вот ты какой!.. Чего же молчал-то?

И обрадованно предложил:

— Погоди, я тебе толкового человека приведу, нашего начальника цеха Каблукова... Сейчас и приведу...

Он сорвался к двери...

Каблуков оказался совсем молодым, на несколько лет только старше Григория. Он придирчиво осматривал машину, то одобрительно хмыкал, то с осуждением тыкал в какую-нибудь деталь:

— Это что, на клею держится?

Каблуков тронул рукоятку машины.

— Как действует?

033—1

— Да у нас, понимаешь... — Григорий сбился оттого, что назвал начальника цеха на «ты».

Тот понял:

— Ничего, мы в одних ведь годах почти...

— У нас в деревне... — Григорий опустил руку на машину, — я одну старуху чуть до смерти не довёл. В бога крепко верила, ну, я и говорю: «Держись тут вот и молись, чтобы господь тебя спас, — не поможет!» Ухватилась ведь! Я крутанул, — у неё глаза на лоб...

Барак грохнул хохотом.

— А что же, — смеясь вместе со всеми, спросил Каблуков, — как она потом, старуха?

— Отдышалась...

— Я не про то — с богом как?

— Верит! — сокрушённо вздохнул Григорий.— «За грехи мне послал господь!» — говорит.

...Григорий Михайлович ткнул подушку кулаком в бок, устраиваясь поудобнее. Он опять посмотрел на календарь. Восемнадцать лет...

Вот они снова встретились с главным инженером. Между первой их беседой и второй прошло очень много — учёба в цехе, учёба в школе, — Смирнов не забыл о злых, но по сути правильных словах главинжа. Новая беседа отчасти похожа на первую, в бараке. Главный инженер опять выступает в роли судьи: на столе перед ним лежит модель форсунки, приспособления для разбрызгивания горючего в двигателях. Такой форсунки нет и не было ещё нигде — теперь Смирнов знает это точно, — и сконструирована она им, правда, многое принадлежит и Каблукову, но в основном она вся — его труд, его мысли.

Главный инженер неизменен: голова его слегка откинута назад, и кажется, что он глядит мимо собеседников. Чуть морщась, инженер цедит:

— Эти доморощенные изобретения... Вы понимаете, против каких авторитетов идёте?.. Крупнейшие иностранные специалисты, профессор Вульфсон... Вы знакомы с трудами профессора Вульфсона, э-э, как ваша фамилия, товарищ?

Как свои пять пальцев зная технику, главный инженер очень плохо помнит людей...

— Моя фамилия Смирнов, — отвечает Григорий Михайлович. — Читал я и Вульфсона, и Грендлея и скажу...

2—620

Тут он впервые видит, какие глаза у главного инженера — зеленоватые, с расширенными зрачками, — в них теплится что-то похожее на любопытство.

— Вы оспариваете и Грендлея... товарищ Смирнов?— спрашивает главинж. — А как вы расцениваете его теорию о том, что...

Кабинет тонет в водовороте терминов, формул, цифр. Иногда Смирнов захлёбывается — он не вполне освоился с этой стихией, — тогда на помощь приходит Каблуков. Неожиданно главный инженер вырывается на поверхность.

— Массовое производство?.. — восклицает он визгливым злым голосом. — Никогда! Или — я, или — это...

Он брезгливо касается ногтем форсунки...

Или — или. На заводе предпочли форсунку. Главный инженер, как свои пять пальцев, знал технику и совершенно не знал людей, — в этом была его беда.

...Подушка вдруг стала жёсткой. Ведь сегодня именно в этом обвиняли его, Смирнова! Он — в роли того, брезгливого, глядящего поверх людей? Как же?.. Григорий Михайлович облизнул сохнущие губы. А что, в сущности, он знает обо всех этих парнишках, которые составляют ныне бригаду «ильинцев»? Он очень хорошо знал старую бригаду — Бахарева, Иванова, других, которые уже ушли. А эти подходили постепенно, незаметно, и он упустил их из поля зрения, ему всё казалось благополучным, пока новичков стягивал жёсткий треугольник, главною вершиною которого был он, начальник цеха, другою — Геннадий, третьей — отрегулированная, налаженная техника. Но вот — им стало тесно, они решили изменить фигуру, добавить четвёртую вершину — личную ответственность. А он испугался, потому что не знал их...

И всё же больнее всего было другое, — что указал на это Геннадий, его ученик, а не кто-то, пришедший извне во всеоружии знаний. Через его голову, через голову своего наставника, он дал в газету материал о том...

И — новое сопоставление заставило Смирнова стремительно подняться с постели. Каблуков!.. Это случилось уже, когда его перевели с завода в трест. Григорий Михайлович в то время бился с электромоторами. Каблуков долго помогал и советами, и материалами, но под конец отчаялся:

— Не все изобретения, Гриша, бывают гениальными...

Не забывай, некоторые стараются сделать «перпетуум-мобиле» — вечный двигатель.

Результатом их жаркого спора был решительный отказ Каблукова отпускать в дальнейшем средства на эту работу...

Разве Григорий Михайлович, добившись своего, не говорил вот так же, как Геннадий, корреспонденту газеты о том, что тормозит его работу трест, конкретно — товарищ Каблуков.

Но когда они встретились, Каблуков первым протянул Смирнову руку:

— Поздравляю, от души!.. А я «строгача» заслужил... Надо бы знать мне, что «перпетуум-мобиле» тебе ни к чему...

Григорий Михайлович схватил со стола недописанный лист. Он пробежал несколько слов: «Прошу освободить меня...» и, не дочитав, рванул лист пополам, ещё раз пополам, ещё раз... до тех пор, пока заявление не превратилось в бумажное крошево. Сжав обрывки в кулаке, он вышел во двор и там пустил их по ветру...

Смирнов огляделся. Наверху звенел трамвай, сияли огнями многоэтажные дома, а барачная, избяная «Логовка» была погружена во тьму. В доме Никитиных из-за ставен пробивались полоски света,— значит, не спят. Смирнов подошёл к забору. В темноте едва заметна была оплетающая забор проволока,— когда-то, давным-давно Генка, подражая Григорию Михайловичу, устроил и у себя сигнализацию против непрошенных гостей. Смирнов вдруг озорно усмехнулся и, что есть силы, несколько раз дёрнул проволоку. Через полминуты дверь из дому Никитиных распахнулась, и Геннадий, не видя ничего со свету, сердито крикнул с крыльца:

— Кто тут колобродит?..

— Дяденька, мне бы проволоки, нам для кружка,— откликнулся Смирнов.

— Григорий Михайлович? — растерянно спросил Геннадий.

Смирнов направился к калитке:

— Гостя примешь, не поздно?

— Пожалуйста... Да я не один, у меня почти что вся бригада наша тут...

— Вся? — сказал Смирнов.— Совсем хорошо...

То, что говорил когда-то Осокин о гордом сознании журналиста, который видит, что едва разгоравшийся огонёк большого дела превратился с его помощью в жаркий костёр, долго было для Виктора всё-таки только словами — правильными, бесспорными, но не проникающими в самую глубину души.

Иное дело теперь. Больше месяца прошло с тех пор, как в газете появилась статья Виктора об инициативе молодёжной бригады имени дважды Героя Советского Союза товарища Ильина. И за это время в газете было напечатано несколько материалов, озаглавленных: «По одному наряду»,— теперь уже с других заводов...

Виктор перечитывал эти заметки так внимательно, как будто они касались его лично. Конечно, Виктор понимал, что не он один помог разрастись движению новаторов. Он только прибавил свои усилия к усилиям Александра Бахарева, Геннадия Никитина, Нины Спицыной, Сени Кочкина и остальных членов двух бригад. Но это не задевало самолюбия Виктора, это скорее радовало его,— он шёл плечом к плечу со многими, как равноправный, нужный, полезный, хотя орудием его была хрупкая на вид вещь — перо. Он думал о том, что случись ему снова стоять рядом с Никитиным на праздничной трибуне, у него не появилось бы зависти к знаменитому бригадиру, — оба заслужили почётное право...

В жизни обязательно наступают моменты, когда становится нужным оглянуться на пройденный путь. Это нужно, чтобы оценить прожитое и увереннее итти вперёд. Так и Виктор: инстинктивно он осмотрел всю дорогу, которую прошёл с того дня, когда впервые, беспрерывно повторяя, как будто мог это забыть, номер комнаты Михалыча — пятьдесят семь,— он переступил порог редакции. Дорога была неровной — то подъёмы, а то и такие ямы, что даже сейчас кружилась голова. И возле каждого такого участка стояла вешка — побольше или поменьше. Одна стала, когда в газете была напечатана первая заметка Виктора — о совещании председателей колхозов, и хотя с тех пор напечатаны были сотни других заметок Виктора, эта вешка теперь казалась очень высокой. Дальше вереницей бежали вешки, отмечающие другие заметки. Они теперь были совсем уже низенькими, ничем не выдающимися. И сразу —

огромная корявая веха, вбитая рядом с зияющей ямой,— ошибка в отчёте о слёте. Ещё вехи средней величины — новые материалы. Веха покрупнее — отъезд в Чёмск. Опять провал — Павел... И снова подъём — Толоконников. Последняя веха отмечала статью об «ильинцах»...

Всё это было похоже на переводные испытания в школе. Из класса в класс переходил Виктор, и каждый раз держал испытания — то почти шутя, то с трудом натягивая на «тройку». И вот Виктор чувствовал, наступила решающая пора экзамена на зрелость. Была ли им статья об «ильинцах»? Нет,— подсказывало Виктору чутьё. Слишком легко была написана эта статья, всё, собственно, ему подготовили другие. Она, скорее уж, была упражнением перед экзаменом. А каково будет решающее испытание?.. Не знал этого Виктор, не знал никто, потому что нельзя же точно предсказать, что произойдёт завтра, а завтра — это сегодня журналиста...

Осокин залучил к себе Виктора, едва тот пришёл на работу. Пока хозяин кабинета рылся в папках, Виктор разглядывал карту области, похожую на лоскутное одеяло, потому что районы были выклеены разноцветной бумагой. Он вспомнил, как когда-то Осокин рассказывал о самом крупном северном районе, откуда меньше всего поступало писем. Ого, — теперь цифра, отмечающая приток почты, была там солидной.

— Наладилось? — спросил Виктор.

Осокин мельком оглянулся на карту.

— А, это... Расшевелили народ. Погоди, у них ещё селькоры начинающие, вот руку поднабьют, то ли будет...

Он нашёл то, что искал, — два письма. И сказал:

— Так вот, Виктор... Информацией, не льстя, ты овладел. По сельскому хозяйству специалистом стал. Теперь и заводскую тему освоил. Не пора ли взяться ещё за один жанр, за самый газетный,— фельетон?..

— Фельетон? — нерешительно спросил Виктор.— Попробую...

— Пробовать нечего, надо приступать. Придётся тебе сегодня потратить весь день на проверку и выяснение фактов. У Михалыча можешь не отпрашиваться,— я уже договорился. Слушай, в чём дело. Это — письмо рабочего одной сбытовой базы. Пишет о непонятных вещах, которые происходят у них там с товарами. А это — письмо с завода, который имеет дела с тою же базой. Тоже намёк

на махинации. Один сигнал,— и то тревожно. Но когда таких сигналов два да ещё из разных мест,— значит, дело не шуточное. Возьми письма, внимательно почитай, потом разыщи авторов, они подскажут, с кем связаться ещё... Всё понятно?..

Виктор, приняв письма, собрался уходить.

— Э, погоди-ка! — окликнул его Осокин.— Ты смотри, осторожнее там, не проболтайся кому не следует, что к чему. А то спугнёшь этих субчиков...

. . . .

Если бы этим вечером Осокин увидел Виктора, удивился бы даже он, хотя кому, как не ему, было известно, насколько трудно и мерзко копаться в человеческой грязи, когда во всей полноте вскрывается самое неприглядное, самое противное, что тщательно скрывалось доселе от всех.

Усталости в обычном смысле Виктор не чувствовал, хоть и встречался весь день с разными людьми, копался в толстых бухгалтерских книгах, которые всегда были для него китайской грамотой. Было ощущение огромной душевной тяжести, от которой не избавляет ни отдых, ни сон, ни сытный обед.

Итти домой Виктор пока не мог. Надо было тщательно разобраться во всём, разложить по полкам перепутанную кучу фактов, свалившуюся на него сегодня.

Виктор перешёл с тротуара на бульвар и присел на первую попавшуюся скамейку. И сразу же холодком пробежала мысль о том, что было бы, если бы...

То, что письма касались той самой базы, где работал Николай Касьянович, сперва даже мимолётно не натолкнуло Виктора на предположение, что его родственник может иметь хотя бы косвенное отношение ко всей этой тёмной истории. Мошенники, о которых говорилось в письмах, представлялись ему какими-то мрачными фигурами, пожалуй, и не похожими на нормальных людей — с испитыми, дегенеративными лицами, от которых за версту несёт преступлением. И ему хотелось даже, чтобы ничего ещё не подозревающий Николай Касьянович с восхищением увидел, как Виктор разоблачит, уничтожит этих окопавшихся преступников.

Он встретил Далецкого у входа в контору.

— Ты к нам? — вытянул губы трубочкой тот.— Весьма... По какому же вопросу, если можно поинтересоваться?..

Что-то — или предупреждение Осокина, или, может быть, неясный отблеск насторожённости в глазах Далецкого — заставило Виктора, уже готового сказать правду, остановиться. Он ответил возможно более непринуждённо:

— Один ваш рабочий прислал письмо,— жалуется, что плохо отремонтировали квартиру... Надо уточнить кое-что...

— Ну, ну,— сказал Николай Касьянович, и отблеск насторожённости погас в его глазах. — Бытовые условия трудящихся являются важнейшей предпосылкой.. М-да... Весьма...

А потом началось всё это — беседы с людьми, возня с бесчисленными запутанными документами... Чем дальше, тем больше чувствовал Виктор, что если его родственник и не имеет прямого отношения к шайке, то, во всяком случае, существование её не было для него секретом... И, как обухом по голове, ударили Виктора спокойные слова одного из собеседников:

— Главарь у них — Далецкий, это уж точно... Не смотрите, что он только кассир, а Митрофанов — бухгалтер...

И когда, чуть позднее, то же было подтверждено бесспорным документом, перед Виктором сама собою возникла давнишняя, но и сейчас до слёз горькая картина,— Николай Касьянович берёт двумя пальцами любимую мамину синюю кофточку и пришёптывает одними губами: «Поношено... Весьма», а затем обрадованно вытягивает губы трубочкой, раскладывая по дивану мамино пёстрое праздничное платье: «Минимум полтораста...»

Из кинотеатра, напротив скамейки, где сидел Виктор, повалила толпа,— кончился сеанс. Люди шумели, смеялись, перекликались друг с другом... А Виктор ничего не видел. Перед ним опять была та же картина — синяя мамина кофточка, пёстрое мамино платье, Николай Касьянович.. Только теперь Далецкий стал другим. Чёрный костюм его отливал холодным блеском чешуи, длинные руки извивались подобно щупальцам...

За чей счёт существовал Далецкий? За счёт рабочего, почти без отдыха и сна стоявшего всю войну у станка, колхозницы, которая работала за десятерых, чтобы накормить всех и в том числе его же — Николая Касьяновича Далецкого?..

Уничтожить, раздавить,— чтобы и следа не осталось от шипящей, вытягивающей губы трубочкой гадины, что-

бы даже воспоминания о ней не отравляли свежий, чистый воздух...

Но почему же... почему жила столько времени гадина рядом со всеми, и никто не разглядел ядовитого нутра её под бледным человеческим обликом? Кто виноват?..

Виктор заёрзал на скамейке. Эти два письма, которые дал ему сегодня Осокин, должны были прийти рано или поздно, обязательно. Но как получилось, что те двое — авторы писем, посторонние люди — сумели разгадать гадину раньше, чем Виктор, который жил бок о бок с нею? Он вспомнил свои отношения с Далецким. Он ненавидел всю его компанию — это было естественно,— и он брезгливо отворачивался от неё, не желая интересоваться, чем она дышит, чем занимается. А Далецкому этого только и нужно было. Гадина больше ничего и не желала, как того, чтобы ею никто не интересовался, не мешал ей вершить свои грязные дела...

В памяти Виктора встали все эпизоды, сами по себе мелкие, но такие, что в сумме могли сказать очень многое, если бы он не пропускал их в своё время мимо ушей и глаз и, даже больше, не стремился пропускать. Вещи, не нужные в доме, но день за днём приобретаемые Далецким, Митрофанов, лебезящий перед Николаем Касьяновичем, таинственные разговоры, которые прекращались, едва появлялся Виктор... Можно стать почти соучастником преступления, хотя бы одним тем, что не обращать ни на что внимания...

Толпа у кинотеатра рассеялась. Одинокая девушка осталась стоять у витрины с рекламными снимками. Виктор поглядел на девушку и вдруг вскочил — Валя! Её и нужно было сейчас Виктору, чтобы излить горькие чувства, найти поддержку, участие. Он торопливо пошёл по аллее, не зная, окликнуть ему Валю или нет. И — замер.. Валя, оказывается, ждала. Тот, кого она ждала, подошёл. Это был Сергей...

Виктор вернулся на прежнее место. Лишь сейчас он припомнил, что это — та самая скамейка, на которой сидели они первого мая с Верочкой. Верочка, Вера Степановна... Она, наверняка, тоже замешана во всём. По крайней мере при ней Далецкий и Митрофанов разговаривать не стеснялись. Гадина, тоже гадина... Она ещё смела передавать письмо в редакцию, требовать помощи в чём-то. Все они такие — эта змеиная порода. Грабить, кусать, жа-

лить — и без малейших угрызений совести настаивать, чтобы о них ещё заботились!..

Виктор посмотрел вслед удаляющимся Вале и Сергею... Что ж, этого следовало ожидать. Очевидно, правду сказала Валя, что нельзя любить двоих одновременно, надо выбрать одного. Вот, она и выбрала... Виктор сам удивился, что относится к случившемуся почти равнодушно. Кто знает, что тут сказалось,— или то, что подсознательно он давно уже готовил себя к этому, или весь сегодняшний день...

Но, рано или поздно, надо было итти домой. Итти и пока ещё ничем не выдавать своих чувств Николаю Касьяновичу, скрыть всё от него и даже от тёти Даши... Ах, тётя Даша... Без всяких колебаний Виктор растопчет гадину, так нужно, иначе не может быть. Но... тётя Даша... Ударить по Далецкому — значит ударить и по ней. По той, которая после смерти матери стала ему самым близким человеком. По той, которая постоянно думала о том, что ему нужно погладить сорочку, пришить оторвавшуюся пуговицу, покормить, как бы поздно он ни вернулся, которая радовалась, когда радовался он, и тяжко вздыхала, если Виктор был хмур, хотя подчас даже не знала причин.

И всё-таки... так было нужно, иначе не могло быть...

Тётя Даша открыла Виктору дверь с каким-то растерянно-возбуждённым видом.

— Ох, а у нас гость, Витенька, гость,— всё повторяла она.

Виктору меньше всего было сейчас дела до каких-то гостей, и он почти с раздражением шагнул в комнату. Там сидел низенький, совершенно лысый человек в помятой одежде, по которой сразу можно было определить, что хозяин её провёл не одну ночь на вагонной полке, и таким же измятым казалось лицо — с пучковатыми бровями, набрякшими подглазницами. При виде Виктора гость торопливо вскочил, оправляя мешковатый пиджак:

— Ну... здравствуй...

Виктор смотрел на него непонимающими глазами.

— Что, не узнал?..

Сердце у Виктора вдруг заколотилось так, что он невольно прижал руку к груди.

— Здравствуй...те,— не сказал — прошептал он, не решаясь произнести слово, от которого совсем уже отвык,— «отец».

— Вот и встретились,— произнёс отец и остановился, очевидно, не зная, что же говорить дальше. Потом нашёл: — Я ведь случайно к вам, домой ехал с Дальнего Востока, да в вагоне шерамыжник какой-то чемодан свистнул... ну, и осел...

Они сидели за столом, и тётя Даша, вздыхая, подливала обоим чаю. Виктор мучительно припоминал всё, что много раз пересказывал себе мысленно, представляя возможную встречу с отцом. Тогда было так много, а сейчас — ничего...

— Я во Фрунзе живу, в Киргизии,— рассказывал отец, с хрустом разгрызая кусок сахару.— Заезжай, если придётся... Урюку отвезёшь сюда, у нас много...

Урюк... Неужели это единственное, что можно было сказать после стольких лет?..

Виктор задал одолевавший его вопрос:

— Ты был на фронте... отец?

— Нет, не пришлось, по броне всю войну...

Отец спохватился:

— Ты потому это, может, что я с сорок второго деньги не слал? Николай Касьянович, тётя Даша говорила, сердился очень... Так ты извини, туго мне тогда с деньжонками было...

Виктор прямо взглянул на сидящего перед ним. Этот низенький, лысый, помятый человек — отец?.. Почему низенький, он же был такой высокий тогда, давно... Почему лысый, у него ведь должны были быть шёлковые волосы, как говорила мама... Это — отец?..

— «Гордитесь, Витя, гордись, сынок, таким отцом,— прозвучал в ушах Виктора страстный голос Ольги Николаевны.— И, если это не он, гордись всё равно...»

Нет, именно тот, в солдатской шинели, был его отцом. А этот, помятый, лишь случайно носил ту же фамилию и имя...

Виктор отодвинул стул:

— Простите, мне надо работать... Тётя Даша, я в кухню пойду писать, а ты займи... гостя.

— Ну, иди, когда дела,— вздохнула тётя Даша.— Да погоди, я тебе стол хоть там оботру...

Она вытерла на кухне стол, Виктор сел, а тётя Даша всё не уходила. Виктор оглянулся. Тётя Даша стояла у плиты, недвижно глядела в угол, а губы её чуть вздрагивали. Потом она сказала медленно, как бы в раздумье:

— Ишь ты, пятнадцать лет не видел сына, а коли б чемодан не украли, до самой смерти бы не завернул... А мать твоя, Витенька, любила его...

Виктор отвернулся, чтобы не видеть тёти-Дашиных вздрагивающих губ. Женщина тихонько подошла сзади и ласково поерошила ему волосы:

— Писатель... Ну, пиши, пиши, не буду мешать...

Когда она ушла, Виктор посмотрел на захлопнувшуюся дверь и беззвучно крикнул:

— Простишь ли ты меня, тётя Даша?.. Поймёшь ли?..

И, стряхнув оцепенение, развинтил автоматическую ручку «Золотое кольцо» — подарок Николая Касьяновича.

Виктор сдавал экзамен на зрелость...

Основа основ

— Зайди-ка ко мне, порадую,— окликнул Виктора Осокин. Несмотря на хромоту, он быстро шагал по коридору и оживлённо говорил:

— Разворошил ты кучу большую, я тебе скажу... Из прокуратуры бумажку прислали,— главных этих — Далецкого, Митрофанова — уже арестовали...

— Я знаю,— безразлично промолвил Виктор.

— Сам поинтересовался? А подробности тебе известны?

— Нет...

— Так идём... Был у них, оказывается, целый спекулянтский синдикат,— рассказывал Осокин, усаживаясь за стол.— То, о чём ты писал,— это ещё десятая доля. Далецкий свои филиалы не только на базах устраивал, он даже до театра добрался,— что и говорить, понимает толк в искусстве... Захапал там пару сот метров материи, для декораций предназначалась...

— Для декораций? — вдруг насторожился Виктор.

— Ну да, а спустили на сторону... Далецкий обработал там одну из бухгалтерии...

— Кого? — почти крикнул Виктор.

Осокин удивлённо взглянул на него:

— Что ты? Сейчас посмотрим...— он повертел в руках бланк со штампом прокуратуры.— Вот она... Вера Степановна... И, понимаешь, мне передавали, наглость какая: она на следствии обиженной овечкой прикидывается, уве-

ряет, что хотела всё раскрыть, что даже к нам письмо об этом посылала...

Виктор привстал с кресла, опять сел и — стремительно сорвался к двери.

— Стой! Куда ты? — воскликнул Осокин.

Виктор остановился.

— Она посылала письмо... Я передавал... Студенцову... Я спрошу...— он снова схватился за ручку двери.

— Стой!—властно повторил Осокин.— Сядь... Остынь... Расскажи по порядку...

— Она, действительно, посылала письмо и как раз как будто об этом — о декорациях. Я почему знаю,— она мне же его передала,— я с нею немного знаком. Ну, а я, раз о театре, отдал Студенцову...

— Когда это было?

— Сразу после первого мая.

— Без малого три месяца,— подсчитал Осокин.— А что с письмом сделал Студенцов?

— Не знаю... Я пойду, спрошу, расскажу ему всё и...

— Да стой ты! — в третий раз осадил Виктора Осокин.— Письмо не регистрировалось?

— Нет...

— А когда ты отдавал его Студенцову, кто-нибудь ещё был?

— Никого, мы двое...

— Тогда, так просто это не делается, ежели он столько продержал письмо...

Осокин закусил губу и угрюмо посмотрел в потолок. Потом пришёл к какому-то решению. Он снял с телефона трубку и набрал номер. Скоро в трубке послышался щелчок.

— Студенцов? — спросил Осокин самым беспечным тоном.— Осокин это... Слушай, я к тебе с небольшой просьбой... Когда-то ещё давно, кто-то из наших, не знаю даже кто, передавал тебе письмишко, о театре, о декорациях там что-то... Не помнишь?.. А ты поищи, понимаешь, автор ко мне заходил, интересовался... А? Да надо выяснить кой-какой вопрос... насчёт одного типа... Поищешь? Хорошо, я подожду...

Зажав ладонью микрофон, Осокин сказал Виктору:

— Выходит, говорила она не зря. Не сразу её округили. Что за экземпляр этот Далецкий? Ты хоть видел его?

— Это... мой дядя,— отрывисто ответил Виктор.

— Так...— глотнул слюну Осокин. Он хотел спросить ещё что-то, но вдруг быстро снял ладонь с трубки:

— Нашёл всё-таки?.. Вот и прекрасно... А? Правильно, правильно, письмо так себе, но сам знаешь — автор.. Нет, не беспокойся, я к тебе рассыльную пришлю...

А часа через два редакция была созвана на внеочередное совещание. С шумом двигая стулья, как всегда, громко разговаривая, в кабинете редактора расселись сотрудники сельскохозяйственного отдела. Прошёл в свой угол Михалыч. Не спеша пересёк кабинет Студенцов и опустился в кресло возле самого редакторского стола. Виктор покосился на Игоря: откинувшись на спинку кресла, тот пускал в потолок дымные кольца...

Тяжело поднялся Осокин:

— Я хочу начать так, как выразился однажды один оратор,— раньше всё было в ряд входящее. А сегодня — об из ряду вон выходящем. Речь пойдёт о том, как внимательно мы должны относиться к любой строчке, поступающей в редакцию. Речь пойдёт о том, как один беспечный... я бы сказал, преступно беспечный человек, ограниченный узким кругом своих интересов, может, желая того или не желая, причинить немалый ущерб государству. Речь пойдёт,— Осокин протянул вперёд руку,— о вас, товарищ Студенцов...

Игорь вздрогнул, но тут же, овладев собою, развёл руками, что должно было означать: не знаю, чем я вам так...

— В первых числах мая товарищу Студенцову было передано одно письмо...

— Вы о том бреде, который я отдал вам сегодня? — прервал Осокина вопрос Студенцова.

— Да, это о том самом *письме*,— подчеркнул Осокин.— Автор его...

— Это — анонимка,— опять раздалась реплика Студенцова, и редактор стукнул толстым карандашом по бронзовому стакану чернильного прибора, требуя порядка...

— Автор его, который, опасаясь преследований, не поставил в письме своей подписи, разоблачал махинации крупной шайки спекулянтов. Автор стремился не быть затянутым в эту шайку, и он доверил свою судьбу редакции, которая на сей раз... к сожалению... оказалась представленной в лице товарища Студенцова...

Игорь, как улитка в раковину, втягивался в мягкое кресло.

— Этому журналисту показалось зазорным возиться с письмом, которое касается этаких земных, материальных вопросов. Ему подавай чистое искусство, а остальным пусть занимаются другие!.. К тому же и написано было письмо далеко не блестяще,— автор допустил даже несколько грамматических ошибок...

Виктор передёрнул плечами: это было уже не только о Студенцове, это было и о нём. Он с неприятным чувством вспомнил того Виктора, который стоял на бульваре и презрительно усмехался, перелистывая страницы записной книжки в зелёном переплёте. И ещё вспомнил Виктор, как Маргарита, шутя, сказала ему в тот вечер: «По дороге ко мне вы совершили нехороший поступок!». Она слишком мягко выразилась, Маргарита...

— Партия никому не прощает зазнайства и ротозейства! — рубил рукою воздух Осокин.— Партия беспощадно наказывает тех, кто с барским пренебрежением относится к интересам государства и народа...

— Товарищи!..— вскочил Студенцов, и Виктор отметил странный факт: всегда тщательно выутюженный костюм Игоря как-то сам по себе смялся за эти несколько минут.— Вы разрешите мне? — полуобернулся Студенцов к редактору и, получив разрешение, повторил: — Товарищи... Лишь сейчас я понял всю глубину того... Мне не было известно, какие значительные факты скрываются за этим письмом. Это очень, очень большая моя ошибка... Но, товарищи, ошибок ведь не бывает только у тех, кто ничего не делает. Да, допущена одна ошибка...

— Которая стоила государству несколько сот тысяч рублей,— дополнил Осокин.

— Вот именно,— растерянно подтвердил Студенцов.— Но родилась эта ошибка вследствие того, что письмо было передано мне, так сказать, в частном порядке. Оно даже не было зарегистрировано. Припоминаю, что Тихонов, передавая мне письмо, сам не захотел нести его в ваш отдел...

Виктор вскипел: мало что на свете может быть хуже демагогии. Не Игорь ли сказал тогда — оставьте?.. Но он не успел ничего возразить Студенцову. Осокин зло усмехнулся:

— Святая наивность! «Частная переписка»!.. Как буд-

то бы нужно вам разъяснять, что... Впрочем, зачем это говорю я? Гораздо лучше сказал...

Осокин, прихрамывая, подошёл к книжному шкафу и быстро отыскал небольшую брошюру.

— Вот как сказал Михаил Иванович Калинин! «*Письмо в газету*, хотя бы и на моё имя, *уже не есть частное письмо*, частная жалоба, *а документ*: автор своим письмом стремится произвести политическое действие, он обращает внимание общества на известное ему зло, выявляет его причины, часто предлагая и соответствующие средства исцеления зла...»

Студенцов печально развёл руками:

— Прошляпил, упустил из виду... Повторяю: я совершил очень грубую ошибку. Но никто не может сказать, что хоть когда-нибудь раньше я, имея дело с письмами...

— Один вопрос товарищу Студенцову,— прогудел из угла Михалыч.

Он насупился, точно что-то припоминая.

— Это относится, дай бог памяти, к одна тысяча девятьсот сорок пятому году. Как-то летом в ваш отдел попала рецензия на кинофильм — рецензия слабенькая, для печати она не годилась. Вы её сдали в архив и даже не ответили автору...

— Я не могу помнить все рецензии, которые ко мне поступали.

— Эту следовало бы,— сказал Михалыч.

— Вы же сами говорите — она не годилась для печати,— отпарировал Студенцов.

— Годился автор. Он стал теперь журналистом, мне кажется, неплохим. Да вы с ним знакомы...

Виктор встрепенулся; лето сорок пятого года, рецензия на кинофильм. Похоже, что...

— Да, это, пожалуй... была моя ошибка,— с запинкой произнёс Студенцов.

Старый, не раз уже мучивший Виктора вопрос снова встал перед ним. Где настоящий Игорь — у себя в кабинете, высокомерный, вечно занятый какими-то своими делами, а потому не интересующийся ничьими другими, или тут — кающийся, покорно признающийся во всех грехах?..

— Замечательное, однако, дело! — воскликнул Михалыч, все слова, как нарочно, подобрались с «о», и фраза пророкотала от этого.— Замечательное дело... Знаете, го-

ворят: раз — это случайность, два — совпадение, но три — уже система. Две ошибки есть. Не хватает третьей. А если поискать, припомнить?..

— Прошу слова!..

Это вырвалось у Виктора непроизвольно, он сказал и сам смутился, но отступать было поздно: все смотрели на него. Виктор начал сбивчиво:

— Может быть, это не имеет отношения к тому, о чём сегодня... Но, мне кажется, надо, чтобы все знали... Я хочу рассказать об одной статье, которую писал товарищ Студенцов после постановления Центрального Комитета о журналах «Звезда» и «Ленинград»... И о том, какой разговор был у товарища Студенцова в кабинете раньше, до постановления...

Напряжённая тишина стояла в комнате,— никто ни звуком не прервал подробного рассказа Виктора. А Виктор с удивлением отметил, что почти дословно помнит все реплики Студенцова в споре с Маргаритой, помнит статью Игоря и даже стихи об опустевшей даче.

Он кончил,— в комнате попрежнему было тихо. Расценив общее молчание по-своему, Виктор упавшим голосом повторил:

— Конечно, может быть, это не имеет отношения... Но мне казалось...

— Это имеет самое прямое отношение к нашему совещанию, товарищ Тихонов,— сказал редактор.— Жаль только, что вы говорите об этом лишь сегодня... Случаен ли проступок Студенцова? Теперь я уверенно могу заявить — нет. Товарищ Тихонов рассказал сейчас о недопустимом факте: в нашу среду затесался беспринципный и аполитичный человек. Можно простить кое-что в иных случаях. Но беспринципность и аполитичность несовместимы с высоким званием, которое носит каждый из нас... Выводы? Они ясны. Партийность, принципиальность во всём — есть основа основ работы советского журналиста. И тот, кто лишён этих качеств...

Три года

Был обычный для сибирского декабря день — вьюжный, холодный. Но словно не замечали этого оживлённые люди, словно большая радость, охватившая всех сегодня, согревала...

Виктор с самого утра отправился по городу — хотелось быть сейчас вместе со всеми, да и для дела это было нужно,— ему поручили писать репортаж о первых часах бескарточной торговли. И когда он увидел радостные толпы, когда прошёл по магазинам, где полки и прилавки были завалены товарами, продававшимися свободно, без норм, лимитов, ограничений, ему, как, наверное, и очень многим, захотелось оглянуться на тот путь, по которому пришла страна к сегодняшнему большому дню...

Три года отделяло этот день от другого, майского, незабываемого на всю жизнь; собственно, строго по календарю — меньше, но к чему календарь, когда речь идёт о человеческих чувствах, стремлениях, переживаниях? Эти три года были полны напряжённой борьбы со многими врагами — с последствиями войны, с засухой, с другими трудностями и с врагами в человеческом облике — с толоконниковыми и малиниными, с митрофановыми, николаями касьяновичами... и со студенцовыми, понял Виктор, потому что студенцовы, вольно или невольно, становятся в один ряд с николаями касьяновичами и митрофановыми...

И вот — ещё одна победа. А дальше? Дальше, не колебался Виктор,— опять борьба, быть может, даже более напряжённая, чем раньше. Сделан новый огромный шаг вперёд, а сколько надо сделать таких шагов в будущем. Сколько ещё впереди испытаний, сколько трудностей И сколько на пути врагов. Был уничтожен Николай Касьянович Далецкий, но оставались николаи касьяновичи. Это они накануне, когда уже газеты и радио объявили о реформе, но ещё были в ходу старые деньги, с бою брали магазины, сотнями скупая пластмассовые расчёски и коробки пудры, килограммами — пуговицы, целыми альбомами — почтовые марки. На них смотрели, кто с презрительной усмешкой, кто с откровенной ненавистью, а они с трудом волокли нахватанное добро — неизвестно, когда и где теперь они надеялись сбыть его,— и прятали глаза от людей, как летучие мыши, выхваченные вдруг из мрака на яркий свет. Вчера их видели, а сегодня они опять растворились, припрятались, смешались со всеми, и много потребуется усилий, чтобы до единого вывести николаев касьяновичей. Оставалось немало и толоконниковых, малининых, студенцовых,— этих.

пожалуй, разгадать ещё труднее, эти ещё увёртливее и живучее.

Да, борьба не кончилась. Но может ли она пугать, если чувствуешь себя окрепшим, если рядом с собою видишь миллионы друзей? Точнее, по именам Виктор знал их меньше — Осокина и Михалыча, Бородина и Ольгу Николаевну, Ковалёва и, хотя бы, беспокойного экскаваторщика Круглякова, с которым судьба столкнула его в Чёмской гостинице... Но тех, чьи имена были ему неизвестны,— тех действительно были миллионы...

Появилось у Виктора много молодых товарищей,— Геннадий и Маргарита, Саша Бахарев и Натка, Павел... Валя... Одно лишь несколько отдаляло его от них и до сих пор... И Виктор понял, что пора вернуться к тому, о чём когда-то говорил Осокин. Тогда он не решился вступать в комсомол, чувствуя за собой слишком тяжёлую вину... Теперь же... Правда, и теперь Виктор не считал себя безгрешным. Но он уже немало сделал, многому научился и многому научится в будущем...

Виктор свернул в «Гастроном». При виде покупателей у прилавков ему и самому захотелось купить что-нибудь. Он долго раздумывал что, и вдруг решил — коробку конфет для тёти Даши, как дорого ей любое проявление внимания, а особенно сейчас... Виктор нарочно протянул продавщице бумажку покрупнее — хотелось получить сдачу новенькими, такими ещё на вид непривычными кредитками. На миг у него появилась мысль,— а ведь Николай Касьянович так же любовался раньше деньгами. Но тут же Виктор опроверг самого себя — нет, это совсем другое. И сказал продавщице:

— Сдачу, пожалуйста, дайте помельче...

Когда Виктор брал покупку, ему шепнули на ухо.

— Это для меня, да?..

Маргарита имела свойство всегда появляться неожиданно, как по волшебству...

— Вы по делам сюда или — для себя? — спросила девушка.

— Всё вместе.

— Вот и я тоже... Виктор,— сказала Маргарита, и Виктор сразу почувствовал, что первый вопрос задан только для приличия, что интересует девушку совсем другое.— Виктор, что случилось с вами? Не заходите, избегаете меня... Да-да, не крутите... Однажды — где это

было? — голову отвернули и — бегом мимо, я заметила. Опять на что-то сердитесь?..

— Что вы, Маргарита! — воскликнул Виктор.— Я даже... могу сходить с вами в театр...

— Даже!.. Хорошенькое приглашение... Где вы только научились отваживать людей?..

— Да нет, Маргарита... Ну... ну...— и, не зная, как ещё поступить, Виктор сунул в руки девушке коробку с конфетами: — Возьмите....

Кажется, Маргарита растерялась...

Они скоро расстались: Маргарита сказала, что торопится в радиокомитет. Виктор посмотрел, как она ловко перебегает дорогу перед самыми автомашинами... Хорошая девушка Маргарита, но для него она только товарищ, только. Да, вот то же самое ему сказала Валя...

Три года... Как много изменилось с тех пор. Одно лишь осталось неизменным: он так и не нашёл ту девушку, о которой думал не раз. Уже, казалось, нашёл, и вот... Но что же, жизнь движется, жизнь постоянно несёт новое. Она встретится ещё, эта девушка. А Маргарита — он не хочет её обидеть. Но нельзя же переменить и выбрать отношение к человеку, как новый костюм или пальто.

А больше ни в чём у Виктора не было сомнений. Три года, строго по календарю — даже меньше... Виктор нашёл себя в эти три решающих года. Пусть это было не совсем то, о чём думал он раньше,— разве сразу человек находит себя? А впрочем, быть может, когда-нибудь он добьётся и того. Жизнь ведь движется, жизнь постоянно несёт новое. Виктор сейчас уже понял одну свою ошибку. Он пытался когда-то писать о неведомом капитане Синцове, не видя в нём ничего, кроме звёздочек на погонах, и не замечал вокруг себя настоящих, живых героев. Теперь он знал их, этих героев, может быть, ещё не так много, но ведь сколько времени впереди...

И опять шёл Виктор среди шумной толпы. По старой привычке он ловил обрывки разговоров. Сегодня разговоры были похожи один на другой,— всё о том, как теперь лучше будет жить... То и дело произносившиеся сухие цифры звучали почти музыкой,— ведь дело было не в том, что лучше станет жить одна, две, три семьи, речь шла обо всех без исключения семьях, о народе... О благе народа...

Виктор вспомнил, как вот так же слушал он разговоры в толпе в День Победы, вспомнил первые слова, услышанные им на улице от незнакомого ему тогда Михалыча:

— Погоди-ка, пройдёт год-другой...

Михалыч оказался пророком. Впрочем, нет, он только вслух выразил то, что — понимал теперь Виктор — было на уме у каждого в первый мирный день, может быть, даже бессознательно. Все радовались тогда концу войны, но все знали и о том, как много разрушила она. И, однако, были уверены — скоро, очень скоро будут залечены раны...

Что же придавало эту уверенность? Кто влил её людям?

В ушах Виктора, заставив на минуту стихнуть всё окружающее, прозвучал другой голос — спокойный, неторопливый:

— ...восстановить довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства и затем превзойти этот уровень...

Так говорил Сталин!

...Просторный цех, ребята и девушки, столпившиеся вокруг бригадира, сверкающий деталями красавец-станок на автомашине... Промышленность...

...Ночное поле, длинные тени в луче прожектора, запах пшеницы на току, усталый дед, рано поутру раскуривающий после трудной ночи цыгарку... Сельское хозяйство...

Могучая воля слила воедино усилия миллионов людей. Имя той воле — партия.

...Город шумел. Город торжествовал. Люди отмечали ещё одну победу, достигнутую общими силами. Плечом к плечу с ними шёл вперёд Виктор — возмужавший, окрепший, вместе со многими выросший за эти три года, каждый из которых стоил десятков лет.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая

Часть вторая

Часть третья

Экзамен на зрелость

Редактор *Е. Шарнина.*
Художник *В. Кондрашкин.*
Технический редактор *А. Мазурова.*
Корректор *Р. Вильнер.*

Сдано в набор 21/XII 1953 г. Подписано к печати 3/II 1954 г. Бумага 84×108/[illegible] =4 бум. л.— 13,12 печ. л. Изд. л. 14,25.
МН 01133. Тираж 30000. Цена 5 р. 30 к.

г. Новосибирск Тип. № 1 Полиграфиздата. Зак. № 144





545
5—



